

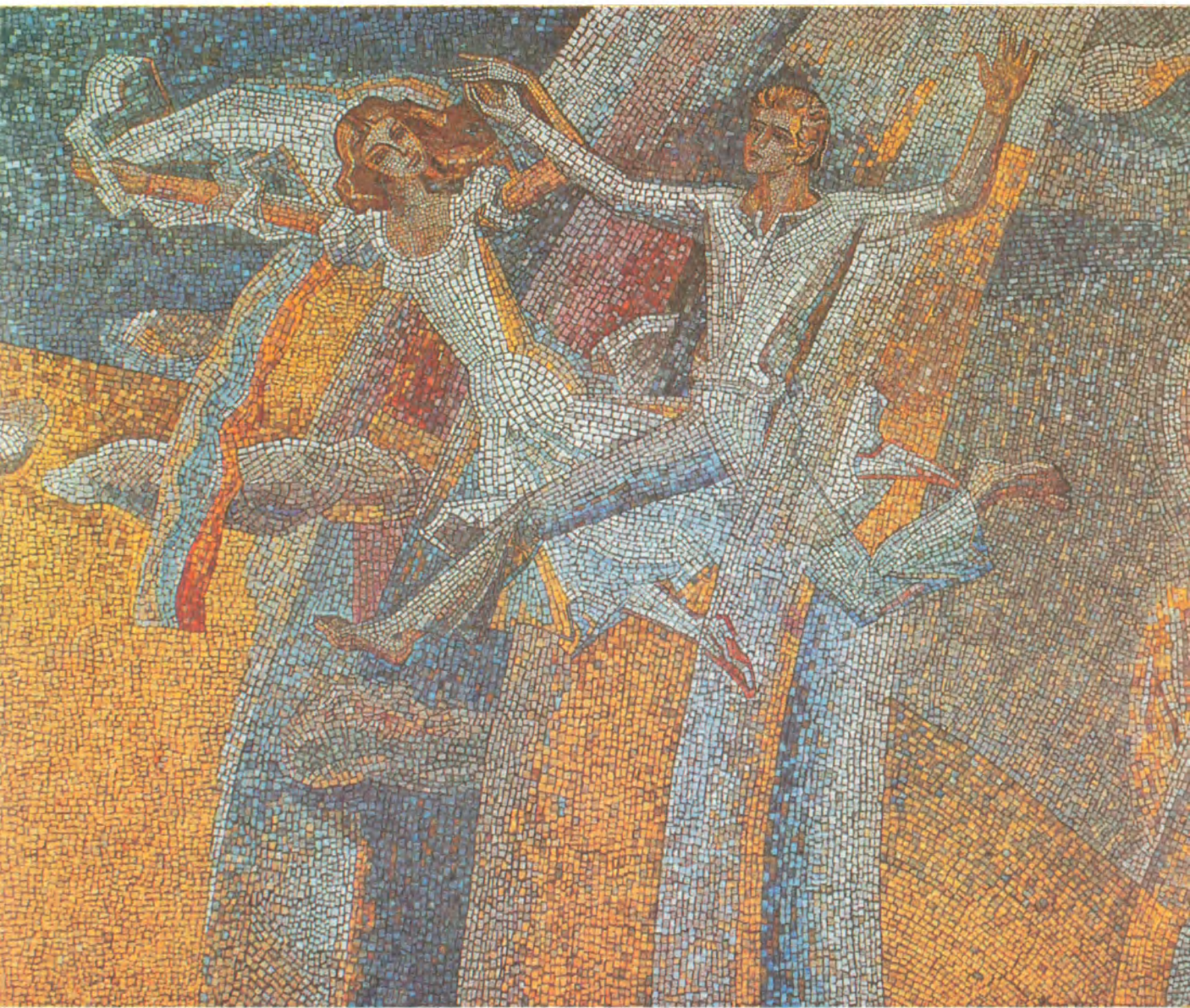
ISSN 0132-2036

# ЮНОСТЬ

9 '86







**С. ЗАЛЫСИН.**

**Мозаика нового городского Дворца бракосочетания в Москве.**

# ЮНОСТЬ

9<sup>(376)</sup>

86



ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В 1955  
ГОДУ

Главный редактор  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:  
Анатолий АЛЕКСИН  
Владимир АМЛИНСКИЙ  
Борис ВАСИЛЬЕВ  
Сергей ЕСИН  
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ  
Натан ЗЛОТНИКОВ  
Римма КАЗАКОВА  
Кирилл КОВАЛЬДЖИ  
Олег КОМОВ  
Мария ОЗЕРОВА  
Юрий САДОВНИКОВ  
(ответственный секретарь)  
Владислав ТИТОВ  
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

---

Издательство «Правда»  
Москва



# В НОМЕРЕ:

## Проза

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Юрий ПОЛЯКОВ. Работа над ошибками. Повесть . . . . .                              | 3  |
| Наталья ДАРЬЯЛОВА. Теорема Ферма, великая и загадочная. Рассказ . . . . .         | 44 |
| Николай ЛЕОНОВ. Профессионалы. Повесть. Окончание . . . . .                       | 55 |
| Леонид ВЫШЕСЛАВСКИЙ. Когда я был ящерицей. Владимирская горка. Рассказы . . . . . | 76 |

## Поэзия

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Григорий ГЛАЗОВ . . . . .     | 41  |
| Валентин СОЛОУХИН . . . . .   | 42  |
| Владимир ПАРАМОНОВ . . . . .  | 43  |
| Леонид ЗАВАЛЬНЮК . . . . .    | 53  |
| Вера ВОЛКОНСКАЯ . . . . .     | 54  |
| Николай КАРПОВ . . . . .      | 72  |
| Лев ОШАНИН . . . . .          | 73  |
| Нина ГРАЧЕВА . . . . .        | 73  |
| Эдуард МИЛИТОНЯН . . . . .    | 74  |
| Егор САМЧЕНКО . . . . .       | 75  |
| Леонид КЕЛЬМАН . . . . .      | 75  |
| Бикеханум АЛИБЕКОВА . . . . . | 103 |

Оформление обложки  
С. Костромина.

Художественный редактор  
О. Кокин.

Художник  
Ю. Цишевский.

Технический редактор  
Л. Зябкина.

Адрес редакции: 101524, ГСП,  
Москва, К-6, улица Горького,  
д. 32/1.

## Публицистика

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Валерий ХИЛТУНЕН. Острова на горизонте . . . . .             | 79 |
| Сергей МАРКОВ. «Место встречи Волги и Каспия-моря» . . . . . | 86 |
| Час приема по вечным вопросам . . . . .                      | 93 |

Т е л е ф о н ы:  
Главная редакция — 251-31-22  
Отдел прозы — 251-59-44  
Отдел поэзии — 251-44-35  
Отдел публицистики — 251-02-30  
Отдел критики — 251-96-76  
Отдел науки и техники — 251-27-57  
Отдел рукописей — 251-74-60  
Отдел писем — 251-14-21  
Отдел культуры — 251-48-65  
Отдел оформления — 251-73-83  
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

## Критика

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Всеволод РЕВИЧ. Звездолет или электричка! . . . . .                  | 94  |
| Виталий КОРЖИКОВ. «Мои останутся следы» . . . . .                    | 99  |
| Михаил ПЛАСТОВ. Летопись великого дела . . . . .                     | 100 |
| Инна КАШЕЖЕВА. «Мы к дню Победы шли от Бреста...» . . . . .          | 101 |
| Евгений ГОЛУБОВСКИЙ, Анатолий ДРОЗДОВСКИЙ. Юношеский роман . . . . . | 104 |

## Культура и искусство

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Александр АРОНОВ, Сергей МУРАТОВ. Размышления у непарадного подъезда . . . . . | 107 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|

Сдано в набор 10.07.86.  
Подп. к печ. 08.08.86.  
А 11463  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Высокая печать  
Усл. печ. л. 12,18.  
Уч. изд. л. 17,62  
Усл. кр.-отт. 18,48  
Тираж 3 310 000 экз.  
Изд. № 2170.  
Заказ № 3352

## Поэма «Юность»

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Кто «За»? . . . . . | 102 |
|---------------------|-----|

## Зеленый портрет

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Плоды просвещения . . . . .                            | 111 |
| Виктор ВЕРИЖНИКОВ. Как повысить успеваемость . . . . . | 112 |
| Татьяна ГАВРИЛОВА. Обычный урок . . . . .              | 112 |

Ордена Ленина  
и ордена Октябрьской  
Революции  
типография  
имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда»,  
125865, Москва, А-137, ГСП,  
ул. «Правды», 24.



ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

# РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

1

## ПОВЕСТЬ



чение — или, как теперь принято говорить, учеба — это многолетняя изнурительная война между классной доской и школьным окном. Начинается она, как и осень, 1 сентября, с переменным успехом идет весь учебный год, но к маю распахнутое весеннее окно одерживает прочную победу. Тогда министерство просвещения объявляет перемирие, продиктованное якобы заботой о детях и поэтому в дальнейшем именуемое «каникулами».

Но как раз сегодня на улицу можно не глядеть, ничего интересного: широкоформатные стекла операционной в больничном корпусе напротив затемнены, внизу, на перекрестке, пустынно, лишь вдалеке виднеется башенный кран, похожий на аиста, транспортирующего упакованного младенца...

Однако я отвлекся и не заметил, как молодая, но бдительная Елена Павловна, не отрываясь от учебного процесса, разоблачила мое бегство в законную действительность. Она строго посмотрела на меня своими серо-голубыми, похожими на две большие снежинки глазами и чуть заметно покачала головой, что означало: «Как вам не стыдно, товарищ Петрушов! Вы же взрослый человек, преподаватель, хоть и временный!.. Ведь кругом дети!..»

И в самом деле, неловко получилось... Но ничего страшного. Прежде всего нужно как ни з чем не бывало продолжать спокойно смотреть в окно, потом, медленно обернувшись, глубокомысленно поглядеть на учителя, а затем мучительно нахмуриться и вдруг озарить лицо восторгом внезапного познания. И наконец в порыве вдохновения страстно склониться над тетрадью. Работающего ученика преподаватель не тронет, как хищник не обратит внимания на человека, притворившегося мертвым. В школьные годы этим приемом я владел виртуозно, а сейчас, встретив осуждающий взгляд Елены Павловны, покраснел и смущенно пожал плечами: извините — бывает...

Учительница снова покачала головой, мол: «Нехорошо, Андрей Михайлович, пришли опыт перенимать, а сами!..» У нее на щеке маленький шрамик, похожий на след от детского «пирке»; когда она сердится — шрамик розовеет. Елена Павловна Казаковцева два года назад окончила педагогический институт и пока еще верит, будто в условиях обыкновенной средней школы можно научить немецкому языку. Обычно происходит наоборот: преподаватели сами начинают забывать то, что узнали в вузе.

Елена Павловна опустила глаза на кулон с электронными часиками, подошла к доске, выбрала мел подлиннее и учительским почерком начала писать задание на дом, вызывая привычный ропот класса.

— Ой, как мно-о-ого! — волновались дети, с малых лет привыкающие к корректировке планов.

Рисунки  
И. Большаковой

3

— Ну, хорошо,— согласилась Казаковцева.— Выучить новую лексику и повторить тему «Моя семья». Буду спрашивать!

Для убедительности она решила подчеркнуть задание, но брусочек мела звонко переломился и, отпечатав на поверхности доски выпуклую белую точку, упал на линолеум. Я подался вперед, но Елена Павловна легко и красиво, точно на аэробике, подхватила обломок и быстро выпрямилась, мимоходом проверив мое впечатление.

Случись такое в четвертом классе, мел бы мгновенно был подхвачен и подан пунцовым от смущения шпингалетом с первой парты. В десятом классе, полагаю, на помощь рванули бы сразу несколько галантных верзил. Но дело происходило в шестом...

Окрыленные победой над темными силами школьной программы, ребята переписывали задание в дневники, а Казаковцева тем временем отряхнула руки, поправила стрижку, оставив в темных волосах белый след, и села заполнять журнал, исподлобья наблюдая за вверенным ей ученическим коллективом. Длинные, стройные ноги она совсем по-девичьи скрестила под стулом.

— Тимофей! — сурово сказала учительница, не отрываясь от журнала.

— А чего всегда я? — заученно обиделся нарушитель дисциплины.

— Ты меня не понимаешь?

— Понимаю,— отозвался Тимофей Свирин и, оскорбленно шевеля губами, вернулся на свой участок стола с территории, временно захваченной у соседей.

Елена Павловна всех учеников называет по имени: Таня, Катя, Алик, Тимоша... Но если недозволения, если зарывов шрамик на щеке, то имена провинившихся произносятся холодно и полно: Татьяна, Екатерина, Альберт, Тимофей... Громкого командного голоса и пронизывающего педагогического зора Казаковцева пока еще не выработала; иногда, правда, ей удается нащупать верную, воспитывающую интонацию, но глаза не успевают потемнеть и продолжают улыбаться. При всем желании внимательные дети пока не могут поверить в строгость и непреклонность своей учительницы.

Елена Павловна еще раз посмотрела на кулон и с удовольствием отметила, что до конца урока осталось целых шесть минут; то же самое, но с огорчением, взглянув на часы, выяснили дети. Нынешнему поколению хорошо, даже специальные часы для подростков выпускают, так и ходят теперь: во рту соска, на руке «Сейко». А в былые времена ребятам приходилось мучительно вглядываться в преподавательский циферблат, прислушиваться, не дзиннулись ли на завтрак младшие классы, а потом оповещать товарищей, сколько осталось до раскрепощения.

— Оценки за урок,— объявила Казаковцева и раскрыла тоненькую тетрадь: ставить отметки сразу в журнал она пока не решает. — Таня — «три», Коля — «пять», а тебе, Маргарита, к сожалению, «два»...

В этот миг бикфордов шнур урока догорел, раздался дребезжащий взрыв школьного звонка и одновременно с ним удар бесплатного учебника по голове: Тимофея настигло справедливое возмездие.

— Звонок для учителя! — вполне сурово крикнула Елена Павловна, но ураган свободы не остановил.

Ребята, получившие благополучные отметки, осадили преподавательский стол: ни одна знаменитость за всю жизнь не раздаст столько автографов, сколько обыкновенный учитель всего лишь за по-

лудогие. Пока Казаковцева заверяла оценки, выведенные в дневниках предупредительными учениками, Маргарита, отхватившая «пару», постаралась первой увильнуть из класса, справедливо считая: чем позже родители узнают горькую правду, тем лучше для них же! Но уйти было непосто: в дверях кто-то упал и образовалась маленькая «ходьинка», Елене Павловне пришлось прикрикнуть, и, наконец, истомившийся шестой класс извергся в коридор.

В комнате остался один-единственный ученик, шупленький, рыжий, с яркими мультипликационными конопушками на лице, — Тимофей Свирин. Он переминался с ноги на ногу, разглядывал замок своего портфеля и страдал от моего присутствия.

— Тимоша, я тебя слушаю! — оторвалась Казаковцева от журнала.

— Елена Павловна,— решился паренек, настороженно глянув в мою сторону. — А мне?.. Ну, это... Про бабушку рассказывать?

— Нет-нет! — спохватилась учительница. — Ты, Тимошка, повтори тему «Спорт»...

— Хорошо! — согласился он, непримиримо посмотрел на меня и вышел из класса, в приоткрывшуюся дверь на миг ворвалась перемена без берегов, и снова стало сравнительно тихо.

— Вот так! — горько сказала Елена Павловна. — «Моя семья»... Кем работает твой отец? Кто по профессии твоя мать? А ведь можно и по-другому спросить: есть ли у тебя отец? В этом классе почти каждая вторая семья неполная... А слова «отчим», например, в школьной программе нет... У Тимоши вообще одна бабушка осталась: родителей прав лишили...

— Пили? — спросил я, пересаживаясь с последнего стола за первый.

— Если б просто пили! Тут какой-то другой глагол придумать нужно! Слезы наворачиваются...

— Учитесь, Елена Павловна, властвовать собой, — вдумчиво посоветовал я. — А то ученики будут властвовать вами!

— Прямо сейчас придумали? — с иронией спросила она.

— Прямо сейчас. Обычно я заготавливаю с вечера, но...

— Андрей Михайлович, — перебила меня Казаковцева. — Я все-таки вас спрошу: зачем вы пришли в школу? Думаете, здесь легче?

— Видите ли, Елена Павловна, для того чтобы выяснить этот непростой вопрос, нам нужно встретиться в неофициальной обстановке... Многого не обещаю, но скучно не будет!..

И я понял, что меня повело... Бывают же настоящие мужчины, эдакие неразговорчивые небожители, с ходу подкупающие своей глубинной задумчивостью! Даже умные женщины тратят годы, чтобы проникнуть в тайны загадочного немногословия. И ведает, как говорится, лишь бог седобородый, что их сосредоточенные избранники мучительно размышляют, например, о том, куда все-таки запропастился «лэйбл» от новой шмотки. Ведь ненароком простирнешь, а можно, оказывается, только в химчистку...

Мою качаловскую паузу прервал Петя Бабкин из девятого класса: он всунулся в комнату, догадливо задрал брови, а потом со словами: «Я дико извиняюсь!» — схватил себя за вихры, изобразил схватку с невидимым злодеем и скрылся.

— Вот нас и застали! — сообщил я вместо того, чтобы тонко улыбнуться и промолчать. Остановиться я не мог...

Остановила меня Елена Павловна.

— Андрей Михайлович, — сказала она, складывая в стопку тетради. — Если вы всерьез решили заняться взаимными посещениями, сходите и к Алле Константиновне... Она гораздо опытнее меня!

«Ничего не скроешь!» — горько подумал я и не ловко, даже как-то нелепо стал выпрастываться из-за тесного ученического стола.

## 2

Оказывается, мы прообщались с Еленой Павловной целую перемену. Не успел я выйти в коридор, развести по углам двух не то боксирующих, не то каратирующих пятиклассников и вернуть плачущей девчужке похищенный микрокалькулятор — раздался звонок. Гул голосов и толчея достигли раздельных показателей и постепенно пошли на убыль. Наверное, сейчас со стороны наша школа была похожа на огромную старую радиолу, внезапно отключенную от сети. Кстати сказать, здание у нас давнишнее, четырехэтажное, украшенное с фасада невыразительными от регулярной побелки профилями четырех литературных гениев.

Но я отвлекся. Буйство и половодье перемены после звонка улеглось, школьники в ожидании преподавателей стали скапливаться возле кабинетов. С вечным вопросом: «Где журнал моего класса?» — мимо тяжело проследовала преподавательница химии Евдокия Матвеевна Гирина; улыбаясь, она раздавала дружественные подзатыльники малышам, по неопытности попадавшей на ее пути.

Седовласый учитель математики Борис Евсеевич Котик стоял возле двери и подозрительно, как суровый капитан, оглядывал вернувшихся из увольнения учеников. Пропустив в класс последнего, он медленно и со значением закрыл дверь, словно задрал люк подлодки, отпразднующейся в автономном плавании.

Еще какое-то время по коридору метался взволнованный Тимофей Свирин: его портфель был надежно спрятан жестокосердными старшеклассниками. Я тоже сообразил не сразу, потом дотянулся и снял искомую сумку с противопожарного ящика. Осчастливленный ребенок просунул в кабинет литературы и начал сбивчиво объяснять свое опоздание Алле Константиновне Умецкой. Наконец ему разрешили присутствовать, и Алла, подойдя к порогу, чтобы плотнее затворить дверь, по какой-то навязчивой учительской привычке выглянула в коридор, увидела меня и еле заметно кивнула. В следующий момент я сообразил, что виновато улыбаясь захопнутой двери.

О закрытая классная дверь! За ней происходит чудо воспитания и обучения, таинственные процессы взаимообогащения учителя и ученика. Если прислушаться к звукам, доносящимся из кабинетов, можно немало узнать о тех, кто, стоя у доски или расхаживая между партами, сеет в пределах школьной программы разумное, доброе, вечное...

Из кабинета литературы отчетливо слышен громкий, твердый голос Умецкой: «В образе накопителя, рыцаря копеей Чичикова Гоголь хотел...» А ведь десять лет назад моя бледенькая однокурсница Аллочка получала свои «тройки» только потому, что великодушные преподаватели не хотели омрачать сессию девичьим обмороком. Разговаривала она тихо, точно боялась собственного голоса. Однажды летом мы сидели с ней на свежееотесанных брезнах возле темных объемов недостроенной фермы, и Алла, ежась под моей штормовкой с надписью

«selo semjonovo 1975», жалобно повторяла: «Скажи что-нибудь! Почему ты молчишь?» А я совершенно не знал, что говорить. Я тогда еще не умел произносить обязательные в этих случаях и ни к чему не обязывающие слова.

— Так и будешь молчать? — слышалось из-за двери.

Помню, как во время весенней практики Алла обиделась на непослушных ребят, расплакалась и выбежала из класса. На итоговой конференции заведующий кафедрой, анализируя этот печальный случай, трясся от негодования и предлагал Умецкой сменить, пока не поздно, профессию. Доцент был историком дальневосточного пионерского движения и не мог предвидеть, какой станет Алла, какая твердость появится в голосе, в глазах, в походке. Вот так живешь, ощущая себя младенцем, а потом внезапно оглянешься и увидишь, что друзья твоей юности неузнаваемо изменились, что, идя по городу, ты можешь долго рассказывать о старых домах, стоявших некогда на месте новостроев, что твои годы, поделенные на два, равняются возрасту девятиклассницы. Но я отвлекся...

Дальше по коридору — кабинет математики. Борис Евсеевич говорит тихо и монотонно: из коридора слов не разберешь. Но время от времени за дверью раздается дисциплинированный смех, который так же организовано обрывается. Не знаю, чем можно рассмешить на уроке алгебры, но известно, что ученикам Котика, подающим документы на мехмат, забирать их оттуда не приходится. А ведь, как говорится, статистика не учитывает армию абитуриентов, подготовленных Борисом Евсеевичем в свободное от работы время.

Из кабинета биологии, где ведет урок Полина Викторовна Маневич, слышен ровный гул: учитель говорит о своем, дети — о своем. Полина Викторовна — тонкая светская женщина, нагрузка у нее маленькая, и зарплату она с улыбкой называет «косметическим пособием». Маневич дважды сходил за мужем, и того, что бросили на поле брака в страхе бежавшие мужа, ей хватит надолго. Она ведет светскую жизнь, постоянно толкается на приемах, премьерах, вернисажах, запросто достает книги, которые мы, грешные, видим только на международных ярмарках, но при всем при том на ее уроках стоит совершенно оловянная скукутища.

А вот в кабинете истории — творческий беспорядок, слышно, как ребята шумно доказывают недоверчивой Кларе Ивановне Опрятной необходимость установления абсолютной монархии в средневековой Франции. Дискуссии и педагогические эксперименты — ее слабость. Ученики Клары Ивановны, надо сказать, имеют представление о том, что, кроме борьбы производительных сил с производственными отношениями, в истории случались и другие любопытные факты. Я дважды сидел на уроках Опрятной, и мне казалось, что вот сейчас она поинтересуется: «А что по этому поводу думает некто Петрушов?» На всякий случай я начинал прикидывать, как смогу ответить, и покрывался испариной, обнаруживая, что давно разучился отвечать, а умею только спрашивать. Никогда не пойму, зачем Клара Ивановна согласилась быть завучем. Это так же нелепо, как если бы она взялась вести занятия по строевой подготовке вместо нашего военрука Жилина, который носит свою майорскую форму с теми серьезностью и значительностью, на какие способны только оставники. Мало того, Опрятная чуть не стала директором! Но я отвлекся...

Дверь следующего класса распахнута настежь, значит, там как раз дает урок директор школы Ста-

нислаз Юрьевич Фоменко. Еще в институте Стась был комиссаром сводного стройотряда и уже тогда обещал вырасти в крупного организатора наших побед. Вот и сейчас, вытягивая из оцепеневшего ученика глубоко запрятанные знания, Фоменко продолжает руководить детским учреждением. За учительским столом сидит печальный завхоз Шишлов и заполняет ворох бумаг. При такой маленькой зарплате, какую получает Шишлов, производить материальные ценности нельзя, можно их только охранять. У себя в подсобке завхоз устроил живой уголок: держал белого крысенка Антошку, а после скандала, устроенного санэпидемстанцией, завел аквариум со скаляриями, плоскими рыбками, похожими на высушенные между страницами учебника кленовые листья.

Стась державно расхаживал по классу и одинаково пристально следил за тем, как на доске решается система линейных уравнений и как продвигается дело у Шишлова. Наконец он увидел меня, дружелюбно кивнул и строго показал глазами на журнал, что означало: хоть ты и одноклассник, но журнал заполнять все-таки надо, а то неровен час нагрянет проверка, и по шее получит директор, а не ты! Я незаметно вытянулся во фрунт, щелкнул каблучками и спустился на второй этаж.

Здесь было спокойно: в кабинете химии у Евдокии Матвеевны Гириной, в просторечии — Гири, ког-то шумно выгоняли из класса.

— Нет, ты выйдешь! — истонно приказывала Гирия.

Судя по голосам, класс поддерживал товарища, который ни за что не хотел отрываться от суммы знаний, накопленных человечеством. Говоря языком химических терминов, за дверью шла бурная реакция — и было неизвестно, кто в конце концов выпадет в осадок. Поскольку там за право на образование боролся мой девятый класс, я решил вмешаться.

У порога, судорожно сжимая в одной руке портфель возмутителя спокойствия, а другой указывая теперь уже не на дверь, а на меня, стояла Гирина: лицо бордовое, в глазах слезы, очки запотели. Нарушитель (опять Кирибеев!) монолитно сидел на своем месте, образуя со столом единое целое.

— Тогда уйду я! — бросила последний довод Евдокия Матвеевна.

— Портфель-то оставьте! — ответил наглец.

Ребята меня заметили и с интересом ждали, когда классного руководителя обнаружат противоборствующие стороны. Первым меня увидел Кирибеев, устало усмехнулся, почесал подбородок висок, нехотя встал и направился к двери. У порога он задержался, перехватил из рук окаменевшей Евдокии Матвеевны портфель и вышел из класса.

— Подождешь меня возле учительской! — распорядился я вдогонку.

Кирибеев оглянулся, и выражение его лица можно было растолковать двояко:

- 1) Жду.
- 2) Жди!

— Это какой-то кошмар! — запричитала Гирия, возвращаясь к доске, где под заголовком «Железо в природе» рябила химическая криптограмма. — Когда все это кончится?

Не знаю, что она имела в виду: свой выход на пенсию или тот торжественный миг, когда народное образование всю полноту ответственности за выпускников переложит на плечи внешкольных организаций?

Я заторопился в учительскую. В актовом зале ребята пели о маленьком трубаче, готовились к Дню Победы:

**Кругом враги, а этот ма-аленький!  
Над ним смеялись все врачи...**

В кабинете физики стояла мертвая тишина: наверное, Лебедев дал классу самостоятельную работу и читает в оригинале Агату Кристи. Язык он знает получше нашего англичанина-почасовика Игоря Васильевича...

Вот тебе и свободный урок! А я-то рассчитывал потратить «окно» на то, чтобы обдумать и записать планы уроков, которые проводил на прошлой неделе: порядок есть порядок. Теперь же, в новой исторической ситуации, нужно объясняться с Кирибеевым, выставленным вопреки всем инструкциям из класса. Считается почему-то, что жизнь и здоровье ученика, присутствующего на уроке, находятся в полной безопасности, в то время как ребенок, изгнанный в коридор, становится легкой добычей любой трагической случайности. А значит, преподаватель, допускающий такую форму воздействия, как удаление нарушителя дисциплины с урока, рискует оказаться осужденным в лучшем случае заучем, в худшем — народными заседателями...

Возле учительской было зловеще безлюдно. Я спешно заглянул в комнату: целый и невредимый Кирибеев, вальяжно раскинувшись в кресле, ожидал моего прихода. «Неприятный парень!» — подумал я. У него темные, с каким-то синтетическим отливом волосы, узкое бледное лицо, сросшиеся брови, а под глазами детские морщинистые мешки... Я подумал и вдруг почувствовал, что Кирибеев угадал мои мысли. Все дети — экстрасенсы! Хотя, впрочем, у меня тоже выступают мурашки, если кто-нибудь приближается ко мне с дурными намерениями...

Я сел рядом с Кирибеевым, подождал, пока он догадается сменить позу расслабления на более подбабочую в данной ситуации, потом профессионально нахмурился и поинтересовался, как дошел он до жизни такой.

— Ну, дошел! — вызывающе согласился он, но исповедь хулигана прервал телефонный звонок.

— Школа! — отозвался я и пожалел, потому что «беспокоили» из роно. — Это учительская, вы позвоните в канцелярию!.. — Но мне было объяснено, что канцелярия «вымерла» и, кроме меня, выполнить обязанности неизвестно где болтающейся директорской секретарши некому. — Подождите, возьму, чем записать! — перебил я женщину, которая привычной скороговоркой уже начала диктовать телефонограмму. — Так... Теперь можно... Пишу...

«На основании приказа № 92 роно от 25.04 прошу обеспечить явку пионерских отрядов для участия в празднике «Рождение пионерского отряда». Форма одежды парадная. Ответственные за жизнь и здоровье детей — классные руководители».

Я незолжно поежился, но прочувствовать всю глубину этой ответственности не успел, потому что следом шла вторая телефонограмма:

Директору школы. Завхозу. Сегодня до 15.00 сдать сведения по расходу электроэнергии за апрель».

Видимо, этой самой отчетностью и занимались во время урока Стась и печальный завхоз Шишлов. А женщина из роно между тем требовала передать еще что-то на словах ответственным за питание, но тут уж я вспыл и объяснил: в конце концов она разговаривает не с секретаршей, а с преподавателем.



лем литературы!.. Однако для нее это был не довод.

Положив трубку, я посмотрел на Кирибеева и по выражению его лица понял, что парня несколько удивила та многообразная суета, которую взрослые люди развивают вокруг элементарного факта посещения школы.

— За что тебя выгнали из класса? — жестко спросил я.

— Выгонять из класса запрещено. Я сам ушел! — ответил юридически грамотный Кирибеев.

— Права свои ты знаешь — это хорошо. А обязанности?

— Я ее первый не трогал.

— Допустим. А с чего началось?

— Она..

— Евдокия Матвеевна, — подсказал я.

— Гирина сказала, чтобы я ноги из прохода убрал.

— А зачем ты их выставил?

— А зачем столы такие маленькие делают? Нормально не сядешь.

— Ты так бы и объяснил Евдокии Матвеевне.

— Я объяснил, а она заверещала, что таких, как я, вообще на норах учить нужно...

— Тебе не кажется, дорогой товарищ, — решил я видоизменить тему, — что ты неуважительно говоришь об учителе: «она», «заверещала»...

— А почему я должен уважительно говорить о человеке, которого не уважаю?

— Учителя ты обязан уважать!

— Ничего я никому не обязан!

Я долгим педагогическим взлядом посмотрел на Кирибеева, хотя уже понял, что продолжать разговор так же бесполезно, как объяснять глухонемому устройство стереофонических наушников.

— Возвращайся в класс, — холодно распорядился я, — скажи Евдокии Матвеевне, что мы с тобой объяснились. А разговор этот мы еще продолжим...

Кирибеев лениво встал, перекинул через плечо сумку с изображением разинутого рта певички и двинулся прочь походкой, какая бывает у людей, сильно ушивающих брюки. Оставшись один, я еще раз глазами пробежал телефонограммы, вспомнил толстенную амбарную книгу, лежащую на столе у секретарши директора, и подумал: чтобы выполнить все эти распоряжения, нужно создать еще один педагогический коллектив во главе с директором, коллектив, свободный от преподавательской работы. Представьте себе две армии: одна воюет, а другая выполняет распоряжения командиров и начальников. И все довольны. Придя к такому выводу, я глянул на смонтированные в стену часы и обнаружил, что от моего «скна» осталась одна «форточка».

### 3

Пойдет много лет, и высоколбый человек будущего, читая пожелтевшие страницы наших радостных отчетов, докладов, справок, порадует за своих везучих предков, которым выпало покаяться в золотом веке. Так я рассуждал, сочиняя планы уроков. Между прочим, в школе мне приходится писать гораздо больше, чем в газете, где я проработал шесть лет и откуда уволился полгода назад. Все началось с придинок нового главного редактора, а поругаться с начальством — то же самое, что поспорить с силами природы! Тем более если твой уважаемый руководитель принадлежит к значительной гресслойке деятелей, использующих могучий двухтумбовый стол одновременно как

пьедестал, таран и флюгер. В отличие от прежнего главного редактора, торопливого, нервного, отходчивого, новый шеф не говорил, но отливало слова в редком металле, а по личным нуждам шествовал так, словно направлялся к трибуне. Только однажды я видел его по-настоящему взволнованным: ему позвонила жена и сообщила, что на них катастрофически протек вышеживущий товарищ, оказавшийся к тому же и вышестоящим. Новый шеф пришел к нам из профсоюзов, где руководил спортом. Но это раньше могли взять и поставить человека без слуха во главе консерватории, теперь перед подобным назначением кандидатуру будут долго и упорно учить. Я снова отвлекся...

«Полагаю, нам придется расстаться!» — в одночасье сообщил мне руководитель родного печатного органа.

«Вы разве уходите?» — участливо спросил я.

Шеф пожал плечами и посмотрел сквозь меня на свою секретаршу: подавляя гордость, она как раз вносила в кабинет поднос, уставленный тарелками. Специальной столовой для начальства у нас не было, и главный редактор предпочитал питаться в номенклатурном одиночестве.

Естественно, через месяц я получал в кассе расчет, подслащенный каким-то завалавшимся гонорарчиком, а местком, призванный защищать мои профессиональные интересы, шепетильно вернул мне семьдесят шесть рублей — взносы в «черную кассу». «Ты должен бороться!» — убеждали ребята из моего отдела эстетического воспитания. — Все тебя поддержат!» Но я привык работать, а не бороться. Думаю, именно из-за многочисленных креслоборцев происходит немалое количество наших несуровиц. Я был спокоен: меня давно переманивали в молодежный журнал — тихий пансион для путешественников в прекрасное по сравнению с сумасшедшим домом ежедневной газеты. Я гордо и неторопливо сдал дела — рукописи, начатые темы, картотеку, оргтехнику. Два мои материала, очерк и рецензия, были засланы в набор под псевдонимом. Впоследствии шеф их очень хвалил за остроту, стиль и вообще заметил, что после того, как «коллектив отторг Петрушова, отдел стал работать энергичнее, слаженнее, интереснее...»

Но одну тему я все-таки заначил: во-первых, в журнал надо было прийти со стоящей идеей, а во-вторых, не хотелось останавливаться на полпути. Все началось с того, что дотошный внештатник раздобыл воспоминания ветерана, до войны заведовавшего литературным отделом нашей газеты. К нему-то и носил свои рассказы двадцатипятилетний учитель словесности Николай Пустырев. Один рассказ старик даже напечатал и хлопотал выговор, что по тем временам было очень серьезно.

Но главное заключалось в другом: эти предвоенные мальчишки работали как сумасшедшие, тогда и строили, и писали быстро, много, крепко. Богатыри — не мы! Так вот, у Пустырева в столе лежал большой роман. Рукопись прочитал и очень хвалил Михаил Ананасьевич Булгаков, а потом еще кто-то, чьим мнением тогда дорожили намного больше. Заинтересовавшись, я разыскал в затрепанной довоенной подшивке опубликованный рассказ, он назывался «Выше неба» и повествовал о молодом летчике, мечущемся между страстью к небу и любовью к девушке. Я читал и все ждал, когда же эти два порыва сольются в едином устремлении, но так и не дождался. Но гораздо больше поразило меня другое: у Пустырева было редкое чувство слова, тот абсолютный языковый слух, который дается от рождения — и очень немногим.

Я завел папку с надписью «Николай Иванович Пустырев. Потерянный роман» и начал искать. К моменту моего нежного прощания с новым шефом удалось кое-что выяснить. Оказывается, в 1940 году Пустырев неожиданно расстался с преподавательской работой, хотя был блестящим словесником и послушать его уроки приходили из других школ. «Искусство требует жертв», — осторожно заметил по этому поводу бывший сослуживец Пустырева, ныне ответственный работник Минпроса. Встретился я и с теми, кто когда-то учился у Николая Ивановича; один из них, директор большого завода, захлебываясь, вспоминал, как Пустырев поставил в школьном драмкружке «Тартюфа» и сам великолепно играл Оргона. Уйдя из школы, Пустырев поддерживал отношения с некоторыми своими учениками, они-то и помогли ему в октябре 1941 года перевезти вещи, включая архив, на квартиру сестры, жившей в Балакиревском переулке.

На фронт он попросился в первые дни, но поначалу его не взяли, кажется, из-за плохого зрения. У меня есть фотография, поэтому я хорошо представляю себе этого волевого парня, носившего очки, точно досадную уступку мировому капиталу.

В конце концов Пустырев своего добился и вступил в Краснопролетарский батальон народного ополчения, который после нескольких строевых занятий был брошен навстречу неумолимо наступавшим немцам. Произошло это в начале октября, а в конце месяца, когда все чаще вспоминали о гениальном маневре Кутузова, отдавшего Москву ради спасения России, Николай Пустырев «пропал без вести». Именно так написано в копии извещения, выданной мне Краснопролетарским райвоенкоматом. Ничего не поделаешь, за годы войны сотни тысяч людей пропали без вести, и большинство из них, как постепенно выясняется, пали смертью храбрых.

В сорок втором году Тамара Пустырева эвакуировалась в Казахстан, и все мои попытки выяснить ее дальнейшую судьбу оказались бесполезными. Не думаю, что архив брата она повезла с собой по длинным дорогам эвакуации, но роман все-таки сохранить могла, и лежит сейчас моя милая рукопись где-нибудь между старинными письмами и книжками коммунальных платежей. А может быть, Тамара догадалась отнести роман в местное издательство, и пустырский труд похоронен в завалах юношеской и пенсионной графомании.

Это был тупик.

Тогда я пошел другим путем — принялся разыскивать товарищей Пустырева по учительскому институту, что было несложно: в отличие от меня и многих моих однокурсников они до пенсии проработали в школе. И хотя во времена пустырзского студенчества парней в учительском институте было достаточно, общался я в основном со старушками, похожими на увядших актрис и отставных общественных деятелей одновременно. Все они со вздохом доставали снимок выпускного курса и таинственно рассказывали, как накануне прощального бала Коля Пустырев поссорился с Лялечкой Онучиной и даже поначалу не хотел фотографироваться. Потом, оказывается, состоялось примирение, и я представляю эту сцену по тогдашним фильмам: он бурно врывается в комнату, еле удерживая клумбоподобный букет, а она, отвернувшись к окну, еще плачет, но уже смеется. «Ищите Лялечку, она знает о Коле все!» — в один голос советовали старушки. И я нашел семидесятилетнюю Лялечку, высислил, отыскал в Улан-Уде. Точнее, мы нашли, и вчера наконец пришло письмо от Елены Викентьевны Онучиной-Ферман.

Честно говоря, я хотел принести конверт в класс нераспечатанным, но не удержался и прочитал...

Я снова забежал вперед, а тогда пути поисков только нащупывались, и мне очень хотелось прийти в журнал с «классным» материалом, хотя очевидно, что карточные расходы, записанные на салфетке рукой, скажем, Некрасова, ценятся много выше романа какого-то безвестного довоенного литератора...

Впрочем, с журналом вышла неувязка: место, которое вот-вот должно было освободиться, не освобождалось. Пенсионер со стажем, занимавший его, неожиданно почувствовал себя лучше, а может быть, просто понаслушался рассказов о том, что пожилые люди обычно не выдерживают праздности, и решил продлить свое активное долголетие.

Я негаданно получил творческую свободу, о чем втайне мечтает любой штатный журналист, и по вечерам с чувством превосходства смотрел на энергичных западных безработных, постоянно появляющихся в сюжетах программы «Время».

Когда ты имеешь кресло, тебя ежедневно засыпают просьбами написать что-нибудь эдакое, но приходится отказываться за неимением времени и сил, поэтому первое, что я сделал, оказавшись на «вольных хлебах», обошел дружественные редакции и получил радостные заверения и обещания позвонить, как только появится интересующая меня тема. Но выяснять, какая именно тема меня интересует, никто не стал.

В других местах меня хлопали по плечу и говорили:

— Будет что-нибудь любопытное — неси!

А что нести? Журналист, приученный строчить ежедневно в газетную прорву, наивно думает: вот раскидаю «текучку» — и напишу, уж я-то напишу! Но с правом выбора приходит растерянность, а с творческой свободой и редкие гонорарчики вместо небольшой, но позволяющей спокойно смотреть в завтрашний день зарплаты. Молчаливый укор в глазах труженицы-жены меня не ждал, так как я подошел к своим тридцати годам с паспортом, не тронутым штампом загса, а родителям, проживающим далеко от Москвы, о некоторых переменах в жизни сообщать пока не стал.

За месяцы вольного хлеборобства я нарубил несколько очерков, репортажей и рецензий, изобрел подлюжкины интервью, но стойкий пенсионер держался.

Мне уже приходила идея отдать без остатка свой талант и опыт многотиражной печати, обещавшей к окладу еще и премии за освоение новой литейной техники, но как раз тут и произошла встреча, имевшая для меня, как сказал бы один большой писатель, судьбоносное значение.

Однажды я зашел в бывший мой отдел, попил с ребятами чаю, выслушал гневные комментарии к утренней планерке, узнал, что в отделе писем новая и очень милая девушка и что наш редактор не отличает Авдотью Панаеву от Веры Пановой. Комната, где я проработал шесть лет, изменилась: на стене пока еще висел шарж, изображающий меня капитаном тонущего пиратского барка, но за моим столом уверенно сидел совершенно незнакомый парень. Стол он переставил по-своему. В общем разговоре появились обороты, прозвища, намеки, мне уже непонятные, а когда принесли гранки и все бросились вычитывать материалы, по обыкновению ругая линотипистов, ответственного секретаря и шефа, я почувствовал себя человеком, совершающим праздную прогулку вдоль работающего конвейера...

Часа полтора я фланировал по улице: терпеливо





стоял перед красным светом, неторопливо переходил улицу, косясь на вибрирующие от ненасти к человеку автомобили, ускорял шаг, чтобы составить более полное представление о понравившейся незнакомке, останавливался перед газетными стендами и радовался мастерству коллег, умудряющихся в двухсотстрочном очерке дать настолько обобщенный образ современника, что прототип уже не играет роли.

Встреча произошла в метро. На «Площади Революции» вагон превратился в детскую игровую площадку. На платформе любопытного мальчишку еще отдирали от нагана, который сжимает в руке бронзовый матрос, а по вагону мимо натянуто улыбающихся пассажиров уже носились горластые школьники. Ребят, естественно, сопровождали взрослые: двух ошалевших родителей можно было сразу установить по суетливым движениям и неуверенным скрикам, какие наблюдаешь у общественных инспекторов ГАИ, зарабатывающих себе дополнительные дни к отпуску; третьей была Алла Умеккая. Последний раз мы виделись с ней восемь лет назад, когда меня, учителя с годовым стажем, призвали на срочную военную службу. Да-да, тогда мы последний раз собирались все вместе: Стась, Алла, Лебедев... Они же вместе с другими моими друзьями проводили меня на сборный пункт. До сих пор помню, как неловко чувствовал себя в стареньком отцовском пальто рядом с модной и красивой Аллой. Из армии я написал ей несколько писем, в которых, блудя наставления командиров и начальников, не раскрывал рода войск и дислокации части, а попросту сообщал, что мой новый профессиональный праздник 19 ноября. Алла тоже написала мне несколько писем, а потом, как сообщил Стась, «сочеталась браком и заматерела». Впрочем, наши отношения как любовь не квалифицировались, и поэтому обижаться было не на что.

За полтора года службы я в совершенстве освоил воинскую специальность и отредактировал несколько сотен писем, которые мои однополчане отправляли домой.

В армии я нашел свое призвание. Дело было так. Все годы учения в пединституте мое перо тянулось к бумаге, и вот стоило мне послать несколько информашек в дивизионную газету, как я превратился в любимого военкора. И ничего удивительного, ибо нередко все эти «ефрейторы Недыбайло», «рядовые Ковтунадзе», «сержанты Сидоровы», как говорят ученые, — суть псевдонимы одного-единственного молодого лейтенанта — корреспондента «дивизионки». А тут живой военкор!

К концу службы я широко и привольно печатался в армейской, а также окружной печати. Венцом моего творчества стали четырнадцать строк под названием «Расчет к бою готов!» в «Красной звезде».

В армии думаешь: вот только вернусь, со всеми перевидаясь, всех обниму! Но оказалось, мои бесконечные полтора года для других здесь, на «гражданке», пролетели так быстро, что у родителей даже не успела подойти очередь на импортную мебель, а фундамент, заложенный рядом с домом, так и не стал новостройкой. Стась, увидев меня в пушистой дембельской шинели, спокойно и дружелюбно обнял, потом показал своей жене Вере и пригрозил, улыбаясь: «Если будешь пилить, снова призовусь!»

От Фоменко я узнал, что Алла вместе с супругом трудится в развивающейся стране, что муж ее — трепач и что его любимое выражение — «качать валюту».

Я зашел в школу, где работал до призыва, и застал классическую картину Репина «Не ждали!» Место мое было занято. Конечно же, я мог настаивать, требовать, ссылаться на советские законы, но не стал, потому что муза журналистики уже осенила меня своими крылами, похожими на рычаги лино-типа.

Бывший секретарь парткома нашего пединститута, как удалось выяснить, перешел на работу в горком партии; я припал к стопам, и он, ворча о феминизации учительской профессии, позвонил в редакцию. Вакансий, разумеется, не было, их и не бывает никогда, но меня взяли на гонорар. Иными словами, сколько напишу — столько получу. За первый же мой материал «Путь к сердцу рабочего» (о безобразной работе треста столовых) главный редактор получил сначала выговор на очень серьезном уровне, а потом на еще более высоком уровне — благодарность. Второй мой материал... Но я опять от-влекся!

Итак, вернемся на станцию метро «Площадь Революции». Поезд тронулся, детские вопли и грохот мчащегося состава образовали миленький дуэт, но Алла соблюдала полное спокойствие среди разбушевавшихся учеников, и только ее зеленые, ненавязчиво подкрашенные глаза время от времени вспыхивали концентрированной строгостью и пригвождали к месту особенно разбесобразничавшего ребенка.

— Какие все-таки недисциплинированные дети! — возмущался старичок, все свое детство, наверное, промаршировавший под барабанный бой. — Уймите же их наконец!

— Да пусть побегают! — добродушно разрешила старушка.

— И попрыгают! — со смехом добавил я.

Алла медленно повернула голову, чтобы рассмотреть остроумного пассажира, и наши глаза, что называется, встретились... Поначалу она меня не узнала, но потом бросилась навстречу со словами, что я несколько не изменился.

— Я тебя все время читаю! — радостно сообщила Алла.

— А куда вы едете? — перевел я разговор на другую тему.

— В Измайлово, на соревнование... Завтра обязательно расскажу Стасю и Максиму! Мы уже давно хотели встретиться с тобой, даже в газету тебе звонили!

— Когда?

— Несколько раз. Только у вас там никогда никого не бывает, даже удивительно, как газета каждый день выходит!

— Мне тоже удивительно, — согласился я. — А ты, значит, видишься с ребятами?

— Вижусь?! Я работаю с ними в одной школе!

Заинтересовавшись, с кем это так улыбчиво беседует их неумолимая учительница, дети поутихли, в глазах мамаш засветилось женское соучастие, а за подливый старичок ехидно заметил, что у всех дамочек, даже «педагогов», на уме лишь одно и то же.

Метропоезд, вырвавшись из грохочущей темноты тоннеля, стал тормозить, мелькающая за окнами подземная архитектура постепенно замедлила движение и остановилась.

Алла протянула руку и через мгновение, властная и недоступная, считала по головам учеников, которых измученные родительницы пытались выстроить в колонну...

Стрелка на больших электрических часах громко ударила о цифру «20» — и тут же загремел звонок, возвестивший об окончании урока. Одновременно со звонком в учительскую вошла Полина Викторовна, она сразу сняла трубку телефона, уселась в кресло и до конца перемены отрезала нашу школу от внешнего мира.

Следом появилась обиженная на жизнь Евдокия Матвеевна, хрюнула по столу кипой лабораторных тетрадей и, всем своим видом давая понять, что перемена не время отдыха, углубилась в проверку, зло подчеркивая красным карандашом обнаруженные ошибки. Затем в комнату впрорхнули три (никак не запомню их имена) преподавательницы начальных классов, они редко спускаются сюда со своего четвертого этажа, разве что покурить. Наша учительская, кстати сказать, состоит из двух смежных комнат, большой и маленькой, где в случае необходимости можно подымить так, чтобы не видели ученики, которые этим временем сами смоят где-нибудь в туалете. Кроме того, в маленькой комнате (ее вслед за Борисом Евсеевичем именуют «курзалом») можно обсудить личные и производственные проблемы, пожаловаться на судьбу и директора, примерить об новы.

Учительницы младших классов занялись как раз примеркой, потому что, когда, нетерпеливо разминая сигарету, Котик пытался войти в «курзал», оттуда раздавался визг, по давней традиции обозначающий потревоженную женскую стыдливость.

— «Курзал» занят! — грустно констатировал он и переключился на Елену Павловну, расправлявшуюся перед смутным, покрытым темными пятнами зеркалом свою новую, довольно рискованную кофточку. — Леночка, вы очень дорогая женщина! — вздохнул Борис Евсеевич.

— О чем вы говорите! Лучше вспомните, как были одеты десятиклассницы на Новый год! — вставила Полина Викторовна, прикрывая трубку ладонью. — На приемах такого не увидишь...

— Хорошо были одеты, в соответствии с растущими потребностями! — согласился Котик.

— В соответствии с непонятными возможностями! — тонко улыбнулась Маневич.

— У нас-то что! — взмахнула рукой Казаковцева и кокетливо отвернулась от зеркала. — В спецшколах — мне однокурсница рассказывает — вообще с ума сойти можно! Бриллиантовые сережки на физкультуре теряют... Подруга французскую шубу купила, последнее отдала и стесняется носить: все старшеклассницы в таких ходят!

— Куда мы идем? — ужаснулась Полина Викторовна, вороша телефонную книжку.

— Андрей Михайлович, вы в тряпочных разговорах принципиально не участвуете? — насмешливо спросила меня Елена Павловна, и, пока я прогревал мозги, чтобы достойно ответить, она, пожав плечами, скрылась в «курзале». Там ее приняли тихо: или уже закончили примерку, или сразу почувствовали свою сестру.

Некоторое время все молчали, и стал отчетливо слышен гул перемены. В учительскую, интеллигентно сутулясь, зашел Максим Эдуардович Лебедев, вяло поздоровался, достал из кармана душистый носовой платок и, сняв очки, начал задумчиво протирать отливающие янтарем толстые стекла.

— Это хамство! — неожиданно крикнула Евдокия Матвеевна Гирина и швырнула красный карандаш. — Неужели никто не может сказать Казаковцевой, что в таких кофтах по школе-то не ходят!

— А как же ей ходить? — удивился Борис Евсеевич.

— Как все! — ответила Гиря; на ней был темно-зеленый костюм из чистой полушерсти.

— Что значит — «как все»? — возразил Котик. — Тогда уж лучше снова мундиры ввести. Кстати, может быть, их зря отменили!

— При чем здесь мундиры-то? Совесть надо иметь! Она бы еще майку одела...

— Майки, Евдокия Матвеевна, надеваю я, — вкрадчиво подсказал Борис Евсеевич.

— Да не цепляйтесь вы к словам-то! — возмутилась Гирина.

Максим Эдуардович вздохнул и отвернулся, точно воспитанный человек, вовлекаемый в магазинную ссору. Котик примирительно развел руками и подсел ко мне.

— Теперь, после «Дожизем до понедельника», — почти на ухо проговорил Борис Евсеевич, — никто не говорит «ложить», но вы представляете, сколько фильмов о школе нужно снять, чтобы научить педагогов говорить правильно?

— Не представляю! — ответил я.

В этот момент дверь учительской содрогнулась от глухого удара, словно один хоккеист с налету припечатал к борту другого, потом послышался гневный голос Клары Ивановны, и в наступившей тишине раздались извиняющиеся басы режущихся детишек. И вот на пороге появилась Опрятинна. Ее брови после гневной нотации были сдвинуты, и, наверное, поэтому вопрос, который она задала Гириной, прозвучал резче, чем следовало:

— Евдокия Матвеевна, почему во время вашего урока Кирибеев сидел в туалете?

— Как же вы его там нашли? — совершенно не кстати изумился Борис Евсеевич.

— Нашла! — даже не взглянув на Котика, ответила Клара Ивановна, потом раздраженно спрятала в рукав кончик носового платка и сурово добавила: — Сколько можно повторять: не выгонять, не выгонять!.. В 1016-й школе ребенка выгнали, а он с крыши свалился. Вы этого хотите?

— У меня «окно» было, — заступился я за Гирину. — Он срывал урок... Я хотел...

— Ну и напрасно! — отмела мои объяснения Опрятинна, вложив в три слова три глубоких смысла: во-первых, человек я в школе временный; во-вторых, опыта педагогического у меня нет и не предвидится; в-третьих, меня вообще никто не спрашивал...

Я даже привстал в кресле, чтобы достойно ответить, но Борис Евсеевич, положив мне на плечо руку, усадил на место.

— А что делать-то, если он на голову садится? — вдруг в лучших рыночных традициях заголосила Гиря. — Смотрит на меня белыми глазами и ржет!..

— Евдокия Матвеевна, на полтона ниже! — поморщилась Опрятинна; по мере того как страсти накалялись, она явно успокаивалась.

— Кирибеев действительно ведет себя безобразно! — поддержал Гирину Максим Эдуардович, и его пальцы пробежали по пуговкам жилета, точно по клавишам баяна. — Кирибеев совершенно не считается с учителями.

— Заставьте его считаться с вами, Максим Эдуардович, — посоветовала Клара Ивановна, — в противном случае вы не педагог.

— Как заставить? — расsteгивая нижнюю пуговку жилета, спросил Лебедев.

— Розги нужно вернуть, розги! — примирительно пошутил Котик, но вызвал совершенно противоположную реакцию.

— Хватит вам подъеддыкивать-то! У вас-то он не хулиганит! — закричала Евдокия Матвеевна.

— Вы меня осуждаете? — обиженно спросил Борис Евсеевич и вышел из боя.

— Клара Ивановна, — дождавшись окончания перепалки, продолжал Лебедев. — Вы отлично знаете, что Кирибеев не считается ни с кем... Мы же с вами вместе его мать приглашали...

— Еще раз повторяю: заставьте его уважать вас! — холодно посоветовала Опряткина.

— А почему вы превращаете дисциплину в личное дело каждого учителя? Сколько порядка в обществе, столько и в школе! — залепил Максим Эдуардович и расстегнул вторую пуговицу.

— Не нужно подводить сомнительные социальные теории под собственную педагогическую беспомощность! — парировала Клара Ивановна.

— Моя беспомощность — следствие вашего неумения создать нормальную обстановку. В школе стало невозможно работать! — сдерживаясь, выстроил ответ Лебедев и расстегнул сразу две пуговицы.

— Никто вас в школе-то не держит! — политично примкнула к завучу Евдокия Матвеевна.

— А вы не распоряжайтесь моим местом в жизни! — вскричал Максим Эдуардович так, что даже Маневич вздрогнула и оторвалась от телефона.

Из «курзала» выглянули испуганные учительницы начальных классов, скрылись и выпустили на разведку Елену Павловну.

— Товарищи, — взмолилась она. — Дети услышат! Максим Эдуардович, уступите: вы же мужчина!

— В том-то и беда, — с горечью непонятого ясновидца проговорил Лебедев, — в том-то и беда, что в школе мужчины давно уступили место... женщинам! — Последнее слово он произнес с особой интонацией, с какой говорят — «бабы», и, быстро застегнув пуговицы так, что осталась лишняя петелька, бросился вон из учительской, словно Чацкий из фамусовской Москвы.

Клара Ивановна молча покачала головой, вздохнула и отправилась в свой кабинет, расположенный рядом с учительской.

— Да-а! — осуждающе сказала Евдокия Матвеевна. — Умеет Станислав Юрьевич подбирать кадры! — Но, видимо, сообразив, что обвинение относится и ко мне тоже, заторопилась вслед за Опряткиной, чтобы подробно и без свидетелей оправдаться.

Убедившись, что гроза миновала, из комнаты выскользнули учительницы начальных классов, они были похожи на детей, случайно подслушавших скандал взрослых. Потом из учительской удался не оправившийся от обиды Борис Евсеевич. Мы остались вдвоем с Еленой Павловной, если не считать повисшей на телефоне Полины Викторовны. Казаковцева внимательно разглядывала на стенде список с распределением общественных нагрузок между учителями, а я искал повод для начала разговора и убеждался, что, увы, не мастер первого броска. Пока мы молчали, в комнату заглянула Вика Чельшева, хорошенькая девочка-бройлер из моего девятого класса, влюбленная, по всеобщему мнению, в Лебедева. Ее совсем недавно перевели к нам из спецшколы с языковым уклоном.

— Я за журналом! — объяснила Вика и поискала взглядом своего избранника.

— Возьми! — разрешил я.

— Спасибо, — разочарованно ответила Чельшева, вынула из ячеек журнал и вышла, прилежно показывая станом.

**А**бсолютной тишины на уроке не бывает, как не бывает в природе абсолютного вакуума: все равно по классу блуждают молекулы шепотов, вздохов, хихиканий... У шестого класса сегодня самостоятельная работа — генеральная репетиция перед городским изложением, которым насмерть перепуганные учителя страшат учеников, а те давно уже поняли, что если кто и боится «двоек», так это сами же преподаватели.

Я два раза медленно, что называется, с выражением, прочитал текст, мобилизовал все свои артистические данные, чтобы длинными паузами обозначить точки, средними — запятые, а трагической мимикой — самые коварные места. В заключение я дал несколько советов, не подрывающих моего учительского авторитета: выражаться кратко, не запутываясь в сложных предложениях, следить за проверяемыми гласными и помнить: изложение, сданное после звонка, — это «двойка», а одинаковые ошибки у сидящих за одним столом — «единица».

— А если случайно? — раздались взволнованные голоса.

— Случайность — неосознанная закономерность! — ответил я со значением.

Вообще мой небольшой, с громадным перерывом педагогический стаж подсказывает мне, что для учителя главное — твердость духа, уверенность в себе. Но если малышам достаточно убедительной интонации, то старшеклассникам подавай убедительное содержание, и если второе подменяется первым, преподавателя быстренько «раскусывают» и учительский стол превращается в баррикаду, разделяющую враждебные стороны.

Именно такая гражданская война идет на уроках Гири. Но, с другой стороны, интеллигентный, умный, знающий Лебедев тоже не владеет классом, чего-то не хватает, видимо, не случайно девятиклассники прозвали его «доцентом». Кстати, мы много рассуждаем об акселерации детей, но совершенно не говорим об инфантилизме педагогов. Стась жаловался, что регулярно вызывает в школу мамашу одной учительницы начальных классов, а дипломированная дочка сидит в это время рядом, комкает платочек и обещает исправиться.

— Андрей Михайлович, писать уже можно?

— Конечно! Или я из стартового пистолета должен выстрелить?

Ребята склонились над тетрадями и засопели.

Кстати, мне кажется, что теперь я проще нахожу общий язык с ними, чем восемь лет назад. Тогда, распределенный в школу после института, я входил в класс с чувством неловкости и удивления, потому что хорошо помнил себя сидящим за партой, и мое новое положение у доски временами казалось мне недоразумением, странной мистификацией. Иногда, спрашивая ученика, я ощущал, что спрашиваю самого себя, и невольно начинал лихорадочно формулировать ответ. Это ведь в армии — кто старше по званию, тот умнее, в школе все-таки немного по-другому.

Однажды на уроке мне задали чисто городской вопрос: что такое «краснотал», — я пролепетал чепуху про весенние ручейки, а дома по словарю выяснил, что на самом деле это кустарник, но так и не решился рассказать ребятам о своей ошибке. Не знаю, возможно, до сих пор кто-нибудь из моих учеников живет в полной уверенности, будто красноталом называются тающие весенние сугробы, а другие, узнав однажды настоящее значение, криво

усмехнутся, припомнив молоденького, невежественного, но самоуверенного преподавателя.

Должен признаться, восемь лет назад внешне я почти не отличался от старшеклассников, тем более что растительность на моем круглом розовощеком лице, мягко выражаясь, оставляла желать лучшего. В качестве знака различия я повязывал галстук, который, как теперь понимаю, чудовищно не подходил ни к костюму, ни к рубашке, о носках даже и говорить не хочется. И вот однажды, когда я стоял у доски и вдохновенно излагал новый материал, в комнату заглянул инспектор роно, увидел на учительском месте взволнованного парнишку и строго сказал: «Сядь на место! Где ваш учитель?» Класс зашелся диким хохотом. На перемене в кабинете директора, обиженного соля, я принимал извинения инспектора и с упреком отвечал: «Но ведь я же был в галстуке! В галстуке...» Потом, став журналистом, я многократно рассказывал этот забавный случай приятелям, но даже не предполагал, что вернусь, пусть ненадолго, в школу...

— Андрей Михайлович, — раздался жалобное сообщение, без которого не обходится ни одна самостоятельная работа. — У меня ручка не пишет!

Я очнулся от воспоминаний, полез в боковой карман и вручил авторучку, предназначенную специально для подобных превратностей, потом медленно, словно наладчик вдоль исправно работающих станков, прошел между столами. На самостоятельной работе как у взрослых, так и у детей сразу виден характер: одни пишут сосредоточенно, не обращая ни на кого внимания, другие вертятся, точно на вращающемся стульчике, успевая заглянуть в тетради ко всем соседям, третьи, поставив учебник шалашком, отгораживаются даже от своего товарища по парте, четвертые обреченно смотрят в одну точку, отказавшись от борьбы за «тройку». Я скользил взглядом по тетрадям и учительским оком видел россыпи ошибок; там, где ошибки можно уже добывать промышленным способом, я задерживался, делал скорбное лицо и тихонько вздыхал, — и ученик испуганно начинал проверять написанное, понимая, что не от трудной личной жизни вздыхает учитель, а от безграмотности детей.

Впрочем, если зашла речь о личной жизни и ее сложностях, нужно вернуться к встрече в метро. Как и пообещала Алла, через несколько дней мы собрались у Фоменко. Жена его, Вера, с привычным гостеприимством накрыла стол и ушла в соседнюю комнату, попросив позвать ее, как только закончатся разговоры о школе. Стася и Алла начали, перебивая друг друга, рассказывать о времени и о себе. Иногда медленные, хорошо выстроенные фразы вставлял Лебедев.

Оказалось, Фоменко стал директором полтора года назад, причем довольно неожиданно, потому что все шло к назначению Клары Ивановны. Между прочим, Опрятинна была исполняющей обязанности после принудительного вывода на пенсию прежней директрисы, оценивавшей способности учеников по тем выгодам, которые можно извлечь из их родителей. Она и теперь еще где-то преподает и шумно радуется, что хоть на старости лет смогла заняться не администрированием, а обучением и воспитанием, к чему, естественно, стремилась всю сознательную жизнь. Стася работал в нашей школе с самого распределения, а последние три года был внеклассным организатором, но ему и не снилось директорское кресло. Зато это пришло в голову некоторым учителям, опасавшимся непростого характера Клары Ивановны. К тому же она не учла, что твердый стиль руководства, необходимый человеку, утвержденному в должности, крайне опасен для тех, кто

пока лишь исполняет обязанности. Впрочем, у Опрятинны были свои основания для жесткости, потому что уверенность в себе — это часто уверенность в своих друзьях: заведующей роно была Кларино однокурсница, и, судя по нежным отношениям, в юности им не довелось влюбляться в одних и тех же молодых людей. В школе партию Опрятинна составила Гирина и Маневич.

Но тут произошло два события, решивших судьбу Фоменко. Во-первых, на очень большом совещании чуть ли не министр чуть ли не просвещения посетовал, что у нас еще недостаточно молодых энергичных директоров школ. Все дисциплинированно прозрели и ахнули: «Совершенно недостаточно!» Во-вторых, внезапно заведующим роно стал бывший первый секретарь Краснопролетарского РК ВЛКСМ Шумилин, которому прочили совершенно иную карьеру. А Шумилин знал Стасю еще секретарем комсомольской организации и председателем районного совета молодых учителей. Почуяв неладное, Гирина и Маневич помчались по инстанциям, настойчиво доказывая, что Фоменко еще не дорос до директорства, что руководителем должна стать Клара Ивановна, опора и надежда советской педагогики. Первокласснику ясно, такая активность сильно подорвала шансы Опрятинны. Тем более что сразу же сформировалась оппозиция во главе с Аллой, в сторонники Стася записались и те, кто собирался вить из молодого директора веревки. Оппозиция активно включилась в расхваливание достоинств Клары Ивановны, довела восторги до абсурда и, когда выяснилось, что Опрятинна директором быть не может, потому что не может быть никогда, — сдержанно, с элементом здоровой критики стала похваливать своего лидера.

Итак, назначение Фоменко состоялось, и оставшийся «над схваткой» Котик произнес свои исторические слова: «Стася у Клары украл номенклатуру». Сейчас, когда Фоменко показал норы, пошли разговоры, будто Стася из стратегических соображений внедрил в школу своих друзей по педагогическому институту, но это явное преувеличение. Судите сами: Алла пришла в нашу школу три года назад, когда вернулась из дружественной южной республики и разошлась с мужем. Пришла не потому, что здесь работал Стася, а потому, что ей предложили нормальную нагрузку.

А вот Лебедева действительно перетянул Фоменко. Насколько я помню, Макс никогда не прикидывался, что собирается учительствовать: в его семье институтский диплом считался чем-то вроде второго аттестата зрелости. Кандидатская диссертация — другое дело, хотя тоже по нынешним временам маловато. У Лебедева имелась сестра, которую отец, крупный деятель народного просвещения, уже защитил от превратностей жизни, наступала очередь Макса. Но у него, как у многих детей из хороших семей, случались приступы самостоятельности. В очередной раз на него «нашло» перед самым окончанием вуза, и он отрекся от приготовленного «диссертационного» местечка, отправившись в народ, а именно — в школу. Поначалу ему нравилась такая головокружительная самостоятельность, а начальство и коллеги трепетно воспринимали его как полномочного представителя могучего родителя. Но жизнь показала, что могущество — это все-таки не постоянный признак, как, скажем, отпечатки пальцев, а всего лишь следствие служебных обязанностей, возложенных на того или другого гражданина доверчивым обществом. Лишившись должности, Лебедев-старший превратился в рядового дачного ворчуна, а Макс из будущего ученого, выбравшего тернистый путь в науку, — в обыкновенного учителя. На-



верное, так себя чувствует нахальный мальчишка, отпавшийся задрать взрослую компанию и вдруг обнаруживший, что его собственные здоровенные дружки куда-то исчезли.

Научные планы Лебедева начали рушиться. Обуянный принципиальностью директор школы при поддержке правдолюбивого коллектива резко отказал Макс у в давно обещанной рекомендации для аспирантуры и дал понять, что с уходом преподавателя физики педагогический процесс нисколько не пострадает. Не сталкивавшийся с серьезными трудностями и поэтому очень гордый Лебедев собрался хлопнуть дверь, и тут пришел на выручку Фоменко...

— Я не приму у тебя работу, имей в виду! — не утерпев, сказал я Рите Коротковой, писавшей изложение в соавторстве с половиной класса.

...А Стась, узнав о беде Лебедева, сказал так: «Поработаешь немного у меня, а потом пойдешь в аспирантуру. Усвоил?»

Фоменко к тому времени уже требовались свои кадры. Лебедев же, будем объективны, предмет знал неплохо, работал нормально, Стась не подводил, но к делу относился спокойно, так как задумал невозможное: будучи преподавателем общеобразовательной средней школы, сбересть нервную систему, которая, как известно, дается нам только один раз. Допускаю, что это могло удаться, если бы не Кирибеев.

— Никогда не думал, что ученика можно ненавидеть! — медлительно признался Лебедев на той встрече у Стась.

— А ты думай о чем-нибудь хорошем! Например, о Челышевой! — со смехом посоветовала Алла и пояснила: — В Макса влюбилась девятиклассница и постоянно вертится около учительской. А папа у нее, между прочим, кру-у-упный начальник! — дополнила картину Умцакая.

— Да полно тебе! — поморщился Лебедев, пробегая пальцами по пуговкам жилетки.

— Ничего не «полно»! Кирибеев тебя из-за нее на дуэль вызовет! — резвилась Алла, по забывчивости положив ладонь на мое плечо.

— Дуэль на указках! — подхватил я.

— Какая дуэль?! — рассердился Стась. — Теперешние пацаны не знают, что такое «лежачего не бить» или до «первой крови». Чтоб вы знали! Вчера смотрю: у Семеновой на белом переднике след от кроссовки. Спрашиваю: «Это откуда?» А она ответила: «Мне Шибеев каратэ показывал!»... Ладно, хватит о работе. Я зову Веру...

Пришла Вера, подозрительно поглядела на нас, словно мы хитростью хотели заманить ее в самый разгар педагогических споров, но сразу успокоилась, потому что солировал я, рассказывая, какие уморительные опечатки бывают в газетах.

— Андрюша, — спросила Вера, когда я замолчал, чтобы припомнить очередной газетный «ляп», — почему ты перестал печататься? Не пишется?

— Видишь ли, Вера, — хотел я отшутиться, но понял: нужно раскалываться. — Я в газете теперь не работаю...

— А где ты теперь? — поинтересовался Стась, не допускающий мысли, что советский человек может нигде не работать.

— Пока нигде. Жду места в журнале. Разыскиваю роман Пустырева.

— А живешь на что? — жалостливо спросила Алла, выискивая на моем лице следы недоедания.

...От Фоменко мы вышли поздно. К ночи крещенскую слякоть прихватило морозом, и под ногами лопался звонкий, как мембрана, лед. Умцакая и Лебедев пошли к стоянке такси, а мы со Стасем за-

держались у подъезда, продолжая начатый разговор.

— Слушай, когда тебя в журнал обещали взять? — выпытывал он.

— Может быть, завтра, а может быть, через полгода... Как обстоятельства сложатся...

— Слушай, а не хочешь у меня поработать? Все-таки твердые деньги, и друга выручишь! У меня литературовед в декрете, еле с почасовиком выкручиваюсь...

— Стасик, я давно все перезабыл...

— Вспомнишь!

— У меня большой перерыв — начальство не разрешит...

— Это уже мои трудности. Давай до конца учебного года, а?

— Нужно подумать...

— Думай. Даю тебе ночь на размышления! — сказал Стась, обнял меня и повлек туда, где затормозило пойманное такси.

Из темного окна выглядывала Аллочка.

— Я теперь живу на «Семеновской», — весело сказала она. — А тебе куда?

— В ту же сторону! — ответил я.

Фоменко крикнул вдогонку, что будет ждать звонка, а Макс церемонно кивнул, в ожидании машины он стоял у края тротуара со скульптурно протянутой рукой.

У таксиста было профессионально недовольное лицо, словно мы вытаскивали его из теплого дома да еще заставляем ехать бог знает куда.

— Ну, как тебе наш руководитель? — спросила Алла, найдя в темноте мою ладонь.

— Зовет на работу.

— Да ты что! — засмеялась она и крепче сжала мои пальцы. — Значит, снова будем все вместе! Здорово!..

За окном мелькали пустынные полные улицы, и только на остановке возле кинотеатра былолюдно.

— Высадите нас возле булочной! — вымолвила Алла, не отдышавшись от наших дорожных лобзаний, и таксист затормозил с таким неудовольствием, точно ему приказали остановить только-только разогнанный до скорости света грузовой звездолет.

— Ты любишь настоящий кофе? — спросила Умцакая, глядя вслед уезжающей машине.

— Конечно! — нетерпеливо воскликнул я и совершил непоправимую ошибку.

«Ничто так не отдаляет мужчину и женщину, как близость, не оплаченная подлинной любовью...» Хорошее начало для статьи, адресованной вступающим в личную жизнь! Но я снова отвлекся, а ведь через пять минут нужно изымать тетради...

— Осталось тридцать секунд! Потом собираю работы! — предупредил я. — Время!..

По классу пронесся смерч вдохновения, все бросились дописывать самые необходимые строчки, в которых и будет больше всего ошибок. Прогремел звонок, но, разумеется, писали почти всю перемену.

Последней с тетрадкой рассталась Рита Короткова. В глазах у нее стояли совершенно мученическое выражение и безнадежная мольба. Наверное, так несчастные славянки смотрели вслед кошмарным янычарам, навсегда увозившим голубоглазых мальчиков в басурманскую неволю...

В учительской, куда я забежал, чтобы обменять журнал, Евдокия Матвеевна под руководством Бориса Евсеевича диктовала по телефону решение задачи своему сыну, обучающемуся в пятом классе соседней школы:

— Пушочек, я не знаю, как вам объясняли, но Борис Евсеевич лучше знает! — увещевала она. — Веди

себя хорошо, на улицу не бегай! Кашку погрей на малюсеньком огоньчке!..

В кабинете литературы было пусто: Фоменко сегодня повел старшеклассников на экскурсию в близлежащий вычислительный центр, и к началу урока они опаздывали. По стенам висели одинообразные портреты классиков мировой литературы, и это очень напоминало Доску почета маленького, но дружного предприятия. Ниже располагались плакаты, иллюстрирующие наиболее сложные случаи правописания.

Свой первый урок я давал в девятом классе, это произошло через три дня после памятного вечера у Фоменко. Оказалось, оформить человека на работу можно очень быстро, гораздо скорее, чем уволить. Мы со Стасем вошли в кабинет литературы, и ребята, увидев директора, приподнялись — обычно они лишь обозначают вставание, как это бывает, если ты, скажем, сидишь в глубоком кресле, а твой хороший знакомый подходит и протягивает руку. Изобразив свирепость, Фоменко заставил класс выпрямиться и взмахом руки унял ропот любопытства.

— До конца года, — сказал он, — вашим классным руководителем и преподавателем литературы будет Андрей Михайлович Петрушов. Его фамилию те, кто умеет читать, встречали в печати. Андрей Михайлович — мой студенческий товарищ. Если услышу от него хоть одну жалобу, ликвидирую вас как класс! Усвоили?

— Ваш друг — наш друг! — с южным акцентом отозвался с первой парты белобрысый хитроглазый ученик, как выяснилось впоследствии, Петя Бабакин.

Несколько парней, услышав мою фамилию, многозначительно переглянулись и стали переговариваться. Фоменко движением бровей оборвал недозволенные речи и ушел, уводя с собой широкоплечего ученика — грузить старую мебель.

— Жаловаться не в моих правилах! — высокопарно разъяснил я, оставшись наедине с классом, но слез восторга не последовало, ибо еще ни один педагог не начинал свою деятельность с обещания ябедничать начальству. — Вопросы ко мне есть? — спросил я, стараясь углубить контакт.

— Есть... Андрей Михайлович, почему вы ушли из большого спорта? — спросил длинный, модно остриженный парень, у его ног стояла адидасовская сумка, а из нее торчала ручка теннисной ракетки — моя несбывшаяся мечта.

— Откуда? — оторопел я, но потом вспомнил, что совсем недавно редкий футбольный репортаж обходился без моего однофамильца, обводившего одного защитника, потом другого, но у самой штрафной площадки непременно терявшего мяч...

— Из «Спартак»! — подсказали сразу несколько голосов.

— Нет, ребята, я никогда не играл в футбол... Я работал в городской газете...

Любопытство большей части класса мгновенно угасло, но кое-кто, наоборот, поглядел на меня с интересом. Не дождавшись новых вопросов, я раскрыл журнал и стал знакомиться с классом: старательно выговаривал фамилии, ребята вставали, и я разглядывал каждого долгим, изучающим, отеческим взглядом. Запомнить всех учеников с первого раза, конечно, невозможно, остается только смутное впечатление, какое бывает от незнакомого города, где побывал проездом. Но кое-какие достопримечательности девятого класса бросились в глаза с самого начала.

— Бабкин! — с удивлением выговорил я смешную фамилию.

— Бабакин! — хором поправил класс, но было по-

здно, под всеобщий хохот Петя Бабакин из-за моей невнимательности превратился в Бабкина до окончания школы, а может быть, и на всю оставшуюся жизнь.

— Уже обзываются! — горько пожаловался он, смеясь вместе со всеми.

После этого случая я потратил несколько вечеров и выучил списки моих классов наизусть.

Володя Борин после погрузки вернулся, тяжело дыша, похожий на силача, который в цирке держит на себе металлическую конструкцию с мотоциклетами, акробатами и прочими чудесами. Встретишь такого девятиклассника на улице и вежливо посторонишься.

Когда поднялся Леша Ивченко, невысокий, сосредоточенный парень с комсомольским значком на пиджаке, класс с улыбочками сообщил, что он большой начальник: комсорг.

— Что же твои комсомольцы без значков ходят? — тепло пожурил я.

— А мы в подполье! — сообщил Бабкин, показывая значок, приколотый к тыльной стороне лацкана. Кирибеев встал нехотя, раздосадованный тем, что кто-то все потревожил его имя.

Нина Обиход представилась, не отрывая глаз от крышки стола, и я рассмотрел только аккуратный пробор, белевший в глянцевых черных волосах.

— Покажи личико, Гюльчатай! — поддразнил ее Бабкин.

На фамилию «Расходенков» откликнулся тот самый ученик с теннисной ракеткой, у него были веснушчатое лицо и странная манера заглядывать в глаза.

Наконец дело дошло до Вики Чельшевой, она встала медленно и обольстительно, поправила обесцвеченные волосы и глянула так, точно я не учитель, а настойчивый, но интересный мужчина, приставший к ней на улице. Зрелости у этой, прямо скажем, красивой девушки было на десять аттестатов.

Очень скоро я заметил, что мой девятый, как и любой другой старший класс, — это настоящее кружево, сплетенное из сердечных переживаний; любой французский многоугольник в сравнении с ним — детский лепет на лужайке. Боюсь, до конца учебного года я по-настоящему не разберусь в насыщенной личной жизни моих подопечных. Вот если бы у меня был персональный компьютер, тогда другое дело: составляется программа с рабочим названием «Странности любви», формируется солидный банк данных, а дальше набирая на клавиатуре любую фамилию и получай. Ч е л ы ш е в а: влюблена в Лебедева, но для подстраховки приваживает Ивченко, Кирибеева и Расходенкова... О б и х о д: сохнет по Ивченко, но делает вид, что «запала» на Борина. Р а с х о д е н к о в: по требованию исполняет обязанности поклонника Чельшевой, но заглядывается на Обиход. И в ч е н к о: пытается убедить самого себя, что Чельшева ему не нравится. К и р и б е е в: мрачно ревнует Чельшеву ко всем ученикам и учителям. Б а б к и н: дурашливо конспирируется, но постоянно сидит в пионерской комнате у вожатой Вали Рафф и трубит в горн... Б о р и н: млеет по десятикласснице, кандидату в мастера спорта, гимнастке... П е т р у ш о в: данные строго засекречены...

Наверное, неделю спустя после моего прихода в школу я заметил, как в классе по рукам ходит давняя задохматившаяся газета с моим очерком «Мама, я женюсь!», вызвавшим в свое время много сочувственных откликов. Пока я изучал учеников, они изучали меня...

Теперь об учебном процессе: с литературой в классе дела обстояли гораздо хуже, чем с любовью.

Моя предшественница, видимо, черпала знания из тех же учебников, что и ребята, но об ушедших в декрет ни слова... С ребятами мы договорились так: они образцово ведут себя на уроках, прилежно готовят домашние задания, а я в меру сил даю им возможность заглянуть за железобетонный забор школьной программы. Однажды я рассказал им о потерянном романе Николая Пустырева, и они с интересом следили за ходом моего частного расследования.

— А если вы найдете роман? — серьезно спросил меня Леша Ивченко, по литературе он шел лучше всех, и я мысленно принял его кандидатом в любимые ученики.

— Думаю, журналы с руками оторвут! — преувеличил я.

— Ну да, оторвут, — ухмыльнулся Гена Расходенков, — печатают только начальников! — В его семье знали решительно все.

Ивченко несколько уроков сидел задумчивый, глядел в окно и наворачивал на палец кудри, а потом задержался после звонка в классе, задал несколько вопросов, пытаясь разобраться, почему все-таки тверской вице-губернатор Салтыков (по-нынешнему — первый заместитель председателя облисполкома) стал неумолимым сатириком Щедриным, — и наконец неуверенно предложил мне свою помощь в поисках романа. Через неделю я включил в план воспитательной работы реально существующую группу «Поиск», действующую под девизом «Рукописи не горят», Шефом-координатором группы единодушно избрали Ивченко, заместителем — Боруна. Теперь в углу каждого письма, которое мы направляли людям, знавшим Пустырева, фломастером был нарисован вечный огонь, а поверх алого пламени стояли синие буквы: «Поиск». Дело мы поставили солидно: письма безропотно печатала Лешина мама, работавшая машинисткой-надомницей, первый экземпляр мы отправляли, а второй аккуратно подшивали в папку...

Из вычислительного центра класс вернулся, подавленный мощью современной техники.

Отвечая домашнее задание, Нина Обиход холодно раскрыла нам образ Фауста: она решительно не могла простить влюбчивому ученому печальной судьбы Гретхен. Шедевр, над которым Гете трудился почти 60 лет, мы, следуя программе, прошли за полтора часа.

Пятый урок кончился, но девятый класс остался в кабинете литературы, чтобы выслушать новую ценную информацию, поступившую в группу «Поиск».

— Прочти, пожалуйста! — Я протянул Ивченко полученное мною письмо. — Но сначала напомним, что мы знаем об Онучиной-Ферман.

— Елена Викентьевна училась на одном курсе с Николаем Пустыревым, — решительно начал Леша, но дальше замялся. — Он ее... Одним словом, он ее...

— Он ее любил. И, по-моему, очень сильно! — подсказал я.

— Любил, — согласился Ивченко. — После гибели Пустырева она по комсомольской путевке уехала в Улан-Удэ. Вот послушайте, что она пишет:

«Дорогие ребята!

Я была чрезвычайно тронута, получив ваше письмо. Как это прекрасно, что вы, комсомольцы 80-х годов, свято чтите память тех, кто отдал жизнь ради мира и покоя на земле. Николай Пустырев принадлежал к этому героическому поколению, чья строка, как сказал поэт, была оборвана пулей.

В молодости мне посчастливилось близко знать

Николая Ивановича. Он был одержим литературой, даже встречались мы не в парках и садах, а в Исторической библиотеке — «Историчке». Пишу вам, дорогие ребята, а у самой слезы наворачиваются, как вспомню наше прощание возле Краснопролетарского райкома комсомола...»

Бабкин собрался было демонстративно всхлинуть, но под тяжелым взглядом Володи Боруна передумал.

«...Николай обещал вернуться живым, чтобы долюбить, дописать свои книги, но в первый и в последний раз не смог сдержать своего слова. Вы спрашиваете, знаю ли я что-нибудь о его романе? Конечно, знаю и хорошо помню, как запоем прочла его за одну ночь, хотя читать было трудно — экземпляр оказался совершенно «слепым». Вас интересует, о чем этот роман. Прошло сорок пять лет, многое забылось, да и память с годами слабеет, но об одном могу сказать с уверенностью: мало я встречала книг, так замечательно, честно рассказывающих о моем поколении.

Отвечаю и на другой ваш вопрос. Да, Николай предлагал рукописи в журналы, но ему возвращались и порой с резкими отзывами, потому что роман был слишком смел для своего времени. Николай очень любил педагогическую работу, но кое-кому показалось, что человек, написавший такую честную суровую книгу, не должен учить детей.

К великому сожалению, о судьбе рукописи я ничего не знаю. Не уверена, что Тамара Пустырева могла сохранить ее, сестра Николая вообще относилась к его творчеству свысока. Сначала я не хотела писать об этом, но вы ребята взрослые и должны знать, что в жизни случается и такое. Вы просите подсказать направление поисков, но будем правдивы перед собой: война стерла сотни городов, унесла миллионы жизней, разрушила тысячи памятников культуры... Только не надо отчаиваться: кто ищет — тот всегда найдет. Поздравляю вас с великим праздником Победы!

Е. В. Онучина-Ферман,  
заслуженный учитель РСФСР.

Р. С. В День Победы я всегда рассказывала моим ученикам о Николае Ивановиче.

Е. О.,

Ивченко дочитал до конца, вздохнул и сложил письмо.

— Она его до сих пор любит! — тихо проговорила Нина Обиход.

— А замуж все равно сходил, — поглядев на меня, ответил Расходенков.

— Дурак! — презрительно оглянулась Челышева.

— А мы-то гадали, почему он из школы ушел! — накручивая волосы на палец, заметил Ивченко.

— Хорошо, — подытожил я. — Давайте подумаем над ответом, а Леша набросает нам к завтрашнему дню «рыбу».

— Спинку минтая! — снова зафонтанировал Бабкин.

Ребята засмеялись — и виноват во всем был я сам, потому что в классе нужно взвешивать каждое слово. Пришлось объясняться:

— «Рыбой» в журналистике называется схематический текст, основа для дальнейшей работы...

— Почему «рыба»? — вездвливо спросил Ивченко. — Я имею в виду этимологию.

При слове «этимология» Бабкин без сил уронил голову на стол, убитый образованностью товарища.

— Понимаете, собственно... — резво начал я и сообразил, что абсолютно не представляю, откуда приплыла злополучная «рыба». Мне осталось обаятельно улыбнуться и признать: — Честно говоря, я

как-то и сам не задумывался, но к следующему уроку обязательно выясню. Порядок?

Мой самокритичный ответ выслушали благосклонно, и я предоставил слово Володе Борину — ответственному за опрос ветеранов. Он встал, волнуясь, потрогал толстыми тяжелоатлетическими пальцами эмбрион бакенбарда, вздохнул и начал сбивчиво докладывать. Речь шла вот о чем. Мы выяснили, что к тридцатипятилетию Победы хотели издать сборник воспоминаний бойцов и командиров Краснопролетарского батальона народного ополчения. Мемуары написали, рукопись сложили, но сначала возникли трения в Совете ветеранов, потом трудности в издательстве, а в довершение умер энтузиаст-составитель. Воспоминания затерялись, а ведь в них вполне могли оказаться неизвестные сведения о Пустыреве. Визит к наследникам покойного составителя ничего не дал, нужно было идти в издательство...

Пока могучий Борин, напрягая последние силы, выпутывался из заключительной фразы, в классе развернулись привычные события. Челышева нацарапала записку, дождалась, когда я отвернусь, и перебрала ее Расходенкову. Послание, не долетев до адресата, упало в проходе. Гена конспиративно уронил учебник, поднял письмецо, но, обнаружив, что его засекли, сунул бумажный квадратик в книгу. Однако, кроме меня, за этой классной почтой нехорошим взглядом наблюдал Кирибеев.

— Опять передача мыслей на расстоянии? Расходенков!..

— А что я? — невинно удивился получатель и поглядел мне в глаза.

Я медленно и неотвратно подошел к Расходенкову и раскрыл заложенный запиской учебник... Божье милостивый! Длинноволосому и очкастому Чернышевскому было присвоено коротконогое тело и электрогитара. Нужно сознаться: Николай Гаврилович оказался потрясающе похож на покойного Джона Леннона. Я несколько раз многообещающе перевел взгляд с испорченной книги на Расходенкова и обратно, а когда обернулся, чтобы пристыдить Челышеву, то обнаружил: дверь распахнута, а Кирибеева на месте нет.

— То его не выгонишь, то сам уходит! — сердечно посочувствовал Бабин. — А что там Генка в учебнике нарисовал? Неужели голую женщину?!

## 6

После шестого урока я чувствовал себя так, словно всю ночь продежурил в редакции, но в номере тем не менее прошла чудовищная ошибка.

В учительской меня трепетно ждала группа штрафившихся пятиклассников. На первом уроке у них была физкультура, поэтому на моем втором они безумствовали. Я отобрал приличное количество дневников и пообещал бузотерам седьмой урок. Но это случилось в начале дня, а теперь, к концу, непонятно было, кого, собственно, собираются наказывать — меня или их? Нарушители дисциплины стояли навытяжку, смотрели виновато-преданными глазами и тихонько поскуливали: «Мы больше не будем...» Единственным, кого я не пощадил, был перемазанный синей пастой Шибаев (представляю, что бы с ним было в эпоху чернильных авторучек!), ему абсолютно все равно: сидеть на седьмом уроке или терзать учителя группы продленного дня. Уже сейчас он обещал вырасти в грозу микрорайона и сотрясателя опорных пунктов охраны порядка. Прой-

дет два года, и учителя хором с родителями закричат: «Куда вы смотрели?»

Итак, я великодушно вернул все дневники, кроме одного, предупредив в очередной раз, что больше прощения не будет. Как только моя авторучка коснулась разграфленной страницы дневника, похожей на лист накладной, Шибаев тут же оборвал свое «мы больше не будем» и равнодушно следил за рождением надписи о его безобразном поведении, призывающей родителей немедленно прийти в школу. Закончив писать, я из любопытства пролистнул дневник, испещренный автографами всех учителей, включая директора.

Когда невозмутимый Шибаев ушел, Борис Евсеевич, созерцавший всю сцену, заметил:

— Я вас поздравляю, Андрей Михайлович! Но вы взялись за трудное дело!

— Не понял?

— Пока увидеть его родителей никому не удалось. Только ваш покорный слуга, — разъяснил Котик гордо, но скромно, — однажды сподобился поговорить с папашей по телефону. И он сказал мне: у вас своя работа, у меня — своя. Говорят, хороший производственник.

— Лауреат квартальных премий.

— Смешно, но, к вашему сведению, Шибаев не самый плохой родитель. Есть и такие, что все время за учителями приглядывают. Знаете, как нудные мужья проверяют, чисто ли жена посуду вымыла или, скажем, белье постирала...

— Пока не сталкивался.

— Столкнетесь. С Расходенковым обязательно столкнетесь!

И Борис Евсеевич, откинувшись в кресле, начал рассказывать о младшем научном сотруднике Расходенкове — при этом имени учителя морщился, как от сверлящего звука бормашины. Когда его сын, общеизвестный Гена Расходенков, пошел в первый класс и вскоре вернулся домой без вареников, Валерий Анатольевич, что называется, «достал» педагогическим проектом вневедомственной охраны детской раздевалки. Потом ему показалось, что ребенок стал допускать в речи «сельские и простонародные обороты», он ходил на уроки, проверял учительницу начальных классов, действительно увлекавшуюся диалектными выражениями. Самая памятная история случилась два года назад: Расходенков возмущенно заявил, что его сын абсолютно не знает и, видимо, никогда не узнает немецкого языка, но не из-за отсутствия способности (и слух абсолютный и память феноменальная!), а из-за профессиональной непригодности преподавателя Лотты Вильгельмовны, которая имела глупость сказать Валерию Анатольевичу, что в условиях школы без репетитора по-настоящему языка не выучишь! Расходенков поднял родительский мятеж, отправил письмо на высочайшее имя, где сообщил о «капитулянтских настроениях у отдельных членов педагогического коллектива», и добился изгнания Лотты Вильгельмовны из школы. На ее место и пришла после института Елена Павлова.

Тогда окрыленный Расходенков решил съесть и Лебедева, который с нерастраченной принципиальностью влил Гене по физике «двойку» за полугода да еще посоветовал в девятый класс документы не подавать. Комиссия, вызванная Валерием Анатольевичем, согласилась с мнением учителя и посоветовала Расходенкову не морочить голову людям, а следить за успеваемостью и знаниями собственного ребенка. После этого удара Расходенков уговорился, или, как считает Котик, «затаился», но Гена неожиданно подналег на физику и все-таки очутился в девятом классе.



— Единство усилий семьи и школы! — подытожил Борис Евсеевич.

— А может быть, Расходенков в чем-то прав? — спросил я.

— Не в этом дело! Недостатки тоже можно искоренять по-разному: с чувством печального долга и с упоением, жестоким наслаждением...

Потом Котика позвал по телефону робкий девичий голос.

— Да, деточка, — сказал Борис Евсеевич. — Ну, конечно... Я тебя тоже целую!

— Дочь? — спросил я.

— Почти, — отозвался он, положив трубку, и стал собираться.

Я остался в учительской один, невзначай дождался Елену Павловну, хорошенько поднапрягся, но когда в моей голове уже забрезжила первая умная фраза, она вдруг спросила, как у меня успевает Володя Борин. Пока я пространно отвечал на ее вопрос, Казаковцева, рискованно перегнувшись через подоконник, выглянула на улицу и махнула кому-то рукой.

Из школы мы вышли вместе. У самых ворот Елену Павловну ожидали три наших восьмиклассницы. После занятий они успели переодеться и выглядели так модно и раскрепощенно, что scandalная кофточка учительницы казалась скучным обмундированием классной дамы. Казаковцева по-товарищески протянула мне узкую ладонь, и они ушли, бурно обсуждая затею, от которой «мальчишки просто отпадут».

В растерянности я несколько минут потоптался возле школы и увидел, как из дверей, гордо неся свежесоставленное лицо, выплыла та самая преподавательница начальных классов, чью мамашу Стась постоянно вызывает для объяснений. Холодно кивнув мне, она направилась к белым «Жигулям» с архитектурными излишествами на бампере. Томный автолюбитель глянул на меня с чувством классового превосходства и, привычно изогнувшись, открыл ей переднюю дверь. Она села, подставила щеку для ленивого приветственного поцелуя.

Конечно, нет ничего удивительного, думал я, шагая к автобусной остановке, что привлекательная молодая женщина-педагог ждет от своего суженого материального изобилия. Странно другое: откуда искомое изобилие берется — разумеется, не у юных избранников, а, например, у их сорокалетних родителей. Обычно объясняют: заработали за границей. Но если так пойдет дальше, мы скоро, как у Уэллса, поделимся на две расы. Работавшие за рубежом и не работавшие. Причем те, кто служит своему Отечеству, не выезжая за его пределы, окажутся расой низшей, второсортной...

Размышляя таким образом, я добрался до издательства. В холле мне пришлось долго препираться с вахтером, бдительно стоящим на страже тайн печати и ведомственной столовой. Внимательно рассмотрев мой журналистский билет, он сообщил, что с такими ходит полгорода, но в конце концов я провался.

Минут сорок пришлось просидеть возле двери заведующего краеведческой редакцией. За полупрозрачным тисненым стеклом металась цветная тень и доносился бесконечно повторяющийся диалог:

— Родненький, план не резиновый!

— Но вы же обещали!

— Родненький, от меня не все зависит. Я не директор!

— Но ведь есть резолюция директора!

— Резолюция — не позиция в плане!

— Но ведь вы обещали!

— Родненький...

Наконец «родненький» — посевший в боях за место в тематическом плане, не старый еще мужчина — вышел из кабинета и отправился искать правду в высших эшелонах издательской власти.

— Кто следующий? Заходите! — распорядился заведующий, похожий на хирурга, которому перед многочасовой сложнейшей операцией нужно быстро вправить грыжу случайному пациенту. — Присаживайтесь. Слушаю вас внимательно...

Сказав это, он предусмотрительно прикрыл газетой бланк типового договора и опасно поглядел на мой портфель, где, по его мнению, таилась мина замедленного действия — толстая папка с рукописью. Мысленно заведующий уже прикидывал, как станет объяснять мне, что путь в литературу начинается за письменным столом, а не в кабинетах редакций.

— Я не автор, мне просто нужна ваша консультация...

— Родненький! — задохнулся он. — Слушаю, слушаю вас внимательно!

Я рассказал ему о нашем «Поиске» и цели моего прихода.

— Какие молодцы! — взволнованно похвалил заведующий. — Очень, очень нужное дело! Если найдете воспоминания — сразу несите нам! Ну, а если роман...

— Так ведь, собственно, воспоминания у вас, — подкасал я.

— Да-да-да... Точно-точно, — задумался заведующий. — Совершенно правильно, но это было, знаете, до меня... Вот что: сходите в 408-ю комнату, там сидит наш старейший сотрудник Евгений Семенович, по-моему, он как раз и вел ту серию... Сошлитесь на меня. И вот еще что...

Но тут зазвонил телефон, и в течение получаса, виновато поглядывая на меня, заведующий снимал какие-то вопросы по своей собственной рукописи, выходящей в другом издательстве.

— Спасибо вам, родненький! — наконец закончил он разговор, благодарно опустил трубку и снова обратился ко мне — так, будто и не отвлекался. — И вот еще что: потом обязательно загляните ко мне...

Как только я вышел из кабинета, туда двинулся розовощекий старикан, в мощном, словно сшитом из драпировочной ткани, двубортном пиджаке, под мышкой он держал толстый альбом в плюшевой обложке. Этого ходока я знал еще по газете: в альбом были вклеены десятки фотографий, запечатлевших пребывание выдающихся людей в различных трудовых коллективах. Под снимками стояли примерно такие отпечатанные на машинке и подклеенные подписи: «Писатель и поэт Вера Инбер среди ветеранов эпроновского движения. Красной стрелкой обозначен я (третий справа во втором ряду)». Никто не мог понять две вещи: во-первых, как, не являясь ни поэтом, ни писателем, старик очутился на всех этих фотографиях, во-вторых, что, собственно, он хотел от изнеможенных издателей...

В 408-й комнате происходило общередакционное чаепитие. Когда я открыл дверь, все поглядели на меня так, точно я вломился в супружескую спальню в самый неподходящий момент. Не будь у меня опыта газетной работы, я бы ретирсвался и еще несколько дней краснел, вспоминая о своей неотесанности.

— Что вы хотели? — спросила меня униженная пластмассовыми браслетами редакционная дама.

— Я хочу видеть Евгения Семеновича. Меня прислал заведующий редакцией...

Застолье всем своим видом дало понять, что ссылкой на руководство их не запугаешь, но тем не менее со стула поднялся лысый человек в джинсовой куртке и вежливо попросил:

— Идите, пожалуйста, в комнату 441-ю, я следом... Извините, ради бога!

Отсчитывая номера кабинетов по нарастающей, как бы отыскивая нужный дом, я долго плутал по коридорам, однако нужная комната оказалась в противоположном конце, в непонятном закутке. Туда меня отвела молоденькая модная секретарша, из тех, что ездят на работу в личных автомобилях, в то время, когда их непосредственных начальников мнут в городском транспорте. В комнате сидели два редактора, задумчивые, усатые, такие похожие, словно их рекрутировали из одной деревни, где все жители — родственники. Они показали мне стол Евгения Семеновича и продолжили разговор.

— Писать... О чем ему писать? Он жизни настоящей не знает...

— А где он ее узнает? На даче у папаши-графомана?!

Вскоре пришел Евгений Семенович, я повторил ему рассказ о наших поисках, сочувственно предположив, что рукопись за много лет могла затеряться.

— Ну что вы! Зарегистрированные рукописи не теряются и не горят — девиз у ваших ребят правильный. Я хорошо помню эти воспоминания — очень честные были. А составитель действительно, пока мы канителились, умер. Но рукопись не у нас, ее забрали. И сейчас я вам скажу, кто именно. — Он порывшись в потрепанных общих тетрадях, в каких пишут мои старшеклассники, и сообщил: — Записывайте... Чаругин Иван Георгиевич... У меня, знаете ли, с начальством отношения сложные, поэтому приходится вести строгий учет...

Когда я начинал работать в журналистике, один старый газетный волк, глядя, как мне хочется всюду успеть, дал совет: «Не дергайся. По телефону можно сделать все, кроме детей».

Вернувшись домой, я достал из морозилки пельмени, которые леплю сотнями, когда на меня находит тоска, и заправился... Легенду, что холостяки питаются плохо и поэтому мучаются желудочными заболеваниями, придумали одинокие женщины, мечтающие выйти замуж. Потом я курил на балконе, рассматривая свежераспустившиеся листочки, и думал с грустью о Елене Павловне, чей образ в последнее время все чаще тревожил мое холостяцкое воображение. Но против печали существует единственное патентованное средство — общественно полезный труд. Я вернулся в комнату, подсел к телефону, набрал номер председателя Совета ветеранов Краснопролетарского батальона и поинтересовался, не знает ли он человека по фамилии Чаругин.

— Знаю, — помолчав, ответил председатель. — Вообще-то Иван Георгиевич не наш... Дружил он с покойником. Телефон я вам дам, но вы на меня уж, пожалуйста, не ссылайтесь... Погодите, поищу...

Я не раз бывал у председателя дома и сразу представил себе, как он, шаркая, пошел в комнату, похожую на школьный музей боевой славы, нашел записную книжку и, борясь с одышкой, вернулся к телефону:

— Записывайте... Но уж на меня, пожалуйста...

— Конечно-конечно, — пообещал я, догадываясь, что даже Совет ветеранов, как всякий коллектив, живет своими непростыми страстями.

Наши классики, я имею в виду литературных, лю-

били заканчивать очередную главу так: остаток дня он провел дома. Это означало, что больше ничего не произошло. Современный человек, очутившись после рабочего дня дома, только и начинает действовать.

Я позвонил Чаругину.

— Слушаю! — отозвался хриплый голос.

— Мне бы Ивана Георгиевича!

— Он самый...

Я быстро, как заученную роль, рассказал о наших поисках, о ребятах и попросил аудиенцию.

— Приходите, — тяжело вздохнув, а может быть, затянувшись сигаретой, разрешил Чаругин. — Только завтра я в поликлинике... На текущем ремонте, бюллетеню... А вот послезавтра утречком, часиков в девять...

— Иван Георгиевич, у меня уроки...

— Ну да, правильно! Это у нас, пенсионеров, все перепуталось... Приходите часика в четыре. Уговорились?..

Довольный, я уселся проверять изложения. Письменные работы я стараюсь возвращать ребятам на следующем же уроке потому что стоит дать себе послабление — и дома сразу скопится целый архив: сочинения, диктанты, изложения, письменные ответы... А потом, глядя на эту библиотеку Ашшурбанипала, можно вообще озвереть и начать ставить оценки в журнал, не проверяя, наобум, точнее, на глазок. Умелая, я знаю, так иногда делает, но это страшная педагогическая тайна!

От занятий меня оторвал звонок Лебедева. Очень путанно, но неизменно вежливо он выспрашивал, не слишком ли разнервничался сегодня в учительской, жаловался, что деградирует среди «этих классных дам», и, наконец, осторожно, как ему казалось, поинтересовался, почему на меня сердится Аллочка.

Я отшутился, заверил, что ему просто померещилось, и наотрез отказался подъехать в гриль-бар на Садовом.

Почти в одиннадцать я вспомнил про «рыбу» и позвонил тому самому газетному волку, некогда учившему меня обращаться с телефоном. Он отозвался бодрым утренним голосом, как будто только-только сделал зарядку и позавтракал:

— «Рыба»? Подожди, сейчас пороюсь в картотеке...

«Картотекой» он именвал собственную голову, которую я бы назвал компьютером с усиленным блоком памяти. Через несколько секунд пришел ответ: лет двадцать — тридцать назад была популярная эстрадная миниатюра о поэте-песеннике. Работал этот деятель культуры так: сначала прослушивал новую мелодию и придумывал ритмическую болванку, для удобства состоявшую из названий всенародно любимых промысловых рыб. Например:

**Нельма, шпроты, подлещики, килька, рыбец, Чавыча и трепанги, навага, тунец.**

Со временем дары морей и рек могли превратиться в такие, например, запоминающиеся строчки:

**Наша парта последняя в крайнем ряду!  
Чтоб тебя повстречать, на урок я иду.**

И вот однажды поэт случайно забыл свою «рыбную» заготовку на рояле, а композитор вообразил, что имеет дело с законченным художественным произведением, и обнародовал новую песню, сразу ставшую шлягером.

— Отсюда и пошла «рыба»! — заключил мой консультант. — Твои дети будут довольны, такие песенки им нравятся!

— Спасибо! — обрадовался я.

— Пожалуйста. Как у тебя с журналом?  
— Тянут...  
— Гнусные обольстители! — сказал он, и мы попрощались.

Потом я выключил телевизор, улегся и, засыпая, думал о том, что все женщины делятся на тех, кто усугубляет, и тех, кто облегчает мужское одиночество. По некоторым внешним признакам, Елена Павловна относится ко второй, совершенно реликтовой группе. Эти мысли обещали вылиться в глубокий философский сон, но вдруг зазвонил телефон.

— Знаете, Андрей Михайлович, — после многослойных извинений попросил председатель Совета ветеранов. — Вы все-таки сошлитесь на меня. Чаругин хоть и не наш, а все же мы на одном направлении воевали...

## 7

Я написал на доске слова «Работа над ошибками» и по хихиканью понял, что вышло неудачно. Вот так всегда: пока скребешь мелом, кажется, все в порядке, но потом отойдешь, чтобы полюбоваться, и видишь — буквы разнокалиберные, а строчки прыгают... Нужно будет попросить Елену Павловну — пусть подучит меня в порядке обмена опытом!

Отряхнув руки, я еще раз повторил правила работы над ошибками: нужно выписать в тетрадь зловещее слово или предложение, карандашом обозначить орфограмму или пунктограмму и привести примеры. И, разумеется, в другой раз в подобных случаях не ошибаться — все очень просто!

— Короткова! — окликнул я, и Рита, прервав конфликт с задней партой, устала встать к учителю. — Как проверить безударный «и» в слове «извините»?

— А я что написала? — удивилась девочка.

— Ты написала — «извените».

— Ударением?

— Ты меня спрашиваешь?

— Ударением.

— Пример!

— Невинность, — подумав, ответила Короткова.

Представляю, что началось бы сейчас в десятом классе. Бабкин наверняка бы сообщил, что последнюю девушку в двадцать седьмом году задавил трамвай... Но для большинства шестиклассников невинность и невинность пока одно и то же.

— Хорошо! — похвалил я. — Десять минут. Время пошло!

Класс упорно работал над ошибками. Иногда кто-нибудь, подняв голову, начинал в поисках однокоренного слова оглядывать потолок, но я, точно актер немого кино, делал страшные глаза, и ребенок торопливо склонялся над тетрадью.

Я подошел к окну: внизу, за школьным двором, трещали бульдозеры, разравнивая пустырь, где еще недавно стоял облупившийся особнячок, не представлявший никакого исторического интереса. За эту освободившуюся территорию вот уже полгода бьется Стась, он мечтает раздвинуть тесную спортивную площадку, но на то же самое жизненное пространство претендует соседняя картонажная фабрика, чтобы расширить свои складские помещения. Исполком отмалчивается: мол, пусть победит сильнейший. Успокаивает нас одно: сын картонажного директора учится в нашей школе.

На краю перепаханной ничейной земли залегли мальчишки, вооруженные игрушечными автоматами; бульдозеры для них — фашистские «тигры». «Бронебойщики» ждут, когда танки подползут поближе. А

дальше, за пустырем, там, где висит знак «Осторожно — дети!», проштрафившийся автолюбитель, молитвенно сложив руки, оправдывается перед царственным милиционером.

«А что, если б человеку, кроме основной жизни, давалась еще одна — для работы над ошибками? — мудро подумал я. — Тогда все свои просчеты и нелепицы можно обвести карандашом, подобрать однокоренные промахи и оставшееся до последнего звонка время наслаждаться переменчивым законным пейзажем. Но в том-то и штука, что, работая над одними ошибками, мы почти одновременно совершаем другие: исправляя былую глупость, тут же делаем новую... И так длится до конца, до последнего звонка, когда нужно сдавать свою единственную тетрадь...»

Мое лицо было еще повернуто к окну, но третья сигнальная система, которой обладают, наверное, только учителя и чекисты, уже предупреждала: в классе что-то произошло! Я резко обернулся и увидел на пороге Клару Ивановну. Она смотрела на меня совсем не проверяющим, а, наоборот, испуганным взглядом и комкала в руке бело-красную гвоздику.

— Андрей Михайлович, вы мне очень нужны! — сказала Опрятинна, озирая класс, но даже не пытаясь определить количество отсутствующих учеников.

Я неторопливо подошел к ней и лишь тогда разглядел: Клара Ивановна сжимала в руке не гвоздику, а испачканный кровью носовой платок.

— Идемте, идемте скорее! — попросила Опрятинна.

Я дисциплинированно двинулся за ней, на пороге задержался и внимательно поглядел на ученический коллектив, давая понять, что свято верю в его высокую сознательность, но в противном случае наказание будет ужасным...

В «курзале», откинув голову на спинку кресла, выставив острый кадык и вцепившись побелевшими пальцами в подлокотник, сидел Максим Эдуардович Лебедев. Он зажимал разбитый нос проштампованным вафельным полотенцем. Галстук, завязанный модным маленьким узелком, был распущен, на сорочке расплылись густые пятна крови: алые, свежие, — в середине, и бурые, подсыхающие, — по краям. Максим, страдая, скосил на меня глаза и зажмурился, чтобы удержать слезы.

Пока я соображал, как бы поделкатнее спросить о случившемся, Клара Ивановна сама начала рассказывать:

— Его Кирибеев ударил... На уроке... Дожили!

В учительскую влетел запыхавшийся Стась, а за ним следом печальный завхоз Шишлов с большой банкой масляной краски. Несколько мгновений директор молчал, потрясенный увиденным, и было слышно, как шмыгает носом Лебедев, проверяя, идет ли еще кровь.

— Ктс? — вымолвил наконец Фоменко.

— Кирибеев... Дожили! — повторила Опрятинна.

— Где этот гад? — тяжело задыхал Стась.

— Ушел! — доложила завуч. — Надо звонить в милицию!

— В какую милицию? — предынфарктно искрился наш руководитель. — В какую милицию?! — Потом он несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее добавил: — Никаких милиций! Сами разберемся... Усвоили? Шишлов! Да оставь ты банку! Пока никто не видит, отведи его ко мне в кабинет — пусть очухается! Скорее!..

Шишлов одной рукой прижал банку, точно кивер, к животу, по-военному кивнул и помог Максиму подняться. Как два гренадера, они добрались до двери,

но тут Лебедев, почувствовав нелепость ситуации, оттолкнул завхоза и самостоятельно вышел из «курзала».

— Клара Ивановна! — проводив их взглядом, продолжал Стась, все более воодушевляясь. — Девятый класс на перемену не выпускать! Будем разбираться. Идите!

Опрятная, явно задетая отрывистыми командами директора, обиженно вышла из кабинета.

— Чей у них следующий урок? — деловито осведомился Фоменко.

— Мой.

— Хорошо. А сейчас двигай в кабинет, у тебя дети полкласса разнесли! Чтоб ты знал!..

Уходя, я слышал, как, оставшись один, Стась хвятил кулаком по креслу и сложносочиненно выругался, жалуясь на свою директорскую долю.

За время моего отсутствия ничего страшного в шестом классе не произошло, а просто два балбеса бились на вениках, остальные шумно болели за исход поединка, и пол был усеян желтыми обломками...

Сразу же после звонка вместе с кипой конфискованных дневников я помчался в девятый класс — там шло следствие. Стась стоял у доски, скрестив руки, как капитан Немо, и ждал ответа на заданный вопрос — о местонахождении Кирибеева, — но девятый класс хранил свою тайну. Клара Ивановна сидела за столом и рассеянно листала журнал.

— Ладно, я сам выясню! — пообещал директор. — А Кирибееву передайте, чтобы пришел ко мне. Чем быстрее — тем лучше. Для него. Усвоили?

Потом Стась дипломатично спросил у меня, как успеваю по литературе Борин, получил неопределенный ответ и увел его выгружать нозю мебель. В коридоре директора ждал печальный Шишлов, держащий теперь, кроме банки, еще и кисть, похожую на выросший до неприличных размеров помазок.

— Дожили! — повторил я вслед за Кларой Ивановной, наверное, потому, что, выходя из класса вместе с Фоменко, она кивнула на незаполненный журнал и укоризненно покачала головой.

— Он не виноват! — страстно объяснила Нина Обиход, когда посторонние удалились.

— Кто не виноват? — уточнил я.

— Оба... не виноваты... неуверенно добавила она.

— Не понял?!

— Там, где любовь, — там всегда проливается кровь! — радостно встрял долго сдерживавшийся Бабкин, и тут же в голову ему ударила прицельно пущенная косметичка Челышевой.

— Абзац котенку! — простонал он и, проверив целостность черепа, полез под стол собирать рассыпавшиеся ножнички, щипчики, флакончики, пилочки, футлярчики с помадой...

Я строго и удивленно посмотрел на Челышеву, но она даже не отвела взгляд, а только поправила волосы и пообещала окончательно «уделать» Бабкина на перемене.

— Оставить! — приказал я. — Записывайте новую тему...

— Ну и что они говорят? — привязалась ко мне Евдокия Матвеевна, когда после урока я вошел в учительскую.

— Ничего... Я не стал из-за этого урок срывать.

— И очень даже напрасно, Андрей Михайлович, —

многозначительно поиграл мускулатурой под красным адидасовским костюмом учитель физкультуры Чугунков. — Раскалывать нужно, пока горяченькие. Это называется «экстренным потрошением».

— Фу, какой кровожадный! — передернула плечами Елена Павловна.

— Ну и ждите, когда вас начнут потрошить. В одной спецшколе два года назад учителя ядром в голову толкнули. Тоже потом говорили — нечаянно! — настаивал Чугунков.

— А что все-таки произошло? — спросил, входя в учительскую, Борис Евсеевич. — Терроризм в советской школе?

И тут все, находившиеся в комнате, одновременно стали излагать каждый свою версию. Картина складывалась такая. У Кирибеева и любвеобильной Челышевой неожиданно наладились отношения, и они целый урок «внаглую», как сказала Гирина, перебрасывались записочками. Взыгренный Лебедев наконец не выдержал и попытался очередное нежное послание у Кирибеева отнять. Некоторое время они, не разбирая выражений, препирались, а потом, потеряв лицо, Максим Эдуардович схватил ученика за руку, где таилась записка, и даже попытался заломить за спину. Кирибеев, закаленный в уличных потасовках, попробовал резким движением освободиться и — случайно ли, нарочно ли — засветил учителю в нос. Лебедев, закрыв окровавленное лицо руками, убежал из класса, следом за ним неторопливо покинул место преступления Кирибеев. Остальное мне было известно.

— Все-таки размазня этот ваш Максим Эдуардович, — возмущался Чугунков. — Разве можно руку заламывать, если не умеешь! И вообще воображать надо: Бабкину за длинный язык леща втянешь — он хихикает, а Кирибеева я никогда не трону, наоборот, он у меня за старшего!

— Виталий Сергеевич! — насмешливо заметила Казаковцева. — Вы же спортсмен!

— Против лома, Елена Павловна, нет приема! — твердо и серьезно объяснил Чугунков. — Взрослых мужиков приводите, я вам троих за минуту положу, в корсетах ходить будут! А спляски, как волчата, — не отобьешься. Стамеску в печень и — летите, голуби!

— Что точно, то правильно! — подтвердила Евдокия Матвеевна с той безысходностью, какая охватывает нашего зрителя после фильмов о преступлениях итальянской мафии.

— Когда я училась в школе, — Алла от волнения закурила прямо в учительской, — такое в кошмарном сне не могло привидеться!

— Даже когда я училась, такого не было! — простодушно и неудачно поддержала Елена Павловна.

— А когда я училась, — вдруг заговорил Борис Евсеевич, и повеяло седой древностью, — такого тоже, кажется, не было, но вот в 1864 году в первой киевской гимназии учитель французского языка ударил ученика Можайского, за что его посадили в карцер...

— Кого посадили-то? — уточнила Гирина.

— Ученика Можайского, а товарищи пытались его освободить. Начались беспорядки...

— А теперь бы посадили учителя! — неизвестно чему обрадовался Чугунков.

— А Макаренко в педагогических целях ударил своего воспитанника! — звонко и убежденно сообщила Валя Рафф. Она только в прошлом году окончила нашу школу и долго собиралась с духом, прежде чем осмелилась вмешаться в спор взрослых.

— Макаренко, Валеньке, в колонии работал, а у нас пока, судя по вывеске, общеобразовательная

средняя школа,—терпеливо растолковал Котик.— Кроме того, не Лебедев ударил, а ему самому нос расквасили.

— Я не знала, мне в буфете по-другому рассказывали,— смутилась Валя.— А что же теперь будет?

— Будут думать, когда директора назначают!— многообещающе заметила Полина Викторовна, отрываясь от телефонной книжки.

— Ну, это вы преувеличиваете! — голосом старого царедворца возразил Борис Евсеевич.

— Сначала всегда говорят, что преувеличиваем, а потом обязательно оказывается — преуменьшали! — не согласилась Маневич.

— Да вы что! — плаксиво воскликнула Алла.— Всем кости перемыли, а про Максима никто даже не вспомнил! Что с ним теперь будет? Как он завтра в школу придет? Какой авторитет...

— Какой авторитет, Аллочка? — перебил ее Котик.— После таких случаев профессию нужно менять!

— А куда же он пойдет? — оторопела Валя Рафф, пока еще не представляющая жизнь без педагогики.

— Устроится,— успокоила Полина Викторовна.— Везде написано «требуется», поэтому с людей требовать не умеют!

— Да если с вас начать требовать!.. — вспыхнула Умечкая.

— Ну и что будет? — вступилась за подругу Евдокия Матвеевна, и в воздухе запахло скандалом.

Алла отвернулась, всхлипнула, ткнула окурком в подоконник, схватила журнал и выскочила из учительской.

— Всегда накурит, насвинячит! — тяжело глянула вдогонку Гиря.— Мне на нее уборщица каждый день жалуется!

— Совершенно обнаглели! — с порога поддержал спор почасовик Игорь Васильевич.— Преподаватели курят в учительской, дети — в раздевалке... Я Кирибееву вчера замечание сделал, а он мне чуть дым в лицо не пустил! Товарищи, а что вы на меня так смотрите?..

Игорь Васильевич разбирается в делах нашей школы так же, как в политической жизни неведомого островного государства, давно забытого богом и международными средствами массовой информации.

## 8

Не знаю, как у других, а у меня есть одно странное свойство: идешь, допустим, в какое-нибудь незнакомое место и непременно надеешься встретить там, «среди шумного бала», не обыкновенную, потрясающую устои жизни женщину. Конечно, ничего такого не случается, но в следующий раз обязательно томишься теми же самыми ожиданиями.

Три месяца назад, впервые придя в нашу школу, я сразу увидел Елену Павловну, она стояла около лестницы и спокойно ожидала, когда ученик завершит свое головокружительное скольжение по перилам. Но догадливый ребенок понял, что едет прямо в строгие объятия преподавательницы, и резко затормозил на середине, уцепившись руками за металлические узоры ограждения; он был похож на повисшего в ветвях ленивца...

Я подошел и поинтересовался, где находится кабинет директора. Елена Павловна с мимолетным интересом глянула на меня и, приняв за вызванного на ковер родителя, доброжелательно объяснила. А

сама, должно быть, подумала: чей же это папаша до сих пор не знает дорогу к школьному начальству? А ведь, черт побери, женись я, как многие мои однокурсники, лет в двадцать, и мой ребенок ходил бы сейчас в третий класс!.. И рос бы скорее всего в неполной или перестроенной семье. Но мы снова отвлеклись.

Тогда, три месяца назад, я быстро нашел любовно отделанный шефами кабинет Стася, отдал ему документы и сел заполнять бумаги, необходимые для устройства на работу, хотя настроение было такое эглическое, что впору рисовать на листке по учету кадров профиль этой молоденькой учительницы со шрамом-«пирке» на щеке! Объясняю: она удивительно напоминала одну мою прежнюю, очень хорошую знакомую. Между прочим, у меня есть такая теория: всю жизнь мы долюбываем свою первую любовь. Честное благородное слово, все женщины, к которым я испытывал серьезные чувства, были похожи на сероглазую кокетливую девочку Сашу. Целых два года она доверяла мне свой портфель, и до сих пор ладонь помнит его обмотанную гладкой липнувшей изоляцией ручку. Кажется, сейчас такие формы уходаживания в средней школе не приняты, а тогда я был дважды бит соперниками, проводил долгие вечера под милым окном, спрятавшись в зарослях старомосковской сирени, и чуть не заработал искривление позвоночника, постоянно оглядываясь на Сашу во время уроков. Одним словом, это была обыкновенная школьная любовь, невинный пустяк, детское томление, но вот штука — сладость и горечь от нее до сих пор блуждают по моему повзрослевшему и кое-что испытывшему телу! Но я снова отвлекся...

Звонок мобилизовал учителей на шестой урок и оборвал споры о поединке Лебедева и Кирибеевича (шутка Котика).

— Порядка нет! Твердой руки нет! — прогвоздила, уходя последней, Гиря.

Как сказал бы ведущий радиотеатра: «Сцена опустела, в комнате остались только задумчивая Елена Павловна и взволнованный Петрушов. Казаковцева рассеянно выглядывает в окно, а Андрей Михайлович нервно листает журнал, но заговорить никак не решается...»

Все-таки я не мастер первого броска!

— Вам жалко Лебедева? — неожиданно спросила Елена Павловна.

— Жалко!

— А вы представляете себя на его месте?

— Нет... Нет, не могу! — Мне стало не по себе от такого вопроса.

— Максим Эдуардович сделал непростительную ошибку! Я никогда не отбираю записки у ребят. Мало ли что там!..

— Думаю, ничего особенного. «На том же месте, в тот же час...»

— Напрасно, Андрей Михайлович, вы так думаете! А если вы серьезно решили освоить смежные специальности — я имею в виду педагогику, — то учителе: современная дезушка нередко расстается с невинностью гораздо раньше, чем со школьной формой, у некоторых старшеклассниц личный опыт, по крайней мере в количественном отношении, побогаче, чем у многих преподавательниц. И поверьте, ученицы обсуждают между собой не только цвет ваших глаз, рост и покрой костюма...

— Ну, вы скажете! — оторопел я, потому что во мне, как в каждом мужчине, под наносным слоем цинизма таился базальт целомудрия.





— Уверю вас! Я недавно вызвала Чельшеву на откровенный разговор, хотела объяснить, что нехорошо кружить голову сразу несколькими мальчиками... Так и сказала, идиотка: «Кружить голову». А Вика посмотрела на меня большими чистыми глазами и выдала: «У каждого свои вкусы: вам нравятся индивидуальный секс, а мне — групповой... Ну и что?»

— Так и сказала?

— Так и сказала, но только не возмущаться нужно, а думать. У нас этику и психологию семейной жизни ведет Гирина. Она недавно мне жаловалась: написала на доске новую тему «Что такое готовность к браку?», а девятый класс заявил, что «всегда готов!» — и сорвал занятия.

— Смешно!

— Грустно, Андрей Михайлович! О семье должен рассказывать человек, знающий, что такое супружеское счастье!

— Ну, тогда с кадрами всегда будет сложно.

— Не смейтесь! Вы думаете, почему в учительской постоянный базар? Потому что собрались одни одинокие бабы. Считайте! — Елена Павловна начала загибать длинные пальцы. — Гиря своего мужа при всех «чулидой» называет, держит ради ребенка. Раз! Маневич двух мужей салонной жизнью замучила — убежали! Два! Клара Ивановна замужем не была и, по-моему, не знает, что это такое. Три! Алла развелась, а теперь мечется... Сами знаете! Четыре! Учительницы младших классов, как покурить соберемся, стонут: «Где познакомиться с мужиком? На группе продленного дня, что ли!» Одна познакомилась — влюбилась в папашу своего ученика... Продолжать или хватит?

— Хватит. Но получается, что Гиря — не самый плохой вариант?!

— Выходит, так...

— А вы?

— Что я? А-а... Ну, со мной сложней: у меня уже была попытка к семейному счастью...

— Не понял... Хотя лучше не объясняйте.

— Ну, почему же, все равно вы у нас человек временный. Мне даже интересно знать ваше мнение. Вы поверите, что с близким человеком можно расстаться из-за внепрограммной экскурсии?

— Не поверю.

— Вот видите... А тем не менее. Представьте, что вы надумали жениться...

— Попытаюсь...

— Попытайтесь! Подали заявку, отстояли очередь за австрийским платьем, купили кольца со скидкой. И вот когда нужно ехать в Ленинград представляться родителям жениха, невеста заявляет, что должна на каникулы везти правофланговый отряд по местам боевой и трудовой славы. Вы говорите: «Очнись, девочка!» — а она: «Я ребятам обещала!» Вы говорите: «У тебя с головкой все в порядке?» — а она: «Я ребятам целый год обещала!» Вы говорите: «Или я, или правофланговый отряд!» — а она, идиотка: «Поедем потом. Я ребятам обещала!» И тогда вы отвечаете: «Ну что ж, школа — это тоже семья, правда, очень уж большая...»

— Я бы так не ответил!

— Вы уверены?

— Почти...

— Спасибо, что не соврали! Вы умеете слушать, а учителя так привыкли говорить, что не понимают даже самих себя. Кстати, выслушайте и Аллу, ей есть что сказать вам...

Елена Павловна опустила глаза на кулон, подошла к окну и выглянула на улицу.

— Дети ждут? — поинтересовался я.

— Опаздывают... — отозвалась она и перекинула через плечо сумочку на длинной цепочке.

— Надеюсь, в этом году вы детям ничего не обещали?

— Обещала поехать в летний трудовой лагерь в паре с Чугунковым. Вот такой печальный факт! — весело ответила Казаковцева и вышла из учительской.

Меня всегда потрясало одно удивительное обстоятельство: как это я, оставаясь самим собой, умудряюсь одних поражать мудростью и галльским остроумием; в разговоре с другими мямлить и демонстрировать редкостное скудоумие; а с третьими — как это было сейчас — щебетать такую чепуху, словно мой речевой аппарат не имеет никакой связи с мозгом, а замкнут на какую-нибудь икроножную или даже ягодичную мышцу?..

Через минуту после ухода Елены Павловны в комнату вбежал взволнованный завхоз Шишлов и позвал меня к директору. При этом он так радостно твердил, что искал меня по всей школе, точно обнаружил в конце концов не в учительской, а по крайней мере на чердаке.

В распахнутое окно, выходившее из директорского кабинета прямо на ничейную землю, ломилось рычание моторов. Если вслушаться, казалось, два трактора шумно обсуждают свои производственные вопросы. Фоменко раздраженно хлопнул рамой, и землеройные устройства перешли на злобный шепот.

— Сумасшедший дом! — определил место своей работы Стась. — Но участок я у них все-таки втрыву! Жалко, директорский пацан хорошо учится! Как он у тебя?

— Нормально.

— Да-а, если бы дети всех начальников были балбесами, школа процветала! Директор школы, чтобы знал, это Остап Бендер: не извернешься, ничего не будет — ремонта, мебели, наглядных пособий... Ничего! Правда, и разница есть: за Остапом Ибрагимовичем государство не стояло, а за мной стоит и дышит в затылок...

Тут Фоменко сильно потер затылок ладонью, то ли иллюстрируя сказанное, то ли борясь с давлением.

— Не жизнь, а какая-то игра в «наоборот». Воспитание трудом! Звучит? Вот ученички на прядильной фабрике и распутывают вручную бракованные нитки. Чему они научатся? Ничему. Только на собственной шкуре почувствуют, сколько их мамочки дерьма гонят! Вчера на вычислительном центре были. Ребята после экскурсии спрашивают: «Станислав Юрьевич, когда у нас в школе компьютеры будут?» Будут, говорю, дайте только срок! А на самом деле: у роно таких денег и не водится, шефы мнутя, а мы с Котиком изгибаемся, на пальцах учим: «Представьте, дети, что перед вами ЭВМ: этот экран, похожий на телевизор, называется дисплеем и является как бы окном в машину, а это — сердце компьютера — центральный процессор и оперативная память, а вот эти кнопки...» Я хочу настоящий кабинет информатики пробить!

— Пробьешь!

— Лоб себе скорее пробьешь! Осточертели все эти чиновники! Они с тобой в кулуарах даже порядки могут поругать, а придется к ним вопрос решать, так у них в органчике, извиняюсь, в магнитофончике, любимая кассета стоит: «Подождем... Изучим ситуацию... Не торопитесь...» Слава богу, завтра у нас — нормальный мужик. Шумилин — не слышал? Недавно из комсомола пришел... Все, что могу сказать!

Фоменко встал из-за стола, подошел к большому обшарпанному металлическому сейфу, достал оттуда бутылку боржоми, с помощью обручального кольца поддел пробку, но вода оказалась совершенно негазированной. И Стась разочарованно напил-ся прямо из горлышка.

— Ведь ты пойми,— продолжал он, возвращаясь к столу,— сегодняшние дети — прагматики! Хорошо ли, плохо ли, но это так! Нам с тобой еще можно было на словах объяснить, что социализм лучше капитализма, а им примеры подавай, факты из жизни! Мы им долдоним: «Сегодня отличник учебы, а завтра ударник труда!» Мы оптимисты! Можем на Запад энтузиазм качать... за валюту!.. «Отличник учебы»... А на черта им отлично учиться, если жестянщик автосервиса может кандидата наук садовником нанять?! На черта им учиться, если они в седьмом классе уже знают, что есть институты куда поступают по праву рождения, что престижная работа достанется аристократенку, будь он хоть трижды заторможенным! А раз так, зачем уважать учителя? Гораздо интереснее дать ему в торец и наблюдать, как мы тут засуетимся! Все, что могу сказать...

Мой руководитель снова двинулся к сейфу и с ненавистью допил минеральную воду.

— Как себя Макс чувствует? — перевел я разговор на ту тему, ради которой, надо думать, и пригласил меня Стась.

— А ну его к чертовой матери! Поддубный недоношенный... Где я в конце года физика искать буду?!

— Не понял.. Что, так серьезно?

— А ты как думал? Подожди, еще Расходенков подключится, тогда запоем! У них с Лебедевым дзанные счета. Да и у нас в школе анонимное творчество цветет и пахнет...

— А что Макс говорит?

— Да что он может сказать! Рыдает, как баба. Только что звонил. Я его пока на бюллетень отправил. Чтоб ты знал!

В дверь заглянула замученная вечерним институтом секретарша и сообщила, что директора спрашивает родительница.

— Запускай! — разрешил Фоменко и протянул ей исписанные листки. — А это перепечатай!

— Машинка сломалась...

— Опять? Вот электродрянь! А где списанный «Ремингтон»?

— Шишлов в норку утащил! — нябедничала она.

— Сниму со всех должностей! — обобщенно пригрозил Стась. — Запускай мамашу!

В кабинет вошла дефицитной одетая женщина. Я подумал, что если за каждой частью ее гардероба постоять в соответствующей очереди, провести у магазинов пришлось бы около года. От нее так и веяло покорностью, какую умеют на себя напустить только очень сварливые женщины. Преобразившийся Стась поднялся ей навстречу, изысканно поприветствовал, усадил и стал интересоваться, как дела на работе, дома, как обустраивается новая квартира — он даже это знал.

— Ох, Станислав Юрьевич, — с тяжелой обидой на судьбу проговорила мамаша, — всю жизнь теперь за мебель расплачиваться буду. Дешевле еще одну дачу построить!

— Ничего, ничего, — успокоил ее Фоменко и глянул на меня. — Вы женщина трудолюбивая. Все там же работаете?

— А где ж еще, на базе... Если что-нибудь...

— Спасибо... У меня все есть. Но одна просьба к вам у нас все-таки будет. Трудно нашему Сереже учиться, не получается... Мы тут на педсовете обсу-

дили, специалисту его показывали... Давайте-ка с будущего года определим Сережу в спецшколу...

— В дефективную! — возвысила голос мамаша, и я почти увидел, как новенькая, импортной выделки овецья шкурка упала к ее монументальным ногам. — Никогда! Если ваши учителя работать не умеют — мой ребенок не виноват!

— Но ведь другие дети нормально успевают, — увещевал Стась. — А Сережа до сих пор по слогам читает, чтоб вы знали! Вы поймите, мы добра хотим: мальчик он послушный, скромный...

— Никогда! — пропустив мимо ушей тонко нацеленные похвалы, ответила родительница. — У меня оба брата в этой школе учились, и ничего хорошего не получилось... Мой ребенок будет учиться в нормальной школе, мы свои права знаем!..

— Они знают! — снова вскипел Стась, когда мамаша победно вышла из кабинета. — Сначала детей в пьяном угаре штампуют, а потом права качают! Она ведь и школу бесплатным приложением к своей семейке считает! Вот если бы с нее за обучение драли втридорога, а сыночек полным портфелем двойки домой таскал — тогда в голове не мебель была, тогда бы она со мной по-другому разговаривала!.. Школа! — Фоменко сорвал трубку зазвонившего телефона и тут же добавил совершенно подчиненным голосом: — Слушаю вас, Николай Петрович! Да... Конечно... Усвоил! Как раз с классным руководителем разбираюсь. Нет-нет, совсем не так было! Да... Конечно... В три часа собираю педагогический консилиум!..

Положив трубку, Стась покачал головой, потом криво усмехнулся и с горьким удовлетворением сообщил:

— Уроки еще не кончились, а в роно уже знают. Шумилину позвонил какой-то родитель и нижайше донес, что в 973-й учителя избивают учеников. Приятно чувствовать надежное плечо родительской общественности. Все, что могу сказать! Понял теперь, куда тебя студенческий друг втравил? Что, испугался?

— Не очень...

— Молодец! — уверенно, по-директорски продолжал Стась. — Завтра, в крайнем случае послезавтра проведешь собрание ученического коллектива и осудишь. Кто у тебя комсорг — Ивченко?

— Ивченко...

— Подготовь с ним глубокую обвинительную речугу: мол, государство тратит на них народные деньги, а они свинячат и так далее. После консилиума поедешь домой к Кирибееву. Если его застанешь, тащи в школу, не застанешь — поговори с матерью. Отец у него в ЛТП отдыхает. Усвоил?

— Усвоил, — отозвался я. Честно говоря, мне был неприятен этот руководящий тон, потому что в конце концов в школу я не рвался и пришел, чтобы выручить Стася, работать временно и выслушивать отрывистые команды своего приятеля не обязан...

Верхним чутьем одаренного администратора Фоменко мгновенно уловил мои обиды и около двери остановил меня участливым вопросом:

— Слушай, Андрюша, а как у тебя дела с журналом?

— Обещают.

— Ты уж меня сейчас не бросай! Схарчат твоего друга, с потрохами схарчат! Я тебя прошу! — добавил он абсолютно пряничным голосом.

— Ну, о чем ты говоришь! — воскликнул я, борясь с набегавшей слезой.

Вот такой у меня характер: скажи доброе слово и всей веревки.

...Педагогический консилиум был назначен на 15.00, а в половине третьего привезли зарплату. Получение честно заработанных денег — одно из главных жизненных удовольствий, но обставать это торжественное мероприятие мы пока не научились. Мало того, по моим наблюдениям, кассиры выдают деньги с тайной ненавистью, словно платят из собственного кармана. Наверное, их профессия — самая вредная.

Потом мы собрались в кабинете директора и терпеливо ждали, пока Стась договорится о встрече со своими кредиторами — он изнурительно выплачивал долги за стереосистему. Внеклассный организатор Евдокия Матвеевна ерзала на стуле, заглядывала в сумочку и мысленно распределяла семейный бюджет. Председатель месткома Борис Евсеевич рассеянно похлопывал себя по боковому карману. Секретарь партийного бюро Клара Ивановна презрительно поглядывала на наши финансово озабоченные лица, но сама наверняка прикидывала, сколько можно потратить в «Академкниге», а сколько оставить на неприхотливую бессемейную жизнь. Я почему-то страшно переживал, что вопреки унизительным просьбам получил жалование засаленными трешками и рублями. И только шеф-координатор, он же комсорг, Леша Ивченко смотрел на нас ясными глазами, не замутненными мелочными подсчетами.

Наконец Станислав Юрьевич положил трубку, преобразился и возвестил:

— Товарищи, все вы знаете о безобразном случае, который произошел сегодня в девятом классе. Лебедева я защищать не собираюсь: он взрослый человек, учитель и обязан держать себя в руках...

— А не распускать руки-то! — вставила Гирина. — Попрошу не перебивать, — нахмурился Фоменко. — В настоящее время, чтоб вы знали, Максим Эдуардович взял бюллетень. Когда выздоровеет, мы с ним разберемся самым серьезным образом.

— Что с ним случилось? — холодно осведомилась Клара Ивановна.

— Адреналиновый кризис, — не моргнув глазом, ответил Стась. — Но меня сейчас больше волнует состояние учебно-воспитательной работы в девятом классе. Вы помните, что в начале года в него влилось много детей из других школ; ученического коллектива как такового не было. Ушедшая от нас в декрет Зинаида Геннадиевна последнее время больше думала о своем собственном потомстве, нежели о подрастающем поколении в целом...

— Она о нем всегда мало думала! — сообщила Гирина.

— Попрошу без комментариев! — одернул Стась, покосившись на Ивченко. — Так вот... Во втором полугодии мы оказались в сложном положении и попросили Андрея Михайловича нас выручить...

— Простите, «мы» — это кто? — спокойно спросила Опрятина.

— Мы — это я! — твердо ответил Фоменко и продолжал: — Понятно, за три месяца Петрушов не мог исправить положение, а мы с вами, педагогический коллектив, партийная и комсомольская организации, должной поддержки ему не оказали. В результате мы имеем то, что имеем! Теперь у Кирибеева: парень он сложный, семья воспитания не обеспечивает, по его поводу мы несколько раз объяснялись с инспекцией по делам несовершеннолетних. Думаю, с ним нужно решать раз и навсегда. Все, что могу сказать...

Стась поправил страничку настольного календаря и сел.

— Гнать его в шею! — энергично предложила Евдокия Матвеевна. — Он весь класс мутит!

— Исключить ученика посложнее, чем снять с работы учителя! — задумчиво проговорил Котик.

— Думаю, мы сможем от него избавиться, — успокоил Стась.

— А по-моему, товарищи, — Клара Ивановна выпрямилась и обвела взглядом собравшихся, — мы с вами говорим не о том. Если бы в нашей школе учитель был поставлен на должную высоту, мы не разбирали сегодня этот чудовищный случай.

— Клара Ивановна недостаточно точно процитировала Владимира Ильича Ленина, — мягко возразил Борис Евсеевич. — А он говорил: чтобы подготовить учителя к его высокому званию, главное — поднять его материальное положение!

— Товарищ Котик, — с настораживающей любезностью ответила Опрятина. — Не нужно жонглировать обрывками великих мыслей, тем более в присутствии учеников. Цитирую специально для вас и полностью: «Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе. Это — истина, не требующая доказательств. К этому положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, настойчивой работой и над его духовным подъемом, и над его всесторонней подготовкой к его действительно высокому званию и, главное, главное и главное — над поднятием его материального положения». — Клара Ивановна перовела дух, потом подумала и добавила: — «Странички из дневника», том 33, страница 424...

— Какое издание? — совершенно серьезно уточнил Борис Евсеевич.

— Четвертое.

— Сдаюсь.

— Так вот, — резко продолжала Опрятина, — этой «систематической, неуклонной, настойчивой работы» у нас в школе нет!

— Я же сказал, Лебедева мы строго накажем! — раздраженно объяснил Стась.

— Избавиться от одного, взыскать с другого — это еще не решение вопроса! — не согласилась Клара Ивановна.

— Усвоил! — примирительно ответил Фоменко. — Теперь послушаем товарища Ивченко.

Шеф-координатор, беспокойно следивший за спором учителей, вздрогнул.

— Мы в классе посоветовались... — запинаясь, начал он. — Кирибеев не хотел... Он хотел только вырвать руку. Мы перевоспитаем...

— Сначала сами воспитывайтесь-то! — крикнула Гирина.

Ивченко окончательно растерялся, поглядел на меня и сел.

— А сейчас послушаем классного руководителя, — словно усталый конферансье, объявил Стась и грустно кивнул в мою сторону.

Я встал, промямлил что-то о роковых жизненных ситуациях, а потом стал делать недопустимое — оправдываться... Потом снова спорили, Стась закурил, открыли окно — и шум словоперений смешался с треском бульдозеров. Как и следовало ожидать, наш коллективный разум к конкретному выводу не пришел. Фоменко пообещал посоветоваться в роно, а Клара Ивановна усмехнулась и переложила кружевной платочек в другой рукав.

— К Кирибееву? — спросил меня Борис Евсеевич, когда мы выходили из кабинета. — На обратном пути загляните ко мне домой. Обсудим!

Он достал виртуозно сделанный из обыкновенного тетрадного листка пистолетик и написал на нем адрес.

— Откуда это у вас? — полюбопытствовал я.

— Пятый класс мастерит. Умельцы...

**К**вартира Кирибеевых выглядела именно так, как и положено выглядеть жилью человека серьезно и давно пьющего. В маленькой прихожей на круглых, сшитых из разноцветных лоскутков половиках валялась стоптанная, чиненая обувь, и только пара белых лицензионных кроссовок выделялась, точно богатые европейцы, затесавшиеся в негритянское гетто. На кухне вибрировал старый, круглободый, весь в черных пятнах отлетевшей эмали холодильник. В одной комнате стояла чуть отодвинутая от стены полутораспальная кровать, а рядом — самодельный двухламповый торшер со столиком в форме палитры. Стулья подобрались разномастные, а в серванте скопились разнокалиберные чашки, стаканы и даже две обыкновенные кружки — большая и маленькая. И только огромный куб цветного телевизора намекал на те времена, когда хозяин ненадолго завязывал с пьянкой.

На двери, ведущей во вторую комнату, висела цветная фотография, изображающая леденящий момент: лоснящийся от пота боксер-профессионал сносит челюсть сопернику. В дверь был врезан английский замок. Мать Кирибеева, худая женщина с длинным, покрасневшим, как от насморка, носом, сняла со стула разбитый, обмотанный скотчем телефон и предложила мне сесть.

— Екатерина Николаевна, когда придет Виктор? — спросил я, радуясь, что догадался поглядеть в журнале имя-отчество Кирибеевой.

— Они с отцом у нас не докладываются, — почти с ненавистью ответила она.

— А Виктор не рассказывал вам, что сегодня произошло в школе?

— И не расскажет. Слава богу, есть добрые люди — позвонили... Мало вам, что мальчик под тумачками вырос, теперь его еще и в школе мордовать будут!

— Екатерина Николаевна, вас ввели в заблуждение! Собственно, не вашего сына учитель ударил, а наоборот, Виктор ударил преподавателя физики Лебедева...

— И правильно! Нечего руки распускать... Какой же он учитель, если на ребенка замахивается?! Я на съезд напишу!

— Не волнуйтесь: Лебедева и без ваших писем покажут. А вот за судьбу Виктора я беспокоюсь: он ведь мальчик-то в принципе добрый да и учиться мог бы неплохо...

Женщина посмотрела на меня недоверчиво-удивленным взглядом, всхлинула и сквозь слезы сказала:

— Витя вас тоже хвалит, когда с Викой по телефону говорит... А так ведь от него слова не услышишь, ничего родной матери не скажет...

— Отца он тоже не слушает?

— Может, и слушался, если бы тот языком ворочал. Одна надежда была на школу, поэтому и в девятый класс его уговаривала пойти. А вы с ним справиться не можете... Что же теперь за учителя такие? Я вот как нашего Александра Тихоновича вспомню, мурашки бегали: огрызнуться боялись! Вся деревня к нему советоваться ходила...

— Давайте мы с вами так договоримся, — осторожно перебил я. — Виктору скажите, чтобы в школу пришел: самое скверное, если он в конце года занятия станет пропускать. Писать никому не надо, зла вашему сыну никто не желает. Я постараюсь сделать все от меня зависящее. Договорились?

— Ага, договорились! — подтвердила Кирибеева, вытирая слезы.

— А скажите, Екатерина Николаевна, кроме Вики, друзья у Виктора есть?

— Из школы ему только Гена Расходенков звонит, очень хороший мальчик, и родители у него замечательные. А сюда никто не ходит: отец всех гоняет...

— А еще есть друзья или просто знакомые?

— Есть. Тут во дворе компания, их у нас «бандой четырех» называют! Ждем не дождемся, когда этих жеребцов посадят! Они-то Витю и пить, и безобразничать научили! — закончила она с такой злостью, словно в доме Кирибеевых спиртного не водилось веками.

— Значит, Екатерина Николаевна, — подытожил я, прощаясь, — писать никому не нужно. Я сделаю все, что от меня зависит!

«Теперь остается выяснить, что, собственно, от меня зависит», — рассуждал я, спускаясь по лестнице.

Во дворе, точнее, не во дворе, а в полосе отчуждения, расположенной между тремя серыми жилыми башнями, я заметил нескольких подростков. Издали один парень был похож на Кирибеева, он кивнул в мою сторону, что-то сказал, и пацаны громко, выламываясь друг перед другом, заржали. Потом они лениво снялись со скамеек, опоясывающих добротный доминошный стол, и двинулись к одному из подъездов.

Наверное, я смалодушничал, но решил-таки не раздражать кинематографическим педагогом и не пошел на решительный воспитующий контакт с трудными подростками: не стал догонять, отбирать гитару для того, чтобы показать, как под звуки шести струн можно петь лучшие образцы русской и советской песенной классики. Тем более что у них была не гитара, а серебристый японский магнитофон.

К Котику я заявился на полчаса раньше условленного времени и застал интересную картину: за раздвинутым, как для приема гостей, обеденным столом расположилось трое незнакомых ребят, одетых в ученическую форму. Судя по напряженным лицам и сопению, они решали конкурсные задачки.

Борис Евсеевич прикрыв дверь в комнату и подсунил мне большие суконные тапки, какие в музеях обувают поверх ботинок. Я огляделся: прихожая была загромождена книжными полками, вместительной вешалкой и плетеным ящиком для шлепанцев. На полках выстроились книги, единообразно обернутые программистскими распечатками и пронумерованные 532, 533, 534...

— Во избежание расхищения книжных фондов! Нет-нет, дети не берут, а вот дамы, — Борис Евсеевич по-холостяски улыбнулся, — все время просят что-нибудь интересенькое почитать... Пойдемте на кухню — я заварю чай!

Борис Евсеевич взял заварной чайник и со значением спросил, какие добавки я предпочитаю: мяту, чабрец, жасмин? Потом накрыл чайник специально для этого предназначенной санкой, извинился и пошел заканчивать занятия с ребятами. Было слышно, как он проверяет ответы, объясняет ошибки, журит за бестолковость, дает домашнее задание. Наконец входная дверь хлопнула, и хозяин вернулся.

— Несколько лет назад, Андрей Михайлович, — пояснил он, заглядывая в чайник, — мы с вами разве что в ванной бы поместились, столько страждущих было! А сейчас в технические вузы набор. Да и вообще нынче от репетитора не квалификации требуют, а связей. Худо это, очень худо!

— А ребята откуда? — спросил я.

— Отовсюду. Я ведь тридцать четыре года в школе, у абитуриентов дети подросли. Внуков, правда, пока еще не было. Я, знаете, ничего, кроме знаний, не обещаю. И взаимным опылением не занимаюсь!



— Не понял.

И тогда Котик, разливая коричневый чай в пиалы, начал объяснять: есть, оказывается, и такой способ, очень простой и надежный. Допустим, вы учитель математики и у вас имеется в классе непроходимый двоечник. Прибегают родители и умоляют: «Познавайтесь с ним, ради бога, нам для своего ребенка ничего не жалко!» Тогда вы возмущаетесь: мол, странное предложение, мол, жестоко карается! Родители ломают руки, а вы, разумеется, из сострадания начинаете вслух размышлять: «Вообще-то есть у меня один знакомый преподаватель, на курсах повышения квалификации познакомился. Но не знаю, согласится ли...» Папа-мама умоляют, вы ничего не обещаете, а потом звоните напарнику и говорите: «Старик, тут у меня для тебя один балбес нарисовался!» А тот радостно отвечает, что у него для вас такой же подарочек имеется. Через месяц-другой оба балбеса начинают приносить отметки по-лучше, но, конечно, не настолько, чтобы отказаться от услуг репетитора, а родители млеют от счастья и надрылаются, зарабатывая ребенку деньги на дорогу в страну знаний. Вот это и называется взаимным опылением.

— Но в репетиторстве как таковом, — твердо закончил Котик, — ничего зазорного не вижу. Кстати, вам, словеснику, должно быть известно, что образ студента-репетитора один из самых распространенных в русской литературе. Даже Ленин занимался репетиторством — правда, бесплатно!

— Но ведь по идее школа сама должна справляться с успеваемостью!

— О чем вы говорите! По идее картошку мы должны покупать в магазине, а носим с рынка. Как вам, кстати, работаете? Когда от нас уйдете?

— Вы уверены, что я уйду?

— Уверен. Школа — это вредная привычка, в которой со временем находишь удовольствие, но вы втянуться попросту не успеете, хотя ученики, я слышал, о вас неплохо отзываются. Опять-таки с литературным расследованием хорошо придумали. Подсказал кто-нибудь?

— Сам дошел.

Борис Евсеевич поощрительно похлопал меня по руке.

— Послушайте, Андрей Михайлович, не заслуженного, но послужившего родному просвещению работника. Зачем вам менять престижную профессию на наше безнадежное дело? Вы же видите, на какую высоту у нас учитель поставлен, Клара ведь правильно возмущалась... Иные родители считают учителя неудачниками, не нашедшими в жизни место получше, и детям своим внушают. Когда наш Фоменко купил японскую стереосистему, в роно анонимку написали: откуда у директора школы деньги на такую аппаратуру? И правильно, простому учителю десять лет нужно котлетами питаться и отпуск на балконе проводить, чтобы позволить себе такую покупку. Мы-то с вами еще перед классом можем поактерствовать, а родители только личным примером воспитывают. Если они долдонят «не укради», а сами с работы тащат, ребенок таким же хапугой вырастет. Когда папаша нашего Кирибеева лупцует сына и приговаривает: «Я тебе, сволочь, подерусь!» — понятно, что парень вырастет скуловоротом. Мы с вами наш педагогический авторитет холим, а дома дети слышат, что учителя — злобные, невежественные, коварные существа...

— А разве таких нет?

— Вы умница! Конечно, есть. Гиря, например, в серпентарии должна работать, и то змеи разбегутся... Если вы, Андрей Михайлович, решите остаться в школе, буду только рад. Конечно, хороших лю-

дей больше, чем плохих, но почему-то именно хороших всегда не хватает, особенно в школе. Вам никто не говорил, что вы умеете слушать?

— Говорили! — засмеялся я.

— И еще хочу вас предостеречь, как человек, сам пострадавший от большого и нежного сердца. Определитесь с направлением главного удара! Буриданов осел, к вашему сведению, умер не от голода: пока он раздумывал, выбирая между двумя стогами, его попросту гнус заел. Вы меня понимаете?

— Понимаю, — отозвался я, краснея.

— Замечательно. Теперь переходим к предмету нашей встречи. С Лебедевым все ясно: он в школе работать не будет, и это я понял давно. От Кирибеева Станислав Юрьевич тоже избавится, и осуждать его за это не станем.

— Не понял. Как избавится?

— Молча. Переведет в другую школу в обмен на такого же шалопаю. В начале года мы приняли парочку экземпляров из 990-й. Теперь за ними должок — возьмут как миленькие...

— Знаете, я обещал матери Кирибеева...

— Напрасно... Сразу чувствуется, что вы произрастали в эпоху повышенных обязательств. Подумайте лучше о классе! Не дай бог, ребята вообразят Кирибеева пострадавшим — наплачетесь вы тогда с этим самым ложным товариществом. А родители! Телефонная сеть сегодня лопнет от перезвонов! Мужайтесь, Андрей Михайлович... А лучше всего не ввязывайтесь в эту историю и, если через месяц собираетесь уходить, лучше увольняйтесь сейчас. За Фоменко не бойтесь: он перспективный товарищ, отобьется. Я не очень путано объясняюсь?

— Вообще-то путано...

— Это потому, что мыслю диалектически.

Наш разговор был прерван музыкальным звонком.

— Вторая смена, — объяснил Борис Евсеевич. — Скоро вступительные экзамены, а репетитор — источник знаний...

В прихожей стояли модно «прикинутые», как выражаются мои ученики, близнецы, брат и сестра. Две пары совершенно одинаковых туповатых глаз посмотрели на меня. Даже мудрая природа иногда ошибается, дублируя откровенно неудачные экземпляры...

Домой я добирался нарочито медленно, задерживаясь у афиш, бесцельно заглядывая в магазины, присаживаясь на жесткие бульварные скамейки — в общем, не торопясь возвращаться в свое однокомнатное кооперативное одиночество. Сначала у меня возникла даже мысль позвонить кому-нибудь и пригласить, так сказать, на чашечку чая, но ведь, — рассуждал я, — нужно будет еще и разговаривать, а для этого после шести уроков, педагогического консилиума и двух внеклассных мероприятий просто не оставалось сил. И поэтому, придя домой, первым делом я на всякий случай отключил телефон:

**И кричит душа моя от боли,  
И молчит мой черный телефон...**

**10**

Первые дни работы в школе я неизменно опаздывал к началу уроков: то автобусы в моем «спальном» районе вымидали, а потом появлялись целыми табунами, то полозину проверенных тетрадей я забывал на кухне — и приходилось возвращаться домой, то, выйдя на улицу, обнаруживал, что не почистил ботинки... Иногда я просто-напросто просыпался слишком поздно, а случалось — по задумчивости проезжал мимо школы. Кстати, служа

в газете, я тоже постоянно опаздывал на планерки, но в конференц-зал всегда можно было войти с преувеличенной осторожностью, изобразить на лице полное бессилие перед судьбой и, сев рядом с товарищем, поинтересоваться шепотом: «Меня еще не ругали?»

В школе все по-другому. Стоило мне задержаться два-три раза — и в моих классах начались повальные опоздания. Целые ученические коллективы входили после давно отгремевшего звонка и озарялись беззащитной улыбкой, которую быстренько переняли у меня. Я провел с собой серьезную разъяснительную работу, купил будильник с апокалиптическим звоном и каждый вечер перед сном занимался аутотренингом: мучительно представлял, как поутру буду, задыхаясь, прыгать через ступеньки, а потом перед самой классной дверью усмирять дыхание и принимать вид человека, задержанного в пути делами государственной важности. На следующий день я просыпался и с ужасом принимал серый рассвет в окне за пасмурный полдень. Словом, через неделю я стал приходить в школу за четверть часа до занятий, успевал поболтать с коллегами и встречал опоздавших учеников так, словно впервые сталкиваюсь с таким качеством человеческой натуры, как непунктуальность.

Вот и сегодня ровно в 8.15, минуя неприбранный пришкольный скверик, я подошел к дверям, но меня не пустили.

— Открой, дурак! — плаксиво кричали столпившиеся у входа девчонки и барабанили в дверь кулачками.

— Тридцать копеек! — торговался изнутри маленький вымогатель Шибаев. Он еще не ведал, какие суммы платят люди, чтобы оказаться, например, в институте!

— Ну-ка, открой! — приказал я.

Сделалось тихо, потом донесся шум неравной борьбы, дверь распахнулась, и было видно в проеме, как побагровевший Чугунков волочит Шибаева в сторону физкультурного зала.

Я скинул плащ в тесной учительской раздевалке, которая запирается на ключ, в то время как ребята вешалки напоминают отдел самообслуживания в магазине, потом достал расческу, продул ее, безнадежно оглядел свою ширпотребовскую физиономию и стал причесываться.

Я уже собрался выходить, когда в раздевалку двинулась Евдокия Матвеевна, она тяжело вздымала грудь, а в разрезе платья виднелась бурая морщинистая кожа.

— Были у Кирибеева? — спросила она, распушая свалявшиеся волосы.

— Был...

— Вертеп?

— Я бы не сказал, но отец пьет, мать не справляется...

— У-у, лимитчики, по улице-то спокойно не пройдешь! — оборвала меня Гирина и сообщила без всякого перехода: — Буду тянуть вашего Ивченко на «пятерку», только язык у него длинный!

— Нет, по-моему, очень дельный парень! — не согласился я.

— А как у вас Расходенков-то? — поинтересовался Гирия.

— Вот он действительно ребенок с большими демагогическими способностями...

— Да, очень способный мальчик, — согласилась она и, многозначительно поглядев на меня, добавила: — Вы ему помогите!

Неловко рокировавшись с Гирей, я покинул узкую раздевалку и только тогда сообразил, что она просто-напросто предлагала мне натянуть Расходенко-

ву «четверку» в обмен на «пятерку» для Ивченко, которого все считают моим любимцем. Ничего, впрочем, удивительного: редко Евдокия Матвеевна уходит из школы без букета цветов, коробки конфет или чего-то более значительного, завернутого в толстый слой бумаги.

Около директорского кабинета стоял Стась и подобострастно прощался с молодежавым генералом.

— Кто это? — спросил я у Котика, внимательно наблюдавшего за происходящим.

— Генерал-майор Бабакин, отец малолетнего Бабакина, — задумчиво ответил Борис Евсеевич.

Вот это новость! В журнале, в разделе «Общие сведения об учащихся», значились одни мамы, хотя полагалось вписывать «фамилии, имена, отчества отца, матери или лиц, их заменяющих». Не знаю, может быть, тесные графы не вмещают всех необходимых сведений, а может быть, так делают, чтобы не обделять ребят, растущих в неполных семьях. Но отца-генерала вписать стоило! Возможно, есть школы, где отцы-генералы во время родительских субботников выносят мусор, отцы-министры подметают пол, а матери-кинозвезды моют окна, но для нашего учебного учреждения визит высшего офицера — событие!

— Нет, все-таки армия — самая здоровая часть общества! — умильно проговорил Стась, подходя к нам и потирая руку, еще хранившую тепло генеральской ладони. — Очень интеллигентный родитель, скромный. Все, что могу сказать...

— А кто его вызывал? — взревновал во мне классный руководитель.

— Никто! Сам пришел и возмущался безобразной выходкой Кирибеева. Обещал поддержку.

— Больше он ничего не обещал? — спросил я, видя, как плавится от счастья мой руководитель.

— Обещал экскурсию к танкистам! Чтoб ты знал...

— Я был уверен, что вы сговоритесь, — тихо заметил Котик. — Все-таки в одном звании...

— В каком звании? — не сообразил Стась.

— Директор гимназии, сиречь школы, по табели о рангах — штатский генерал... Так что прогибаться не обязательно...

Под дребезжащим звонком я поднялся на третий этаж и у самого кабинета литературы встретил Бабакина, он нес из учительской журнал, держа его в руке, словно поднос, и петлял, подражая официанту, лавирующему между столиков.

— Челышева бастует! — запросто объяснил он в ответ на мой удивленный взгляд.

Девятый класс был в полном сборе, за исключением Кирибеева и Расходенкова. Я освободил передние столы и усадил несколько человек за письменные ответы по пройденному материалу, а когда собрался отметить отсутствующих в журнале, заявился Расходенков, явно чем-то озабоченный.

— Можно я сяду? — попросил он.

— Зачем же такой крик делать? Давай сразу к доске! — предложил я. — Расскажи нам, как молодые герои «Вишневого сада» представляли себе будущее!

— Они думали, что вся земля — наш сад?.. — полупрошительно ответил Гена.

— Кто они? — уточнил я.

— Аня... — прислушиваясь к товарищескому шепоту, ответил испытуемый.

— И еще кто?

— Петя Трофимов... — неуверенно добавил Расходенков, демонстрируя незаурядную остроту своего слуха.

— Что они считали главным в жизни? — задал я еще один наводящий вопрос.

— Труд! — не задумываясь, сообщил Расходенков.

— Правильно. Помните, Трофимов говорит: «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосыгаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину...»

— Вот память, а! — уважительно покачал головой Бабкин.

— А еще Петя Трофимов говорит, — с места добавил Ивченко, — что у нас в России работают пока очень немногие и что большинство интеллигенции ничего не делает и к труду не способно... И еще он говорит, что мы отстали по крайней мере лет на двести, что мы только философствуем, жалуемся и пьем водку...

— Садись, — разрешил я Расходенкову.

— А что мне поставили? — вездвливо спросил он, отправляясь на место.

— Три. Трудиться ты еще не научился. А Чехов, между прочим, устами Трофимова говорит, что прошлое можно искупить только страданием, только необычайным, непрерывным трудом...

— Страданием — это точно! — горестно подтвердил Бабкин.

— Конечно, — с притворной покорностью согласился Ивченко. — Пети и Ани будут честно работать, а Лопихины вырубать вишневые сады и строить дачи.

Класс с интересом наблюдал за нашим спором и был явно на стороне шефа-координатора.

— Конкретнее можно? — попросил я, потому что отрицать всегда легче, чем предлагать.

— Можно, — отозвался Ивченко и вежливо встал. — Я не верю, когда Петя отказывается от двухсот тысяч...

— Та-ак! — Я почувствовал, что получающийся разговор намного нужнее нудных ответов на заранее известные вопросы. — Был и такой, что за ста тысячами в огонь чуть не полез. Напомните?

— «Идиот!» — подсказал Бабкин.

— Достоевского! — пояснила Челышева, с удивлением и интересом глядя на шефа-координатора.

— Неужели?! — похвалил я. — Так было всегда: одни презирают деньги, другие лезут за ними в огонь. Каждый сам выбирает себе дорогу!

— Зачем же тогда учителя получают зарплату? — спросил памятный Ивченко.

— А зарплату учителям повысили! — усугубил улыбающийся Расходенков, он передал на задний стол какой-то лист бумаги и теперь освободился для дискуссии.

— Давайте по порядку, — спокойно сказал я, чувствуя, что преждевременно порадовался творческой активности учеников. — Антон Павлович содержал большую семью, часто нуждался в деньгах, к тому же он заключил очень неудачную сделку с книгоиздателем Марксом, который попросту обобрал писателя. Речь о другом. Нельзя жить только заботами о хлебе насущном, нужно думать и о небе!

— Отчего люди не летают? — уныло спросил Бабкин.

Мы засмеялись. Меня окатило редкое чувство педагогического всеисия, я понял, что именно сейчас должен поставить точку в нашем споре, такую точку, которая запомнится и, может быть, станет отправной в дальнейшей жизни моих учеников:

— Однажды великий древнегреческий философ, слава которого гремела до самой ойкумены, прогуливался в окружении учеников по садам Ликия. Тогда занятия проводились в форме прогулок...

— Жили же люди! — восхитился Бабкин.

— ...Так вот, — продолжил я — В самый разгар беседы к ним подошел богатый виноторговец и на-

смешливо проговорил: «Послушай, мудрец, у меня нет умных мыслей, но у меня есть золото, у меня нет знаний, но у меня есть красивые рабыни, у меня нет красноречия, но у меня есть сладкое красное вино — и стоит мне только крикнуть, как все твои ученики перебегут ко мне! Не веришь?» «Охотно верю, — спокойно отвечал философ, — потому что твоя задача намного легче: ты тынешь людей вниз, а я стараюсь поднять их вверх!...»

Я вдохновенно вышагивал по классу и в самый патетический момент заметил, что Челышева и Обиход меня не слушают, а перешептываются, склонившись над машинописной страничкой. Точным и изящным движением я изъял посторонний текст, отвлекая учеников от занятий, и проследовал к столу. Замучили эти девичьи тесты: какой киноактер вам нравится, что вы больше всего цените в мужчине, можно ли выходить замуж в черном платье?.. Ладно, разберемся потом, а сейчас самое главное — не потерять стратегическую инициативу!

— Ивченко совершенно правильно отметил, — заговорил я, — что многие недостатки, описанные великим художником, живы и по сей день, а изжить их можно только кропотливым трудом. Так давайте начинать с себя, давайте по-настоящему работать на своем месте, потому что тех, кто только жалуется, философствует и пьет водку, предостаточно. Давайте мы будем другими!

— Если будем, то давайте! — простенько поддержал меня выдохшийся Бабкин.

— Через тридцать секунд собираю письменные ответы. Время пошло! — совершенно другим, приказным тоном сообщил я, сел за стол и положил перед собой конфискованную страничку. На стандартном листочке чисто и ровненько было напечатано:

«Заведующему Краснопролетарским районным  
отделом народного образования  
тов. Шумилину Н. П.  
Уважаемый Николай Петрович!

К Вам обращаются учащиеся 9-го класса 973-й школы. В нашем классе произошел возмутительный случай: учитель физики Лебедев М. Э. пытался ударить ученика Кирибеева В. М., который, в свою очередь, хотел защититься и нечаянно задел Лебедева М. Э. по лицу.

Директор школы Фоменко С. Ю., поддерживающий с Лебедевым М. Э. внеслужбные отношения, во всем обвиняет Кирибеева В. М. и планирует его исключение из школы с последующей отправкой в колонию для несовершеннолетних.

Просим Вас разобраться и восстановить социальную справедливость».

А дальше шли подписи: аккуратно выведенные и торопливо нацарапанные, витиеватые, серьезно продуманные монограммы и неудобочитаемые закорючки... Вот тебе и точка отсчета для будущей жизни! Вот тебе и сады Ликия! Я нашел подпись Ивченко и поглядел на шефа-координатора, но он напряженно уставился в окно.

— Что это за подметное письмо? — с плохо сыгранной иронией спросил я.

— А разве мы не имеем права?! — вскинулась Челышева.

— Имеете... Прав у вас много! Только чего вы добиваетесь?

— Социальной справедливости! — сообщил Расходенков.

— И кто же так хорошо владеет деловым слогом? — с издевкой поинтересовался я.

— А у нас была «рыба!» — беззаботно сообщил

Бабкин.— Между прочим, вы обещали рассказать про «рыбу»!

— В другой раз. А бумагу вы отдадите мне сами. И надеюсь, никто никогда не узнает об этой эпистолярной подлости! — Для убедительности я хлопнул ладонью по письму и направился к двери.

— А письменные ответы? — крикнул вдогонку Расходенков.

— После звонка принесете в учительскую, — ледяным голосом распорядился я.

Выйдя в коридор, я почему-то вспомнил, что у Елены Павловны сегодня выходной день, и ощутил в душе совершенно космическое одиночество.

## 11

Весь следующий урок я был удручен и расстроен. На большой перемене Полина Викторовна и Евдокия Матвеевна, ориентируясь на публику, повели тонкую беседу о том, что вчерашнее кошмарное происшествие тесно связано со стилем руководства, воцарившимся в педагогическом коллективе за последние два года. Они явно надеялись, что в спор вступит с утра взвинченная Алла и можно будет хорошенько встряхнуться и настроиться на учебно-воспитательный процесс. Однако Умецкая не обращала внимания ни на них, ни на меня, зато заглянувшая в учительскую Клара Ивановна, ко всеобщему изумлению, отчитала интриганок холодно и жестко.

Видя мою печаль и связывая ее с отсутствием Казаковцевой, чуткий и отзывчивый Борис Евсеевич решил меня расшевелить и стал обстоятельно разъяснять, почему даже в условиях всенародной борьбы с процентоманией и приписками вывести ученику «двойку» за полугодие невозможно. Судить сами: ставить неудовлетворительный балл никто не запрещает, но в таком случае от учителя требуют план индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях пострадавшего ученика. Для наглядности Котик привел пример: допустим, вы селянин, и на вашем каменном поле не всходит и не может взойти злак, тогда вас заставляют пахать и орошать неблагоприятную почву до тех пор, пока вы не вырастите урожай или на худой конец не отработаете об этом. Тогда в классном журнале появляется «тройка», а в голозе у питомца остается прежний вакуум.

— Так что, — подытожил Борис Евсеевич, — оставь надежды всяк сюда входящий... Приписки начинаются в школе, остальное — только следствие...

Нашу содержательную беседу прервал запыхавшийся завхоз Шишлов, он звал меня к директору.

Стась стоял, опершись руками о крышку стола, наклонив голову и подавшись вперед, точно спринтер, приготовившийся к старту. На стуле перед ним раскинулся широкоплечий бородатый гражданин в сером твидовом пиджаке.

— Так что вы от меня хотите? — вопрошал Стась.

— Справедливости, Станислав Юрьевич, социальной справедливости! — отвечал посетитель, при этом рот у него заметно кривился вбок, как у некоторых певцов.

Фоменко выпрямился, обреченно вздохнул и представил нас друг другу. У могучего Валерия Анатольевича Расходенкова, младшего научного сотрудника малоизвестного НИИ, оказалось мягкое и очень осторожное рукопожатие.

— Наслышан, наслышан, — сообщил мне активный родитель. — Ну, и как ваш Пустырев поживает? Геня каждый вечер рассказывает! Если найдете роман, я первый, как говорится, забил почитать!

— Можем не найти, — ответил я.

— Ну, ничего, еще что-нибудь для ребят придумаете. Отвлекать их надо от улицы, от потребительства, от западного влияния... Дети ведь добрее, честнее нас, взрослых!

— Валерий Анатольевич возмущен поступком Лебедева. Требуется для него гражданской казни! — расшифровал мой руководитель.

— Родительская общественность возмущена, — подтвердил папаша, — а вы пытаетесь замять дело! Это идет вразрез с требованиями реформы. Надо перестраиваться, товарищи!

— Вы о реформе пришли разговаривать? — злое ще спросил Стась.

— Я мыслю комплексно, — сознался Расходенков с той продуманной раскованностью, какую наблюдаешь у телевизионных комментаторов. — Реформа начинается с учителя! И я не отделяю случившееся в нашей школе от...

— Реформой, Валерий Анатольевич, — перебил я, — могут назвать или не назвать какое-нибудь событие потомки или историки. Все остальное — мероприятия... Конечно, за исключением денежной реформы...

— Странная позиция для советского учителя! — спокойно удивился родитель.

— Нормальная позиция, — на всякий случай уточнил я. — И нам, и вам еще нужно заслужить, чтобы нашу сегодняшнюю работу назвали реформой.

— Боюсь, детям самим придется вступить за свое достоинство. По-моему, вы недооцениваете гражданской зрелости современных подростков! — предостерег Расходенков.

— Боюсь, мы недооцениваем гражданской незрелости некоторых родителей! — в тон ему ответил я.

— Тогда ничего удивительного, что именно у вас в классе произошел этот возмутительный случай. И дело тут не только в вашем скромном педагогическом опыте! — твердо глядя мне в глаза, сообщил принципиальный папаша. — Кстати, я назвал справки: из газеты вы ушли не по своей воле. Коллектив отторг!

«Коллектив отторг», — так говаривал мой бывший шеф о сотрудниках, которых выдавал из редакции. Фоменко слушал наши словопрения с недоумением: он еще ничего не знал о письме, сочиненном этим криворотым златоустом.

— Кстати, Станислав Юрьевич, — Расходенков сочувственно посмотрел на директора, — в прошлом году я предостерегал вас, что Лебедев не способен работать с детьми, что он злобно необъективен. А вы, помните, тогда поддержали Максима Эдуардовича. Кто же, выходит, прав?

— Оценку вашему сыну мы не повысим! — отрезал Фоменко. — Все, что могу сказать!

— Не надо передергивать! — возмутился Расходенков, и его рот уполз куда-то за ухо. — Я вас ни о чем не просил и справедливого отношения к своему ребенку добыть в другом месте! А мы, родители, так радовались, когда выдвинули молодого директора, но, видимо, бывают кадровые ошибки...

— Что вы имеете в виду? — На лице у Стаса выступили пятна.

— Я имею в виду, Станислав Юрьевич, что в школе грубо попирается детское самоуправление, принимаются на работу учителя, не понимающие смысла реформы, наконец, доходит дело до рукоприкладства! Полагаю, соответствующие инстанции заинтересуются этой чудовищной ситуацией...

— Уходите! — закричал Стась, топая ногами. — Или я вас вышвырну вон!

— Удивительный такт! — усмехнулся папаша, вставая, и я понял, что даже вдвоем мы не сможем

выставить его из кабинета.— Слава богу, в нашей стране к письмам трудящихся относятся с особым вниманием.

— Ну, и...— крикнул Стась, однако я успел схватить товарища за руку, понимая, как он посоветует Расходенкову использовать будущее заявление в инстанции.

Когда мы остались одни, Фоменко подошел к сейфу, вынул боржоми, сжевал какую-то таблетку и сказал:

— Удивительная сволочь! Восточной борьбой занимается! Все, что могу сказать...

— А почему, собственно, негодяй должен быть лысым, маленьким и суетливым?

— Вот собака! — не унимался Стась.— Торговаться пришел! Письмами пугает... Письма он писать умеет, кляззник! Шумилина я предупрежу, а вот если он в райком партии побегит? — стратегически рассуждал мой руководитель.

— Не побегит, он поумнее ход придумал — от имени класса письмо в роно написал...

— Откуда ты знаешь?

— У ребят отобрал. На машинке отпечатано. Очень грамотно. Про тебя слова есть... Оказывается, ты поддерживаешь с Максом «внеслужебные отношения».

— Давай сюда! — Стась нетерпеливо протянул руку.

— Я им вернул.

— Зачем?

— Они мне сами отдадут! — неуверенно ответил я.

— Экспериментатор! Инженер детских душ! У кого письмо?

— Да пойми же, нельзя отбирать: Расходенков только этого и ждет! Надо первубедить ребят...

— Письмо должно быть у меня, — непрерываемо ответил Стась.— Понимавшь? Делай, что хочешь — убеждай, разубеждай, переубеждай! — иначе будет скандал на весь город... Усвоил?

— Да. Но ты не вмешивайся! Я сам...

Фоменко выскочил из-за стола, повернулся ко мне спиной и с грохотом распахнул окно.

— Не учителя, а сплошные Макаренки и Песталоцци! — пробурчал разъяренный руководитель, когда я покидал комнату...

В школе кипела перемена: между резвящимися детьми с независимым видом дружинника прохаживалась дежурная по нижнему этажу Полина Викторовна, возле раздевалки, смущенно отколупывая от стены гусиную кожу краски, млел в обществе своей плечистой десятиклассницы Володя Борин, а прямо напротив директорского кабинета совершенно случайно прогуливался Гена Расходенков, и на его губах играла шпионская улыбка...

После шестого урока я подошел к кабинету химии, остановил разбегающийся девятый класс и объявил, что завтра будет собрание.

— Вы зря стараетесь — у нас самоуправление! — откровенно сказала Чельшева, разглядывая в зеркальце нежелательные образования на лице.

— Очень хорошо, но я пока еще ваш классный руководитель!

— Вы уверены? — удивился Расходенков.

— Уверен! — жестко ответил я.— Поэтому попрошу до завтрашнего дня никаких глупостей не делать, иначе будет очень плохо! Вы меня поняли?

— Разгул школьной демократии, — мудро заметил Бабкин.

Шеф-координатор посмотрел на меня с сожалением и принялся накручивать на пальцы свои кудри.

— Так мы идем сегодня к Чаругину или нет? — громко спросил я, повернувшись к Ивченко.

— Идем...— ответил он, оглядываясь на ребят.

В школьной столовой я застал Гирию. Держа перед собой раскидистый букет роз, она возмущалась, что всем учителям печенки хватило, а ей, как всегда, не досталось.

— Давай, я тебе свою отрежу! — огрызнулась буфетчица Таня, собирая помощницу Галю для прибыльной торговли с лотка.

— Я свинячьей печенку не ем! — прямо ответила Гирина.

— А сегодня и не было говяжьей! — простодушно пожала плечами Таня.

Я сидел за столом, ел суп из маленькой детской тарелочки с надписью «Общепит» и горевал. Мне было совершенно ясно, что ребята, узнав о моем объяснении со Стасем, оскорбились.

Удивительное дело! В сложившейся ситуации все по-своему правы: девятый класс спасает товарища, Стась — карьеру, Расходенков печется о годовых оценках своего отпрыска, Лебедев жаждет сочувствия, Алла ищет надежного спутника жизни. Гирия мечтает о килограмме свежемороженой печенки для дома, для семьи... Я понимаю всех и никому не могу помочь. Один мой давний приятель говаривал в подобных случаях: «Всех жалко, но себя чужько всех!» Наверное, это правильно, но почему же тогда так скверно на душе?

## 12

На пороге нас встретил невысокий сухощавый старик, одетый в синюю шерстяную «олимпийку». Лицо его было покрыто сетью маленьких морщин, напоминавших годзовые кольца. Во рту он держал дымящуюся папиросу с мундштуком, сложенным в хитрую гармошку.

— Здравствуйте, мы из школы! — представился я.

— Здравствуй! — отозвался Чаругин прокурренным голосом и протянул руку.— Проходите... Заболел я, давление подскочило...

— Может быть, в другой раз? — неуверенно спросил я.

— До другого раза дожить нужно! Проходите! — И он повел нас в комнату, по дороге с ворчаньем расправив синие школьные брюки, неряшливо брошенные на спинку стула. В квартире пахло сдобным тестом и лекарствами.

— Как вас величать? — поинтересовался Чаругин.

— Меня — Андреем Михайловичем.

— А молодого человека?

— Алексеем, — ответил я за смущенного Ивченко.

— А меня — Иваном Георгиевичем, — с каким-то неудовольствием по отношению к самому себе доложил старик.— Садитесь.

Над диваном, застеленным клетчатым пледом, висели давнишний портрет Верховного главнокомандующего и увеличенная фотография в металлической рамке: молодой капитан, с покрытой крупной чешуей наград грудью, и широколицая девушка в платье с острыми приподнятыми плечами. Ивченко остановился перед снимком и, кажется, начал пересчитывать награды.

— Не считай! — махнул рукой Чаругин.— Теперь еще больше, хоть на спину вешай: одних юбилеев сколько перепраздновали! Две медали, правда, сын в малолетстве потерял... Это теперь мы над железяками трясемся, а раньше, как в войну с пацанами играть, так: «Папаня, дай медальку!» Но книжки наградные все, как одну, сохранил...

Чаругин вздохнул и отправился на кухню, пообе-

щав «сообразить чайку». Как только он вышел, шеф-координатор показал глазами на портрет Верховного главнокомандующего и вопросительно посмотрел на меня. Я молча пожал плечами: мол, у каждого поколения свои пристрастия, и не нам их судить.

Иван Георгиевич вернулся с чашками и тарелочкой домашнего печенья, а следом за ним с чайником в руках вошла та самая широколицая деэушка, конечно, очень постаревшая и поседевшая.

— А вы что, Андрей Михайлович, извиняюсь, преподаете? — дождавшись, когда жена разольет чай и выйдет, заинтересовался Чаругин. — Не литературу?

— Литературу и русский язык, — ответил я, потом хотел добавить о журналистике, но решил не отдаляться от темы. — А что?

— Да ничего хорошего!

— Почему?

— А потому, что математикой уважению к Родине не научишь, математика какой до семнадцатого года была, такой и осталась. А вот история и литература — дело другого рода! Плохо вы ребята учитесь: никакого уважения не стало, а к старикам и подавно. Мой внук придет из школы и бабке докладываает: «Васька сказал... Васька спросил... Васька поставил». А Васька — это Василий Дмитриевич, у которого еще и сын мой учился! Что ж вы творите, ребята? — поглядев на Ивченко, спросил Иван Георгиевич. — Я читал, в Америке учителя бокс изучают, чтобы от детишек отбиваться! Скоро, значит, и у нас будет?

— Не будет! — растерянно замотал головой Леша.

— Не будет, — насмешливо повторил Чаругин. — Разболтался народ, развинулся, в особенности молодежь. Да и старики иной раз... Вот мой сосед, — Иван Георгиевич кивнул на потолок. — Протез пристегнул, инвалидскую книжку в карман и вперед — куда не зарастет народная тропа — за водкой, без очереди... Стыд и позор...

В комнату заглянула жена Чаругина и, строго поджав губы, поглядела на Ивана Георгиевича, а потом предложила принести еще печенья. Мы поблагодарили и отказались, а Чаругин, чтобы скрыть неловкость, обжигая пальцы, заглянул в чайник, помолчал и сказал виноватым голосом:

— Ладно... Скрипеть больше не буду. Вон уже и моя половина глазами буравит: люди, мол, за делом пришли, а ты собачишься! А я, может, потому и собачусь, что вину чую... Рукописи-то у меня нет...

— Отдали кому-нибудь? — спросил Ивченко огорченно

— Никому я ничего не отдаю! Мне эти воспоминания товарищ фронтовой завещал, говорил, еще попросят... Как в воду глядел! Я-то с батальоном всего неделю провоевал, а он почти всю войну прошел... Совестно и перед покойным, и перед вами. Не уберег!

Нужно было спрашивать, куда же исчезли папки с мемуарами краснопролетарских ополченцев, но мы молчали, и было слышно, как за стеной повышенной звукоизоляции миллионер Челентано поет о трудной жизни простого итальянского труженика.

— А где же они? — Шеф-координатор начал нервно накручивать волосы на палец.

— Где... Там... — Иван Георгиевич безнадежно махнул рукой. — В макулатуре. Пяти килограммов внучку на зарубежный детектив не хватило, а воспоминания восемь потянули, так он мне три бумажечки сдачи принес!

— А где это? — заволновался Леша. — Если объяснить, они отдадут!

— Да я уж и сам туда бегал, — ответил Чаругин. — Поздно. Он ведь еще на прошлой неделе папки отволок. Мне уже из издательства звонили — схватились работники!

В комнату снова тихонько зашла хозяйка, сняла со стула заложенные очками «Воспоминания и размышления» маршала Жукова, тяжело села и скорбно сложила на животе руки.

— Иван Георгиевич, — спросил я на всякий случай. — вы не помните: было в воспоминаниях что-нибудь о Николае Пустыреве? Это молодой писатель, он пропал без вести в октябре 41-го...

— Ничего не было. Точно!

— Понятно... Спасибо, — поблагодарил я, понимая, что нужно прощаться.

— А что о нем писать-то! — словно оправдываясь, продолжил Чаругин. — Грамотный был, очкастый. Сначала писарем походил, потом в строй попросился: кто-то его поддел — мол, в штабе отсиживается...

— А как он пропал без вести? — подавшись вперед, спросил Леша.

— Если знают, как пропал, — это уже «пал смертью храбрых» называется, а в ту осень не то что бойцы, армии без вести пропадали!

— А вам довелось с ним общаться? — пытал Леша.

— Довелось... — усмехнулся Чаругин. — Несколько раз замечания ему делал, что интеллигентный человек, а бриться забывает. За дневник ругал: рядовому составу не положено...

— За дневник? А куда он делся? — с надеждой спросил я.

— Скурили...

— Как скурили? — вздрогнул Ивченко.

— А вот так. Ты уж извини, Алексей, в ларек за «Беломором» далеко бегать было. Мне как раз страничка попала, где он нашего старшину описывал, — умора!

— А какой он был, Пустырев? — с обидой спросил шеф-координатор.

— Какой... Задумчивый, а это на фронте последнее дело. Политбеседы с пониманием проводил, хотя меня комиссар и предупреждал, что неприятности у него перед войной были, какую-то книжку вредную написал... А может, и не вредную, тогда, пользуясь занятостью товарища Сталина, много дрова наломали...

— А как называлась та книжка? — не унимался Леша.

— Откуда ж я знаю! — развел руками Чаругин. — Это, дорогой мой Алексей, действующая армия, а не библиотека...

— Когда вы видели Пустырева последний раз? — спросил я и почувствовал себя таким телевизионным следователем.

— В строю видел, когда их взвод соседям справа на подмогу отправляли. А больше не видел, от всей дивизии тогда один номер остался. и то слава богу! — ответил Иван Георгиевич, потом помялся и попросил: — Вы уж у себя в школе про макулатуру не рассказывайте... А?

Мы проговорили еще полчаса и условились, что Иван Георгиевич, когда поправится, встретится с ребятами и поделится воспоминаниями о Пустыреве. Расстроенный хозяин вызвался проводить нас до лифта. Как раз когда мы прощались, двери лифта разъехались, и нам навстречу шагнул широкоплечий, коротко остриженный юноша, экипированный в настоящую форменную куртку «милитер».

— Вот он, макулатурщик! — язвительно представил своего внука Чаругин — В американском бушлате ходит!



— А кто со штатниками на Эльбе обнимался? — улыбаясь ответил парень и вежливо добавил: — Здравствуй!

Ивченко поглядел на него с ненавистью и, почти оттолкнув плечом, зашел в кабинку, на стенах которой в сжатых и выразительных фразах была отражена интимная жизнь всего подъезда.

Мы шли по вечернему городу вдоль освещенных витрин, уставленных символами изобилия — пирамидами консервных банок. Навстречу нам попалась крепко обнявшаяся, совсем еще юная парочка, а следом, точно предостережение влюбленным, уставшая женщина проталкивала сквозь толпу детскую коляску.

— Андрей Михайлович, — после долгого задумчивого молчания заговорил Ивченко, — а может быть, в самом деле не стоит ребятам рассказывать про макулатуру?

— Боишься, не поймут? А ведь вранье начинается с монополии на правду. И потом, дорогой товарищ, ты же не скрыл от друзей все, что слышал в кабинете директора!

— Я должен был сказать...

— Ты очень боишься Кирибеева? Только честно!

— Да, боюсь, — с вызовом ответил Леша. — Вы же ничего не знаете!

— Почему ничего? Про «банду четырех» знаю...

Комсорг девятого класса и шеф-координатор группы «Поиск» не ответил. Честно говоря, я его понимал. У нас в классе тоже был свой Кирибеев — некий Воронков, мрачный, прищавый парень с синей пороховой наколкой на руке. Учителя делали вид, что его не существует, но он существовал, держа в страхе всю школу, и однажды на моих глазах избил какого-то парня-десятиклассника. Прибежавший на крик учитель труда спросил у меня: «Кто это сделал?» И я, член комитета комсомола, любимец педагогического коллектива, забормотал что-то невразумительное, другими словами, дал ложные показания; пострадавший тоже уверял, будто просто поскользнулся и упал. Воронков поглядел на меня с дружеским презрением и с тех пор при встрече всегда протягивал мне свою влажную и холодную ладонь, и я неизменно пожимал его руку, испытывая одновременно чувство стыда, гадливости и облегчения. Рассказывали, что Воронков избивал собственную мать и она однажды плакала в кабинете директора, умоляя отправить родного сына в колонию...

— Как ты думаешь, — спросил я Ивченко, — Кирибеев любит свою мать?

— Да, любит, — твердо ответил он. — Кирибеев даже с отцом из-за нее дерется... Помните, он с синяками в школу приходил?

— Помню... А «рыбу» принес Расходенкоз?

— Я не могу вам ответить, — глядя под ноги, твердо проговорил Леша.

— Почему?

— Мы так решили.

— За что вы на меня обиделись?

— Вы бегали жаловаться Фоме.

— Кому? Не понял?..

— Станиславу Юрьевичу.

— А если это называется поставить в известность руководство? Трудовую дисциплину никто не отменял...

— Я пытался объяснить это ребятам, но они считают, что вы нас заложили...

— А они не говорили, что я шестерю?

— Чего?

— Ничего!

— Андрей Михайлович, я вас понимаю, но так решило большинство...

— Голосование у вас было тайное или открытое?

— Вы надо мной смеетесь! — сказал Леша и остановился.

— Мне не до смеха, — отозвался я, продолжая идти вперед, и шеф-координатор поплелся следом. — За что, собственно, ты так любишь Кирибеева? Ты без него жить не можешь?

— Я его ненавижу...

— Тогда будь честным до конца, скажи об этом завтра на собрании!

— Нет... Извините... Вы поработаете до конца года и уйдете, а мне еще целый год учиться...

— Тебе, Леша, еще целую жизнь жить, а это важнее! Коллективный разум и коллективная трудность — вещи разные...

— Хорошо говорите, Андрей Михайлович! Говорите еще!

— На том стоим! — скромно улыбнулся я.

— Вот именно... Всем же известно что вы Лебедева еще с института знаете, а Фома — вообще ваш друг! Вы думаете, мы ничего не видим? Видим! У вас своя команда, у нас своя! И за Кирибеева мы будем драться!

— А что вы еще видите? — зло поинтересовался я.

— Видим, что слова все кругом говорят правильные, а жизнь все разное несправедливая!

— Например? — спросил я.

— Вам пример из истории или из современности?

— Лучше из истории.

— Пожалуйста! Почему даже после смерти Пустыреву не везет? Почему одним — все, другим — ничего? Вы рассказывали, десятки человек закрыли грудью амбразуру, и кое-кто даже раньше, чем Матросов. Почему я знаю только Матросова? Он что, лучше всех на амбразуру бросился? Значит, выходит: как ни живи, как ни погибни — все зависит от случайности от «шланга», который взял и оттащил воспоминания в макулатуру?!

— Но ведь в воспоминаниях ничего не было...

— А если бы было? А если бы это был роман? Тогда что?!

— Погоди... Давай по порядку! — обстоятельно и спокойно ответил я. — Посмертная слава — действительно дело капризное и часто зависит от случайности. Например, не напиши журналист Лидов про партизанку Таню — и, вполне возможно, всенародно известной героини Зои Космодемьянской не существовало бы... Всенародно известной... Но разве бы от этого ее гибель, ее предсмертные муки, ее смелость исчезли, перестали существовать?.. Конечно, нет! Просто о ее подвиге знал бы небольшой круг людей, к примеру, только родственники, однополчане, одноклассники... Но даже если б Зое перед смертью сказали, что о ее подвиге не узнает никто, она бы все равно, уверен в этом, не отступила, не сдалась! Знаешь, дорогой мой Леша, подвиг мы совершаем прежде всего для себя, а только потом — для людей!

— Не знаю... Нас учат жить для людей а не для себя! — с трудом выслушав до конца мой монолог, ответил шеф-координатор.

— Демагогию ты оставь Расходенкову, — не унимался я. — Вот послушай: однажды меня вызвал главный редактор и поручил написать очерк о парне, который в Афганистане повторил подвиг...

— А вы, Андрей Михайлович, в Афганистане были?

— Не довелось...

— Но очерк вы, конечно, написали?

— Написал...

— Если мне доведется там побывать, я обязательно пришлю вам письмо, поделюсь впечатлениями...

— Почему ты так со мной разговариваешь?!

— Потому что мы с вами не по садам Ликея прогуливаемся!

— Не понял! — Теперь я уже остановился и постарался совладать с искушением ответить ударом на удар, попытался, но не смог. — Ты зря стараешься! — Мне удалось сказать это очень ласково, даже по-отечески. — Напрасно! Вика Чельшева никогда не оценит твоего прилежания!

Иваченко замер и поглядел на меня с удивлением. Так несмышленные дети, нечаянно поранившись, смотрят на красивые брусничные капли крози и ничего не понимают, а потом, вдруг почувствовав боль, начинают горько плакать. Шеф-координатор резко повернулся и зашагал прочь, натягивая на голову капюшон, совершенно не нужный в такой теплый вечер.

Мимо устало торопились люди: одни, чтобы остаться здесь, в черте Садового кольца, другие — чтобы, постепенно редая, двинуться к Окружной дороге, третьи — чтобы сесть в пригородные поезда и через полтора часа плечом — руки заняты сумками — открыть калитку своего дома. Завтра утром все они потекут в обратном направлении, склапываясь, сгущаясь на пути к стольному граду...

Я сочувственно посторонился: две женщины в черных газовых косынках, занимая почти весь тротуар, бережно и скорбно несли похоронный зенок. Даже встречающая дворняжка испуганно заметалась перед ними и наконец, сообразив, прыгнула между пластмассовыми цветами, точно сквозь цирковой обруч. Из переулка, акробатически извиваясь и балансируя, вырвалась на скейтах хохочущая ватага подростков. «К станку бы вас, бугай!» — крикнул задетый ими нервный прохожий, совершенно не похожий на потомственного заводчанина. А ведь когда-то и мы носились на самокатах с подшипниковыми колесиками, изобразая летучий эскадрон, призванный успеть спасти тонущего Чапаева. Интересно, кого спешат выручить из беды эти ребята? Я помню, после наших самокатных гонок из-за вибрации таратающихся по асфальту подшипников затекала нога, нужно было садиться на газон и терпеливо ждать, пока вместе с игольчатым покалыванием в тело вернется движение.

Я остановился и сел на скамейку, потому что явно почувствовал в ступне то самое, дажно забытое самокатное онемение. Меня мучила совесть: «Господи, добрый, смывленный, немного настырный мальчик, когда же я успел вырасти в морально-этического монстра, которого близко нельзя подпускать к детям?! Бедный, оскорбленный, ошеломленный шеф-координатор!..» На меня накатило то уничижительное, самоедское настроение, в каком древние выходили на большую дорогу, хватали первого попавшегося прокаженного и с упоением омывали его гноящиеся язвы... А я решил навестить несчастного Макса, сбнять его изысканно-сутулые плечи и прижать к груди его гордую повинную голову...

Лебедев жил в высотном доме, воздвигнутом в середине века и отличающемся от современных блочных сооружений так же, как ископаемые мамонты отличаются от накомодных слоников. Эту квартиру я запомнил еще со студенческой поры — простор, высокие лепные потолки, книги, посуда, очень похоже на библиотеку и магазин «Хрусталь-фарфор» одновременно. Тогда, после стройотрядовского сезона, мы собрались у Максима, и я был удив-

лен, как нежно хлопотала вокруг нас его мать, как обстоятельно расспрашивала об «объеме выполненных работ» чиновный отец. Потом мы решили поплясать, и Максим на пороге своей комнаты устал объяснять увязавшемуся за нами родителю, что его присутствие необязательно.

— Эдик, пусть дети побудут одни! — поддержала сына тактичная мама.

— Конфликт поколений! — рассмеялся Лебедев-старший.

Утомленные служебной властью, многие большие руководители в домашних условиях совершенно безобидны...

Во дворе лебедевского дома на детской площадке, сработанной «под былинку», два десятка преисполненных достоинства жильцов выгуливали разнокалиберных собак.

Максим открыл дверь и успел ухватить за ошейник рванувшегося на свободу большого черного пуделя. Лебедев был одет в бархатный кабинетный пиджак и держал в руке вишневую трубку. Я ожидал увидеть его сниженным, растерянным, подавленным, но он был спокоен и философски грустен. На звонок из кухни вышла Алла Умцакая в мужском махровом халате. Теперь все понятно: «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним...»

— Родители в санатории, — смущенно объяснил Макс.

На тумбочке у разложенного дивана стояла шкапулка с табаком, лежали трубки и второй том «Опытов» Монтеня: Максим черпал утешение в олимпийской мудрости мыслителей прошлого.

— Ну, что нового? — полюбопытствовал он. — Бесятся?

— Скорее да, чем нет... Стась говорит, что ты не вернешься? Почасовика до конца года ищут, — ответил я.

— Не вернусь. И тебе не советую задерживаться. Нормальный человек в школе не выживает...

— А кто выживает?

— Простейшие, типа Гири.

— Куда же ты пойдешь?

— Не знаю... У отца остались какие-то связи.

— А ты без связей когда-нибудь пробовал? — не удержался я.

— Пробовал... До сих пор такое чувство, будто испачкался в чем-то липком и зловонном!

Алла внесла в комнату поднос с кофейными чашками, она быстро усвоила разделение труда в доме Лебедевых.

— Это правда, что девятый класс написал коллективу в роно? — поинтересовалась Алла.

— Правда, — сознался я.

— Ну, и что ты собираешься делать?

— Я попросил их не отправлять письмо.

— Ставка на детское великодушие, — покачал головой Максим. — У Голдинга есть роман, в котором дети попадают на необитаемый остров и превращаются в стаю зверей, убивают друг друга...

— А Расходенков-старший сегодня убеждал меня, что дети чище, честнее нас, взрослых...

— Мы, Андрей, живем в мире красивых слов; если их убрать, ничего не останется... Ничего! — высказался Макс, изящно отхлебнул кофе и поморщился...

Провожая меня до двери, Алла страстно ворковала о том, как страдает Максим, как скрывает от ежедневно звонящих родителей случившееся, как ему необходимо чье-то внимание и поддержка. Почуввав ослабленную бдительность, пудель ринулся в приоткрытую дверь и со свободолюбивым лаем

помчался вниз по лестнице. Вероятно, это было его единственное развлечение в жизни.

Придя домой, я водрузил переносной телевизор на холодильник, безнадежно порыскал по программам и оставил «круглый стол» комментаторов, споривших о международной жизни; каждый из них отстаивал собственное мнение, постоянно мелькали фразы: «Позвольте с вами не согласиться!» или «А вот тут-то я с вами поспорю!» — но на самом деле говорили они одно и то же. Я повязал фартук и принялся лепить пельмени, но телефон звонил, не переставая, и скоро трубка стала белой от муки.

Первым был Стась. Он требовал, чтобы завтра «коллективка» лежала у него на столе.

— Андрюша, ты их должен переубедить, чтобы второго письма не было!

— Попробую, — пообещал я.

— Пробуют в пробирках, а ты с живыми людьми работаешь, ты должен! Усвоил?

Вторым был очень вежливый и очень уверенный мужской голос. Звонил отец Вики Чельшиевой — Юрий Александрович, он просил прощения за позднее беспокойство и предлагал срочно, завтра, встретиться. Мы условились в 8.10 в скверике возле школы.

Третьим был Лебедев. Он извинялся за свои разобранные чувства и просил никому не гозорить, что я видел у него Аллу.

— Это серьезнее, чем ты полагаешь! — разъяснил Макс.

Четвертым был Чугунков. Он жаловался, что на кросс пришло меньше половины класса, обещал утром дать список прогульщиков и советовал срочно объявлять педагогический террор.

Пятым и последним был заместитель главного редактора журнала. Он сообщал, что стойкий пенсионер наконец написал заявление и что чуть ли не со следующей недели я могу выходить на работу.

— Нашли роман Пустырева? — заинтересовался он в заключение.

— Ищем, — отозвался я.

— Давайте-давайте, — поддержал заместитель, — я ведь Пустырева помню, перед войной слышал его на диспуте в ИФЛИ... Представляете, какой я уже старый?..

## 13

Я открыл глаза с тем странным ощущением, какое бывает, если просыпаясь в купе мчащегося поезда под колесный перестук. За окном совершенно незнакомая местность, в стакане темный безвкусный дорожный чай, а на сердце тянущая командировочная тоска. Впрочем, я запутался: у меня должно быть радостное настроение человека, возвращающегося домой. В Москву... В Москву!..

Но что ни говори, а мне нравилось быть учителем. Взять хотя бы мой девятый класс — это же настоящая миниатюра человечества, действующая модель Вселенной, разбегающейся при малейшей попытке наставничества. А все-таки письмо они мне отдадут, принесут на легендарном блюдецке с пресловутой голубой каемочкой. Это будет мой прощальный выход, и он покажет, какого перспективного учителя теряет мировая педагогика.

Делая зарядку, что случается со мной чрезвычайно редко, я прикидывал, как войду в класс и ровным, бесстрастным голосом спрошу: «Ну, что, будем проводить собрание с президиумом или просто по-

говорим по душам?» А когда «коллективка» будет лежать передо мной на столе, я попрощаюсь с ребятами и заверю, что роман Пустырева мы все равно обязательно найдем! И еще напоследок нужно замирились с шефом-координатором. Вчерашний разговор с Лешей — нелепая ошибка, недостойная взрослого человека, воображающего себя воспитателем. «Вперед, за орденами!» — как говаривает военрук Жилин, отправляя кого-нибудь в учительскую за журналом.

Внизу, возле почтовых ящиков, две полупроснувшиеся соседки ругали действительность за то, что ДЗЗ собирается на месяц отключить горячую воду. Надуманная проблема! «Холод, голод, тренинг» обеспечивают активное бодрое долголетие!

Среди свежих, еще пахающих типографской краской газет я обнаружил заказное письмо от Елены Викентьевны Онучиной-Ферман: рядом с моей каллиграфически выведенной фамилией в скобках значилось «лично». Я торопился на встречу с Чельшевым и читать письмо на бегу не стал.

На автобусной остановке собралась толпа, люди тратили бесценную трудовую энергию, штурмывая узкие двери муниципального транспорта. В автобус я попал только благодаря тому, что разбитной мужичок, прощально затянувшись сигаретой, весело попросил граждан пассажиров сделать глубокий выдох. В конце концов место нашлось всем и, надежно стиснутый попутчиками, я поехал к метро. Можно было бы говорить о небывалой сплоченности, даже спрессованности нашего недолговечного пассажирского коллектива, если б не скандал, разгоревшийся в душной утробе автобуса, которую немногословный водитель романтично именует «салон».

Квадратный пожилой дядя проторил путь к сиденьям для инвалидов с детьми и потребовал, чтобы шуплый парень, почти мальчишка, очистил посадочное место согласно правилам поведения в городском транспорте. Сидящий не отрывался от газеты и являл пример мучительного спокойствия.

— Ухом не ведет, хамло!..

— Встань, тебе говорят!..

— Мы его сейчас поднимем!.. — сопереживал пассажирский коллектив.

— Я фронтовик! Я за него, сосунка, кровь проливал! — гневался полнокровный ветеран, и его лицо набухло праведной лиловостью.

— И я фронтовик! — зло ответил парень и начал комкать газету.

— Еще издевается!..

— Высадить его к чертовой матери!..

— Шпана!.. — шумело сообщество попутчиков.

— У меня два ранения! — хлопал себя по бокам участник войны.

— А у меня ноги нет! — сидящий поднял на нас бессмысленные от ненависти глаза.

— Совести у тебя нет!

— Погодите, ребята, может, он из Афгана?

— Удостоверение покажи! — зашумели вокруг.

— Нате, смотрите! — крикнул парень и вырвал из нагрудного кармана обернутую целлофаном книжечку.

— Садись, деловой! — Какая-то женщина освободила старику ветерану место, переместив две здоровенные хозяйственные сумки, совершенно необъяснимые в такую раннюю, домагазинную пору. — В очередях из-за них не достоишься! Фронтозик!..

— Как вы можете так говорить! — вскинулась молоденькая пассажирка. — Как вам не стыдно!

Пожилый, добившись своего, тяжело сопя, уселся, установил на коленях обшарпанный чемоданчик

и уткнулся в окно, а коллектив тем временем переключился на женщину с сумками.

— Весь универсам скупил! Житья от этих приезжих не стало! После работы идешь — прилавки пустые...

Ветеран понуро глядел сквозь стекло, потом мучительно обернулся и проговорил:

— Извини, молодой человек, я не знал...

— Ладно, — отходчиво сказал парень. — Почти каждый день привязываются... Привык...

— Давно вернулся? — участливо поинтересовался пожилой.

— Полгода... «Звездочку» дали...

— У меня тоже «Звездочка»... Ты уж прости меня!

— Да ладно...

В метро я смог наконец разорвать концерт и прочитать письмо:

«Уважаемый Андрей Михайлович!

Наверное, Вас удивила приписка «лично». Дело в том, что я сначала вообще полагала обойтись без этих тяжких подробностей, не хотела омрачать Вашу радостную цель и рассказывать о том зле, с которыми новые поколения (верю!) никогда не столкнутся. Я пишу Вам лично, потому что Вы педагог, воспитатель, и обязаны знать все без утайки.

Роман Коли Пустырева Вы не найдете никогда, он сам, своими руками в моем присутствии сжег рукопись, оба экземпляра. Николая оклеветали. Один негодяй (он уже умер, и я не хочу повторять его черного имени) написал донос, в котором называл Колин роман «поклепом» на нашу действительность, на нашу жизнь, становившуюся все лучше и веселей. Особенно больно то, что я оказалась невольной причиной этой подлости: мы были очень близки с Николаем Ивановичем, а тот негодяй надеялся избавиться от соперника. Потом, много лет спустя, он объяснял свою «роковую ошибку» политической близорукостью и безумной любовью ко мне. Кровь леденеет, когда понимаешь, от каких ничтожеств порой зависит судьба талантливого и поэтому незащитного человека.

Колю уволили из школы, исключили из комсомола, а после разговора со следователем он сжег рукопись, искренне считая, что роман был ошибкой. Когда Колю записали в ополчение, он радовался и считал, что его простили и дали право искупить вину на поле боя. Теперь наша мудрая партия жестко осудила тогдашние перегибы, и мы понимаем: никакой Колиной вины или ошибки не было. Была горькая, нелепая, неоправданная ошибка по отношению к нему — Пустыреву. Останься Коля в живых, он обязательно восстановил бы свой роман: память у него была блестящая...

Андрей Михайлович, прошу Вас: постарайтесь отвлечь ребят от поисков романа, пусть на всю жизнь их мысли о Николае Ивановиче Пустыреве останутся незамутненными, радостными, светлыми. Это будет наш с Вами заговор доброты, наша святая ложь. Простите меня.

Е. Онучина-Ферман».

«Вот и все!» — понял я и оставшуюся часть пути тупо рассматривал сонные лица пассажиров...

По скверику, вокруг не обустроенной еще клумбы, поглядывая на часы, прогуливался аккуратно причесанный, гладко выбритый, строго одетый Юрий Александрович Челышев. Весь его президиумный вид совершенно не вязался с запущенным остров-

ком озеленения, дождавшимся очередного субботника.

— Простите, бога ради! — взмолился я. — Транспорт подвел...

— Ничего-ничего, — успокоил Челышев. — Бывает: утренние пробки, у светофоров подолгу стоять приходится... Конечно, хотелось бы пообщаться основательно, но я человек подневольный, живу по графику... Впрочем, у вас тоже жесткое расписание! Давайте к делу. — Юрий Александрович гозорил, потупив взгляд, и лишь в тех местах, каким придавал особое значение, он поднимал глаза и пронизывал собеседника.

— Конечно, давайте к делу, — рассеянно отозвался я.

— Андрей Михайлович, — потупив очи долу, начал он, — не стану скрывать: меня очень беспокоит случай с рукоприкладством в вашем классе. По моим данным, информация пошла очень высоко и разбираться будут серьезно.

— А стоит ли серьезно разбираться в досадной нелепости? — пожал я плечами.

— Досадная нелепость? Возможно... — Челышев говорил медленно и вдумчиво, словно двигал шахматные фигуры. — Но должностные лица обычно употребляют более точные формулировки: «В ходе работы комиссии факты подтвердились...» Или: «Не подтвердились...» Думаю, вам как классному руководителю придется давать объяснения на самых высоких уровнях. Так вот, я бы хотел... я бы просил, чтобы имя моей дочери в ваших версиях не фигурировало! — Сказав это, Юрий Александрович поднял глаза и посмотрел на меня долгим взглядом.

— Не волнуйтесь, — успокоил я, — Вика не виновата, по крайней мере прямо не виновата...

— Ни прямо, ни косвенно, — твердо уточнил Челышев. — На нашем знамени не должно быть ни одного пятна, у Вики впереди очень непростой институт...

— Интересно, какой?

— Боюсь взглянуть!

— Ну, хотя бы в общих чертах?

— В общих чертах — зарубежная экономика.

— Что вы говорите! По-моему, Вика больше интересуется Кирибеевым, чем зарубежной экономикой! — не удержался я.

— Несущественно. Обыкновенное девичье любопытство, немного поднадоели чистенькие мальчишки из нашей среды. Я с ней серьезно поговорил. Не волнуйтесь мы с женой внимательно следим за кругом ее общения...

— Ну разумеется! — согласился я. — Сначала круг общения, потом наша среда, а там, глядишь, и наша каста...

— Все-таки, Андрей Михайлович, — официально рассмеялся Челышев, — у вас мышление фельзегониста. Но я не вижу ничего плохого, если семья помогает обществу готовить дельного работника, а наследственность пока еще никто не отменял, и генетику продажной девкой империализма, извините, давно не называют! Вы ведь тоже недолго поучительствовали — в журнал уходите?! — Юрий Александрович проговорил это вопросительно, но поглядывая на меня строго и утвердительно.

— Вопрос решается, — туманно ответил я.

— Вопросы сами не решаются, их решают: положительно или отрицательно...

— Скажите, Юрий Александрович, — с невинным участием спросил я, — почему вы перевели Вика из спецшколы?

— Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, — отозвался Челышев и, дружелюбно глядя мне

в глаза, протянул руку. — Кстати, Вика бредит вашим Пустыревым! Давайте-ка подумаем и подключим Центральный Совет!

— Не стоит! — ответил я.

Он уходил по переулку мелким коридорным шагом, а на перекрестке его подхватила черная «Волга». Наверное, из окон этой служебной машины мир выглядит как нагромождение фактического материала, не очень удачно подобранного к блестяще составленному отчету о ходе выполнения перспективного плана...

В школьном вестибюле, обычно похожем на перрон некоего ребячьего вокзала, было тихо и чинно, у дверей, как часовые, стояли дежурные с красными повязками на руках. Дети с гиканьем влетали в школу и резко осаживали: вдоль вешалок прохаживалась грозная Клара Ивановна.

— У нас месячник примерного поведения? — спросил я.

— Нет, у нас в гостях заведующий роно! — значительно сообщила она.

— Кирибеев не появляется?

— Не видно.

На первом уроке в пятом классе я разбирал с ребятами главу «Одиссей на островах циклопов». Они, замирая, следили, как хитроумный Улисс выпутывается из сложной ситуации, и предлагали много других способов спасения, вплоть до лазерного оружия. В духе времени я постарался не заострять их внимание на «крепком божественно-сладком напитке», при помощи которого был усыплен одноглазый людоед. И все шло прекрасно, пока осведомленный Шибеев не объяснил товарищам, что «циклоп поймал кайф и вырубился».

Во время урока в класс заглянул заведующий роно, эскортируемый Стасем и Кларой Ивановной. Шумилин сделал успокаивающий жест: мол, не надо беспокоиться — и, молча кивая, слушал доверительный шепот Фоменко. Они были похожи на врачей, совершающих утренний обход и скорбно задержавшихся возле койки безнадёжного больного.

На перемене в учительской Евдокия Матвеевна, как обычно, разыскивала журнал, но разговаривала почему-то шепотом. Полина Викторовна убеждала непривычно томную Аллу в том, что у нас производственные отношения давно заменены личными — судя по всему, речь шла о том, кому достанется в борениях вырванное у роно высокое звание учителя-методиста, дающее 25 рублей прибавки к жалованью. Елена Павловна была элегически грустна, но при моем появлении — надежды юношей питают! — кажется, повеселела. Чугунков вручил мне обстоятельный список прогульщиков и пожаловался, что Володя Борин, поспорив с Бабкиным, закинул спортивную гранату в открытое окно директора картонажной фабрики. Случившаяся рядом Валя Рафф тоже наядбничала на влюбленного Бабкина, какой продолжал ходить в пионерскую комнату и дуть в горны. Борис Евсеевич собрался поведать о том, как в 1958 году в него втрескался десятиклассница-медалистка. Но тут раздался звонок...

На втором уроке в шестом классе меня ожидало радостное событие — посещение Клары Ивановны. Она уселась за последнюю парту и после каждого моего слова с недовольным видом делала пометки в блокноте. Честно говоря, плана урока у меня не было: я собирался быстренько отщелкать междометия и перейти к повторению. Перестраиваться пришлось на ходу, получилось не ах, но, по-моему, дети все-таки усвоили, что «ах» — это тоже междометие. Тимофей Свиринов, оказавшийся за одним столом с суровым завучем, вел себя незобразимо

примерно и постоянно поднимал руку, но только было непонятно: просится он к доске или просто чешет за ухом. Рисковать я не стал.

На перемене, анализируя мою беспомощность, Опрятиня обнаружила отсутствие плана, сообщила, что у меня плохо с дифференцированным подходом к ученикам, а в заключение порадовала мыслью, что педагогика — это профессия, а не сезонная халтура.

Третий урок был в том же шестом классе. Я обнаружил, что оценок в журнале маловато, и вызвал нескольких учеников читать наизусть «Смерть пионерки». Когда молодость повела Тимофея Свирина в «сабельный поход», в кабинет просунулся захоз Шишлов и передал два распоряжения директора: обязательно заглянуть в конце дня и в понедельник пройти флюорографию.

Потом я — как говорят в армии, «согласно программы» — рассказал ребятам о невезучем «рыцаре печального образа», а в заключение объяснил, что имя Дон-Кихота стало нарицательным и теперь так называют честных, благородных, добрых, но неудачливых людей.

— Андрей Михайлович, а ваш Пустырев тоже был Дон-Кихотом? — спросила Рита Короткова.

— В известной степени, — удивленно ответил я.

— А можно мы вместе с девятым классом будем искать его роман? — выпалила она, оглядываясь на товарищей.

— Можно! — разрешил я и пощупал письмо.

На перемене я дозволился до Екатерины Николаевны Кирибеевой и получил взволнованные заявления, что ее сын и мой ученик каждое утро с портфелем уходит в школу. Теперь все понятно! У римлян имелись две специально уполномоченные богини — Итердука и Домидука: первая сопровождала детей на занятия, вторая приводила их домой. Древним было хорошо, а как жить нам, учителям-атеистам? Молиться Итердуке? Надо попробовать...

14

По коридору, озираясь улыбкой, шел Кирибеев. Он равнодушно, словно надоедливый подросток, разводил в стороны малышня. Церемонно здоровался за руку с десятиклассниками и благосклонно кивал наиболее заслуженным восьмиклассникам. Я представил себе Кирибеева взрослым мужчиной, эдаким недобрым молчуном, которого чтут и дома, и на работе но не потому, что уважают, а просто не желают с ним связываться.

Он неторопливо подошел к кабинету литературы, где в ожидании звонка томился девятый класс, и ребята встретили его по-разному. Ивченко отвернулся. Бабкин и Борин как ни в чем не бывало продолжали изображать рок-группу: один, покачиваясь и завывая, подражал синтезатору, а другой, дергаясь и подпрыгивая, тархтел за ударную установку. Зато Вика Чельшева, будущая зарубежная экономка, сразу повисла на кирибеевском плече и, кивая в мою сторону, торопливо докладывала обстановку, а Расходенков топтался около них и верноподданно подкаивал. Они прикидывались, будто не замечают меня, хотя прекрасно видели, как я разбираюсь с пятиклассниками, устроившими конный бой.

— Встать, суд идет! — крикнул Бабкин, когда после звонка я вошел в кабинет.

Ребята шутку не приняли и молчаливо почтили вставанием своего недолгого классного руководителя. Я сел за стол, перелистал, чтобы успокоиться, журнал и для начала поинтересовался, почему ряд

товарищей — список прилагается — не соизволил вчера явиться на традиционный районный кросс. Потом мне долго пришлось выслушивать мифы и легенды про заболевших бабушек, обещания принести освобождение, а также внимать смутным намекам на те сложности, которыми девушки обычно не делятся с посторонними мужчинами.

— Ну, что — будем проводить собрание с президиумом или просто поговорим? — приступил я к осуществлению своего плана.

Ребята молчали.

— Не понял?.. Хорошо, давайте просто поговорим! — согласился я с самим собой. — Кто виноват во всем, что случилось? Как вы считаете?

Ребята молчали.

— Согласен, вопрос трудный. Поставим его по-другому: какие у вас претензии к Максиму Эдуардовичу?

Ребята молчали. Ивченко рассматривал поверхность стола. Володя Борин уставился в окно. Бабкин, точно пиратский нож, сжал в зубах линейку. Расходенков взирал на меня с сочувственным любопытством, а Челышева — с сожалением. Кирибеев разглядывал узел моего галстука. Было ясно: ни они, ни кто-то другой из класса не скажут ни слова.

— Бойкот? — беспомощно удивился я. — Обычно молчат те, кто виноват...

Ребята молчали.

Я встал и подошел к окну: дым из заводской трубы поднимался медленно и тоже созерцательно беззвучно. Однажды, в розовожем детстве, родители надумали меня воспитывать и, наказывая за что-то, перестали со мной разговаривать, но я оказался настырнее: первыми не выдержали они. Дети всегда упрямее взрослых.

— Значит, вы считаете, Кирибеев не виноват? — настаивал я.

Ребята молчали.

В класс просунулся озабоченный завхоз Шишлов.

— Вот это дисциплина! — восхитился он. — Я сперва думал, все ушли... Станислав Юрьевич просил напомнить!..

Я кивнул и снова поглядел на улицу: на третьем этаже больницы корпус, как раз вровень со мной, мертвой синевой светилось широкоформатное окно операционной. По улице мчались машины, спешили люди, прогуливались кошки — а там, на ледяном экране операционной, виднелись белые тени врачей — будто игроки склонились над угасающим движением рулетки...

— Вы делаете красивую подлость! — тихо проговорил я, продолжая смотреть в окно.

Ребята молчали.

То, что я совершил в следующую минуту, не только не входило в мои глубокомысленные воспитательные планы, но даже не могло прийти в голову. Я спокойно достал письмо, развернул и медленно, бесстрастно прочитал все, от первого до последнего слова...

«...Это будет наш с вами заговор доброты, наша святая ложь. Простите меня».

Потом я вернулся к столу, сел, положил перед собой конверт и стал ждать. Было слышно, как по коридору маленькой повели в раздевалку. «Еще один звук — и все вернется в класс!» — тихо грозила учительница. Затем, по-уличному перебранываясь, протопали изгнанные с уроков десятиклассники — через мгновение их остановил суровый окрик Клары Ивановны...

Со стены на меня недоброжелательно смотрели классики мировой и отечественной литературы, особенно холоден был Лермонтов. Я встретился взглядом с Лешей Ивченко, в глазах у шефа-координа-

тора стояли слезы. И тогда Кирибеев, медленно повернувшись к Расходенкову, презрительно распорядился:

— Отдай ему!

В предбаннике директорского кабинета секретарь-машинистка Любочка, обложившись учебниками и сжав руками свою бедную голову, готовилась к весенней сессии. Я зашел к Стасю, дождался, пока он по телефону объяснит кому-то, что учить информатику без компьютера — то же самое, что играть свадьбу без невесты, и бросил ему на стол коллективное письмо.

— Сами отдали? — бодро спросил Фоменко.

— Выкрал!

— Молодец! — похвалил он, пробегая машинписные строчки. — Друг спас друга! Я, правда, тоже подстраховался: звонил этому борзописцу на службу. Оказывается, он и там своими клюзулами остертел. Договорились о совместной блокаде. Чтоб ты знал! Дети прониклись?

— Прониклись. Скажи спасибо Пустыреву...

— В тебе гибнет Сухомлинский! Как дела с журналом, не звонили?

— Звонили. Ждут с нетерпением.

— Я серьезно спрашиваю!

— А я серьезно отвечаю.

— Поздравляю! — Фоменко даже привстал, радуясь за товарища. — Пиши заявление о застраховании дня... Нет, лучше с понедельника.

— Можно договориться... До конца учебного года они подождут! — предложил я, не ожидая такой административной поспешности.

— Хватит жертв! — Стась хлопнул меня по плечу. — Ты там нужнее! Пиши заявление!..

— Неужели так серьезно? — догадался я.

— Серьезнее, чем ты думаешь! Шумилину звонили из министерства, мне — из райкома партии. Фронтальную проверку раньше через год обещали, а теперь, извольте кушать, «фронталка» в сентябре будет! Тоже, думаю, не случайно... Ну, ничего: директор школы не начальник «Березки», конкурентов мало... Отобьемся! Но это сделать проще, если тебя не будет. Извини, Андрюха, за прямоту!..

Когда я вышел от Фоменко, начинался шестой урок. Возле кабинета начальной военной подготовки пытался выравняться построенный в две шеренги мой девятый класс.

— Смирно! — улыбаясь, скомандовал военрук Жилин и добавил: — Ивченко мне вашу просьбу передал, я его от занятий освободил!

— Какую просьбу? — не понял я.

— Неужели наврал?! — удивился военрук.

— Отдать под трибунал! — вытягиваясь во фронт, посоветовал Бабкин.

— Разговоры в строю! — рявкнул Жилин. — Команды «вольно» не было. Челышева!

Вика, поправлявшая челку, удивленно посмотрела на учителя и нехотя опустила руки.

— Разберемся! — пообещал я и пошел дальше по коридору.

Дверь в кабинет математики была приоткрыта: у доски под плакатом «Долой безответственность!» стоял худой сутулый десятиклассник, а за столом сидел обесиленный Борис Евсеевич. В комнате больше никого не было.

— Думай! — приказал Котик ученику и вышел ко мне в коридор.

— Репетируете? — спросил я.

— Нет, учу, — скромно ответил он. — Способный парень — должен поступить на мехмат... А вы все-таки уходите?



— Откуда вы знаете? — удивился я.

— У вас фамилия перспективная — Петрушов, от этого в жизни очень много зависит. С такой, например, альковной фамилией, как моя, дальше учителя-методиста не подыметься. Был, знаете, в прошлом веке поэт Иван Лялечкин, и умер, разумеется, молодым...

— Лялечкин? — переспросил я. — Не помню...

— Худо, конечно, но простительно: его мало кто помнит. Но вот когда наша прекрасная Алла Константиновна «не помнит» Брюсова или Луговского, это уже черт знает что! Во времена моей зрелости физики с лириками воевали, а теперь тихо: физики читают лирику, а лирики ничего не читают! У меня к вам, Андрей Михайлович, просьба: будете работать в журнале, никогда не пишите про школу! Честно напишете — не напечатает, соврете — нас обидите!

— Вы плохо думаете о нашей литературе, Борис Евсеевич! — возразил я.

— Я не думаю, я читаю...

В учительской было пусто, только Елена Павловна сидела, положила голову на ладони, и внимательно наблюдала голубей, которые, утробно перекликаясь, неуклюже бегали по карнизу.

— Андрей Михайлович, — сказала она, не глядя в мою сторону. — Какие у вас планы на лето?

— Никаких...

— Хотите поехать с нами в трудовой лагерь? Свежий воздух, песни у костра, глубокое проникновение в душу подростка...

— А Чугунков? — спросил я.

— Приезжала его законная жена — специально на меня поглядеть. — Казаковцева откинулась на спинке стула, надула щеки и сдвинула брови. — Осмотрела и заявила, что Виталий Сергеевич на лето приговорен к принудительным работам по месту жительства, будет ремонтировать квартиру. Так что осталась я совсем одна, и вы тоже меня бросаете, уходите...

— Ничего не поделаешь: даже с постоянной работы люди уходят. А я человек у вас временный...

— Жаль... Неужели ваш Пустырев сжег рукопись?

— Кто вам сказал?

— Леша Ивченко, Бедный, увлекающийся мальчик! А я думала, рукописи не горят...

— Это, Елена Павловна, — всего лишь девиз...

— Жаль, что всего лишь девиз... Запишите на всякий случай мой домашний телефон. Если подойдет мама и будет спрашивать, сколько вам лет и кто вы по профессии, говорите: вдовый член-корреспондент предпенсионного возраста... Хорошо?

Елена Павловна поглядела на меня светлыми, похожими на две тающие снежинки глазами. Шрамик на щеке она прикрывала пальцами.

Я прощальной походкой шел по школьному коридору и вспоминал, как почти пятнадцать лет назад, победоносно сдав вступительные экзамены в педагогический институт, забежал похвастаться в свою школу, но учителя еще не возвратились из отпусков, а старенькая уборщица Ефросинья Николаевна — мы ее называли «нянечкой» — долго меня не признавала, хотя с последнего звонка не прошло трех месяцев. Я зашел в свой класс, сел за свою парту... Пойдите, а где я сидел? В десятом классе моим соседом был Сережка Воропаев — это точно. Мы сидели у окна, впереди была свободная парта, а дальше — учительский стол... Теперь вспомнил! Парты у нас были мощные, монолитные и словно покрытые наскальными рисунками, их каждый год окрашивали толстым слоем зеленой краски, но следы поколений, оставленные перочинными ножами и другими острыми предметами, все разное про-

ступали: мальчишечьи и девчоночьи имена, соединенные многозначительными плюсами, прозвища злых учителей, незапоминающиеся формулы... Переходя из класса в класс, мы вырастали из своих парт, как из детской одежды, — и это называлось взрослением. Приветствуя входящего учителя, мы вставали и хлопали откидными крышками — и в этом была какая-то особенная торжественность. Впрочем, минувшее, пройденное, даже если в нем полным-полно ошибок, всегда дорого, потому что невосвратимо...

И вот я (нет, не тогдашний самонадеянный первокурсник, а сегодняшний неполучившийся учитель) спустился в вестибюль и услышал доносившееся из пионерской комнаты металлическое кудахтающее горно: Петя Бабкин объяснялся в любви Вале Рафф. Я заглянул к ним, отобрал у пунцового от натуги и смущения кавалера духовой инструмент и, вспомнив детство, проведенное в пионерском лагере маркониной фабрики, сыграл: «Спать, спать по палатам...» Валя захлопала в ладоши, а Бабкин, к моему удивлению, промолчал.

В метро я думал о девятом классе, о письмах, которых было слишком много в последние дни, о роковой судьбе Пустырева. Прав, обидно прав мой шеф-координатор: Пустыреву не везет даже после смерти, точно мрачное языческое проклятие тяготеет над этим близоруким, задумчивым учителем-словесником, заслонившим своей грудью... заслонившим... грудью... Слово речь идет не о теплой человечьей плоти, а о бетонной стене... Мне иногда кажется, что его жизнь так же непохожа на мою жизнь, как скорбная очередь за блокадным пайком на горластый хвост за импортными шмотками! И надо быть честным: эту чертову «коллективку» ребята отдали не мне, а Николаю Ивановичу Пустыреву, в собственные руки... Все, что могу сказать!

В полной задумчивости я пересел в автобус, и у самого дома меня победно оштрафовали за безбилетный проезд в городском транспорте.

Возле моего подъезда на лавочке, в обществе критически настроенных пенсионерок, сидел Леша Ивченко.

— Вот он! — показывая на меня, в один голос объявили старушки.

Шеф-координатор вскочил и бросился назстречу.

— Андрей Михайлович, — запинаясь от волнения, почти закричал он. — Неужели вы ничего не заметили?! Пустырев сжег оба экземпляра, а Елена Викентьевна читала почти слепую рукопись!

— Не понял! Подожди, подожди...

— Второй экземпляр не может быть слепым! — горячась, объяснял Ивченко. — Я знаю, я проверял! У меня мама — машинистка... — И он протянул мне пять отпечатанных под копирку машинописных страниц: только на последней бледно-серые буквы разбухали, расплывались и становились совершенно неузнаваемыми.

— Но ведь тогда были другие машинки! — неуверенно возразил я. — Ты на какой печатал?

— На электрической... Но у Шишлова в подсобке есть «Ремингтон», я видел! Поехали! Завхоз сидит до вечера...

Я тоже видел. Довоенный «Ремингтон» — замечательная машинка, в ней есть нечто от изящных конструкций Эйфелевой башни, нечто от изукрашенной гербами черной лакированной кареты, а шрифт клавиатуры похож на те буквы, какими прежде писали на бронзовых табличках, прикрепленных к старинным резным дверям. А какое красивое, звонкое слово — «Ре-минг-тон»!..

ГРИГОРИЙ  
ГЛАЗОВ



☆☆☆

Написаны и песни и романы,  
И крутится нестрашное кино.  
И вроде все, как было, без обмана.  
Но ту ли нить прядет веретено!  
Моя война была войной моею.  
И ранен я был выстрелом в меня.  
Чужую боль описывать не смею.  
Чужой костер — подобие огня.  
Свой путь пройду по своему же следу,  
Ни радости, ни горя не тая.  
Пусть общемо была у нас Победа.  
Война ж была у каждого своя.

☆☆☆

И в стогу не заночуем,  
и в палатке не заснем:  
то какой-то шорох чуем,  
то в глазах светло, как днем.  
И грустим уже о малом,  
глядя в щелочку весны.  
Мерзнем, брат, под одеялом  
и высматриваем сны,  
где в окопе замеченном  
под недобрый гул земли  
на густом ветру студеном  
даже стоя спать могли.

☆☆☆

Уже выбирать не дано:  
все выбрано и устоялось.  
Давно не хожу я в кино,—  
глаза ощущают усталость.  
И только мой внутренний взгляд  
как будто на мушке, прицельно  
в сощуре повернут назад,  
во мне существую отдельно.  
Он цепок и напряжен,  
тот взгляд — неизбывное бремя.  
Не ведает промаха он,  
повернутый в прошлое время.

Но все, что я там узнаю,  
все стало бесплотною тенью  
и дразнит лишь память мою,  
давно перестав быть мишенью.

☆☆☆

Зачем копить архивы  
на тот случайный час!!  
Сейчас, пока мы живы,  
пусть знают все о нас.

Что толку, что потомок  
узнает из бумаг,  
кто был фальшив, но громок,  
а кто был свят и наг!!

Покамест мысль живая  
в иной душе звучит,  
как рана ножевая,  
еще кровоточит,

пока не нужен пропуск,  
чтоб изучать утиль,  
пока не нужен допуск  
в подвал, где тлен и пыль,—

берите полной горстью  
всю истину сейчас.  
Архивы, как погосты,—  
им дела нет до нас...

☆☆☆

Госпитальная палата.  
Стоны, храп, последний вздох.  
За окном дыханье сада  
и растет чертополох...

Нынче школа в здание этом.  
Шум и гам — по сторонам.  
Кто расскажет новым детям,  
как хотелось в школу нам!!

Встать у парты, взять указку.  
Континенты, острова.  
И услышать вновь подсказку —  
довоенные слова...

Мел, доска, другая карта.  
И учитель у стола.  
У окошка, справа — парта.  
Там кровать моя была...

☆☆☆

Все уйдем в немыслимую даль:  
время — поводырь наш непреклонный.  
Ты смиришь, не плачь, моя печаль,  
человек я очень закаленный.  
Все покинув, молча удалюсь.  
Дождь последний упадет за ворот.  
И последним взглядом оглянусь  
на забитый суетою город.  
Там, за световой его стеной,  
вдруг сквозняк взмахнет оконной шторой,  
где осталась женщина, которой  
было очень хорошо со мной...

Г. ЛЬВОВ.

## ВАЛЕНТИН СОЛОУХИН



### Журавль

Как курлыкал он, как кричал  
одиноким журавль за рекой.

Все летал, все кружил по ночам,  
нарушая деревни локой,  
будто знал, что убийца Тихон  
затаился в хоромине тихо,  
под хмельком в телевизор уставясь,  
на Пескова в упор смотрел...

А деревня все слушала крик,  
сожалела и проклинала...

Журавлиху напоминало  
деревцо, что смотрелось в родник.

### Дождь и лебеди

Под крыльцо забились куры,  
на дороге слякоть, грязь.  
Вечер серый, вечер хмурый,  
дождик льется, не спросясь.

Этот день  
с трудом  
природа  
отобрала у людей.  
За межою огорода  
села пара лебедей.

По лужайке  
дождь топочет,  
с тишиной уходит в плес.

Не дождавшись  
темной ночи,  
лебедь  
трубный клич вознес.

Он подругу клювом тронул,  
и она пошла к воде,  
словно солнечный обронок,  
скрылись лебеди в дожде.

☆☆☆

Спокойные, тихие воды,  
Кувшинки, тростник и куга.

И кажутся вечными годы,  
Как вечные берега.

Не скоро трава пожелтеет,  
Закончится песнь соловья.

Черемуха ночью блее  
И ярче, чем кофта твоя.

Заливисты трели пичужки,  
О, вечность, тебя ль вспоминать...

Идут по дороге старушки  
К погосту родных поминать.

☆☆☆

Зимняя ночь.  
Тучи прячут луну,  
Снег зачерствелый покрыла пороша.  
Трону я звучной гитары струну,  
Звук всколыхнет загрустившую душу.

В этой глуши  
Ночью волки поют,  
Ветер свирепый в трубе подвывает,  
В этой глуши  
И покой, и уют  
Тусклым огнем на свече догорают.

Зимняя ночь,  
Может, будет метель  
Или заплачет под окнами вьюга.  
Стукнули ставни, и вихрь пролетел  
Давним приветом далекого друга.

Гаснут огни, будто волчьи глаза,  
Канула в сумрак на взгорке деревня.  
Ночь непроглядна.  
Звезда, как слеза,  
Тихо дрожит среди темных деревьев.

## ВЛАДИМИР ПАРАМОНОВ



### Баллада о матросских ботинках

...И всех, кто был участником парада,  
За месяц до того, как был парад,  
Торжественно построили у склада —  
Святынища учебного отряда, —  
И лично обувь нам вручил начсклад.

И был нам сон — немыслимая роскошь  
{Мол, что за служба — лежа на боку!} —  
И мы с рассвета дружно «тянем ножку»  
И держим строй, и ледяную крошку  
Размалываем в серую муку.

И только строй! И нет нам воскресений!  
И нам с утра, как проклятым, спешить —  
Долбить бетон, как бы задавшись целью:  
Подошвами поднять землетрясение  
И плац до основания сокрушить.

Наш день: от повторенья — к повторенью —  
Чтоб все движенья четки и точны.  
Единственная плата за умение —  
До отупенья пот и вдохновенье...  
Наш пот, а вдохновенье — старшины.

А время шло отдельно, монотонно.  
И вот однажды зло и не спеша  
Шагнули мы — и громом по бетону  
Он прозвучал — единый и огромный  
Державный Строевой Парадный Шаг!

И что там все батальные полотна,  
Ряды в изображении немом,  
Застывшие негусто и неплотно!  
Мы шли — и главным было чувство локтя  
В значеньях переносном и прямом.

Мы выиграли в этом поединке.  
А за день до того, как был парад,  
Мы сдали непарадные ботинки.  
И долго матерщинные поминки  
По ним справлял воинственный начсклад...—

На каблуках железные подковки,  
Подметки и ранты — прочнее нет.  
Внушительный предмет экипировки:  
Мне при спокойной жизни той обновки  
Хватило бы с лихвой на десять лет.

### Молодые

Хорошо пировать молодым нам  
Под задумчивый дождик весны.  
В нашем номере шумно и дымно  
И чины за столом не важны.  
Здесь наставников нет, и беспечен  
Этот шумный веселый народ:  
Не заноеет проклятая печень,  
Да и сердце еще не кольнет.  
Я пока что, его не жалея,  
Окунаю то в страсть, то в тоску.  
И живет оно, кажется, в левом,  
Да, наверное, в левом боку.  
Вяжем речи цветисто и пышно,  
Наших душ воспевая родство,  
Чтобы только свой голос услышать...  
Но не слышит никто никого.  
Распахни свою щедрую душу! —  
Перебью — и свою распахну.  
Словно есть у нас время не слушать  
И не чувствовать в этом вину.

### Девочка и река

Я живу, непривычно счастливый,  
Как в часы ледохода — река.  
Беспощадные волны разлива  
Захлестнули мои берега.

Переполнен весенним свеченьем,  
Я ворожаю грозные льды  
И кажусь себе добрым и щедрым,  
Потому что у берега — ты.

И в подарок — я к берегу двину  
Разноцветную глыбу... И вот  
Ты шагнешь на хрустальную льдину,  
И она — боже мой! — поплывет...

Но как страшно и весело мчаться  
Среди белого крошева льда,  
Задыхаясь от грусти и счастья,  
Никому неизвестно — куда!

Ты стоишь изумленно и кротко.  
Убережь я тебя не смогу.  
Кто-то мечется в поисках лодки  
На разинувшем рот берегу...

И тебя от него не укроешь.  
Весла бьют по воде что есть сил.  
Не спешите, спасатель, на помощь —  
Вас об этом никто не просил...

г. Воткинск, Удмуртская АССР.



**НАТАЛЬЯ  
ДАРЬЯЛОВА**

Наталья Дарьяловой 26 лет.  
Окончила филологический  
факультет МГУ.  
Живет в Москве.

# ТЕОРЕМА ФЕРМА, ВЕЛИКАЯ И ЗАГАДОЧНАЯ

РАССКАЗ

Проекты вечного двигателя Академия наук больше не рассматривает, — сказал он без позы и без рисовки, тихо и доверчиво, в голосе его были искреннее беспокойство, грусть и безысходность, будто он сообщал о смерти дальнего, но хорошего родственника.

Они шли по молодой, мягкой еще траве крутого берега реки, которая недавно очнулась ото льда и теперь с шумом пробовала свои силы.

— И это очень печально, — обратился он к ней, словно ожидая и ее оценки.

А она испугалась, потому что сегодня внимала ему особенно прилежно, но из-за этого напряженного, физически изнурительного внимания почти ничего не разбирала, слова сплывали в непрерывную, возвышенную музыку, которую она даже не слышала, а только чувствовала.

Лишь уловив в этой музыке некий вопрос и возникшую паузу, она испугалась, засуетилась, попыталась придумать что-нибудь очень значительное или хотя бы остроумное, чтобы не выглядеть совершенной дурочкой, какой она себя считала в сравнении с ним.

— ...Хотя и не страшно, — продолжил он на той же ноте, вдохнув немного бодрого весеннего воздуха, будто и не было этой паузы, заполненной ее отчаянием и стыдом, и она поняла, что вовсе не к ней он обращался и не оценки ее ожидал, а просто сделал эту паузу не-

заметно даже для себя — чтобы вдохнуть бодрый весенний воздух и рассуждать дальше. — Хотя и не страшно, — повторил он, как бы по пути думая еще о чем-то, — потому что все великие творили свое великое без разрешения, а часто даже вопреки запрету. И узнать что-то новое о Природе иногда было все равно что заглянуть под юбки королеве — ужасное преступление. Люди, представь себе, нисколько не изменились. Сейчас мы не верим в вечный двигатель, а скажи грамотному жителю средних веков про телефонный разговор из Рио-де-Жанейро, нет, не из Рио — его тогда еще вроде не было, — ну, скажем, из Лондона с Парижем — тут тебя прямо и на костер.

Он запрокинул лицо к яркому синему небу и подумал, что если долго, не мигая, на него смотреть, то покажется, будто оно состоит из множества мерцающих строк, как изображение на телеэкране.

А вслух сказал:

— Знаешь, все эти деревья, и эту речку, и этот высокий берег можно объяснить, изобразить или выразить математически...

Опустил голову и увидел ее губы, сочные и обветренные, как апельсиновые дольки, которые залежались на блюде.

— А можно выразить формулой поцелуй? — неожиданно спросил он и нежно прижался к ее губам.

Она знала, что он даже не подозревает, какой сегодня день: а ведь именно сегодня минул первый год их знакомства.

И потом много лет подряд она отмечала эту дату одна — не в одиночестве, но одна.

На длинном шнуре с давно не ремонтированного потолка свисала лампочка, будто наверху кто-то решил удить рыбу и закинул в их комнату длинную удочку с тусклой электрической приманкой. Лампочка подслеповато мигнула и погасла, оставив неухаженную холостяцкую комнату в сумерках наступившего вечера. Но за окном сразу сделалось светлее, и они увидели соседского мальчика, который за годы их знакомства стал уже юношей.

— Вот и мне было тогда столько же,— неспешно сказал он.

Его руки неумело возились с крутобокой, припавшей специально, к случаю, бутылкой шампанского. Он праздновал десятую годовщину своего знакомства с Ней — не с ней, а с Великой Теоремой Ферма.

Он ерзал на своем колченогом стуле — не любил его, но почему-то оказывался всегда именно на нем.

— Так и теорема Ферма,— сказал он вдруг, обращаясь то ли к ней, то ли к самому себе. Или вообще ни к кому не обращаясь, просто думая вслух.— Считается, что теорема скорее всего доказуема, и найдено тому подтверждение для многих значений « $n$ », но общий случай еще никем не введен, и учебники решительно предостерегают всех начинающих от любых попыток искать это доказательство. В Академии наук письма с предложениями даже не читают.

Она принялась поудобнее устраиваться на огромном кожаном диване, который, кажется, был еще старше, чем сама комната и дом, тоже успевший состариться. Часто она слышала эту историю, и все случившееся он не то рассказывал, не то проживал каждый раз заново, и она проживала вместе с ним, стараясь лучше понять его, приобщиться к нему.

...Он тогда был студентом второго курса биофака, учился легко и подавал надежды. Он любил в одиночестве прогуливать лекции, забредать в пустые аудитории, которые еще хранили, как ночной песок, тепло растворившегося дня, жизнь, волнения и радости уже завершающих уроков; и тонкий аромат поиска, перемешанный с нудным зудом зубрежки; и тайны всего того, что происходило когда-то и еще будет происходить потом.

Он бродил, он что-то искал, хотя сам этого, конечно, не знал и не думал об этом, просто бродил, и все.

И однажды нашел.

В пустой маленькой аудитории с вытертой белой доской.

На доске торопливой рукой было нацарапано:

$$X^n + Y^n \neq Z^n,$$

где  $X, Y, Z$  — целые числа больше 0,

а  $n$  — целое число больше 2».

То есть, повторил или словно бы перевел он для себя, никогда эти традиционные, школьно известные «неизвестные» —  $x$  и  $y$  и  $z$  — в сумме и зет, возведенные в  $n$ -ую степень, не сравниваются, если они больше нуля, а  $n$  больше двух.

И уже в самом низу доски было написано решительно словами и для пущей убедительности подчеркнуто жирной чертой, словно кто-то возвестил толстым, не терпящим возражений басом: «ДОКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!»

Неравенство было совсем простое, и ему показалось глупым, что для элементарного школьного уравнения понадобилось такое громкое, категорическое утверждение-отрицание; может быть, одна надпись наслепилась на другую, первую стерли до этих серьезных слов «доказать нельзя» и сверху написали пустячное уравнение.

И он просто, от нечего делать, без какой-то там сверхъестественной тяги взял маленький, обтесанный до кубика кусочек мела.

«Хм, черт возьми,— подумал он,— какой дурак написал, что это не доказывается? Наверняка такое простое уравнение или верно или неверно».

При этом он размышлял, как посторонний или как человек, который видит на заборе ругательство и

возмущается, но еще не бежит за тряпкой, чтобы его смыть.

«Черт возьми! — повторил он про себя снова это мужественное восклицание, потому что тогда оно ему очень нравилось.— Это ж в два счета можно проверить!» И в руке его появился мел, он подбросил его в воздух, как подбрасывают кубик для игры в кости.

Так белым кусочком мела на перепачканную чернилами ладонь ему пала его судьба.

Проверка и доказательство вдруг оказались очень длинными, но конечный ход явно лежал где-то на поверхности, только надо было до него добраться.

Ему не хватило всех белых листков, что нашлись в общежитии, не хватило дня, вечера, ночи.

Когда за окном развиднелось, он символически провел пятерней по волосам — причесался — и пошел к двери. Потом, занеся одну ногу над порогом, попятился, подбежал к своему столику и сунул в портфель такую же всклокоченную, как он сам, кипу исписанных, вернее, исчерканных листков.

Невыспавшийся и помятый, но странно деловитый, взбодороженный, он направился к декану математического факультета просить, чтобы его приняли на первый курс.

Если б хоть на минуту — да и секунды было бы достаточно — он задумался над тем, что делает, он бы, конечно, не пошел. Но, как человек импульсивный, он принял решение и больше о нем не думал, оно стало объективным обстоятельством, отделилось от него и уже не зависело от его воли и желаний, как снег или дождь.

Появившись в приемной декана, он решительно прошел мимо секретарши, даже не заметив ее, и оказался в святой святых быстрее любого профессора.

Но там за столом сидел не декан, а Трижды Андрич, или Андрей Андреевич Андреев, или Три А, которого знал весь педвуз, простой преподаватель математики, известный ученый без единой научной степени. Он говорил: «Степени — зачем? Единица в степени — все одно единица, ноль в степени — все одно ноль, так зачем?» Строжайший математический декан, его давний друг, разъезжая по командировкам, оставлял факультет только на него, несмотря на постоянный категорический отказ самого Три А, письменно оформленный. Но декан просто уезжал, и все по любым вопросам начинали стекаться к Три А, пока он, скрипя и чертыхаясь, не перебирался в деканский кабинет.

— И когда же это ты решил стать математиком? — спросил Три А.

— Давно.— Ответил твердо, без тени сомнения, ибо был уже непоколебимо уверен, что решение это жило в нем всегда, что он просто странным образом не подозревал о своем призвании до самого вчерашнего дня.

— А ты когда-нибудь всерьез занимался математикой?

— Да.— И он вытащил из мятого портфеля кипу взьерошенных листков.

Математик сразу уткнулся длинным носом в листки, как собака, которая под снегом разыскивает себе на обед непонятно что.

— И давно ты записался в ферматисты?

— Какие ферматисты? — переспросил он, раздосадованный неожиданным отклонением разговора.

— Ну, теореме Ферма давно пытаешься доказать?

— Что за теорема?

— Теорема французского математика Ферма, ее



уже триста лет люди доказывают. Эх ты...— И углубился в спутанные листки, перестав его замечать.

Какого еще Ферма? Это он спросил уже про себя, лениво и сонно, потому что за одну секунду понял всю перспективность, нелепость и глупость своего теперешнего положения, словно проснулся только что, а не сутки назад, очнулся наконец после своей математической горячки, псевдоматематического бреда, окунувшись в ледяную воду этого насмешливого взгляда блеклых голубых глаз, незаметно закачался в такт движениям длинного носа, который продолжал клевать листочки, и ему стало очень стыдно, будто его при всех раздели перед показательной поркой.

Он уже почти попятился к двери, чтобы просто убежать и не видеть этого позора своих ночных математических откровений, но Три А поднял голову, вернее, даже не голову, а просто свои выцветшие глаза, да так и пригвоздил его к месту взглядом.

— Эх ты, математик. Строчишь, строчишь, а даже не знаешь, что доказываешь Великую Теорему Ферма.— Три А усмехнулся в усы, хотя их у него не было, но хмыкнул он так, как если бы усмехался в усы.

А он стоял, бесславно превращаясь в то самое мокрое место, которым обычно пугают, уже пережив стыд и унижение и только мечтая переступить через все это.

Но Три А клюнул последний листок и сказал:

— Ладно, я тебя принимаю на факультет, авось из тебя что-нибудь выйдет. Путное...

Прозвучал звонок, Три А легко поднялся и вышел из кабинета.

А он стоял неподвижно, руки, как перебитые, безвольно висели вдоль тела. Вдруг дверь открылась, и Три А рысцой вбежал в кабинет, что-то борюча себе под нос. Сгреб со стола кучу его неряшливых листков и сказал:

— Но с одним неперменным условием: про теорему Ферма ты забудь, будто ее и не было, а Ферма даже не родился! — И усердно, в два раза порвал исчерканные листки, которые только что с таким вниманием изучал.

А он еще долго торчал в сгустившейся темноте пустого кабинета, потом присел на корточки, аккуратно собрал все исписанные клочки, неторопливо сложил их в портфель и тихо вышел.

Преодолев гулкие просторы этажей, он добрался до той самой маленькой уютной аудитории. Она опять пустовала, и в ней, видно, вчера даже не убрали: на вытертой доске кривлялись обрывки формул, будто сегодняшней день еще не наступил, будто комната законсервировала время, сохранив и соединив формулу, выведенную триста лет назад, и его вчерашние старания. Он вымыл доску и прилежно записал простейшее уравнение  $X^2 + Y^2 = Z^2$ . Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Это знает даже самый нерадивый школьник, который запоминает хотя бы, что пифагоровы штаны на все стороны равны. Как просто, как удивительно просто и очевидно. И потом вывел на доске то уравнение, оказавшееся теоремой Ферма, такое неприязнительное и ясное, без всяких заумных степеней или квадратных корней, и было понятно, что доказательство лежит где-то на поверхности, надо только поискать.

Есть вещи гениально сложные, как, например, Джоконда: ею можно лишь восхищаться, ясно, что написать так, да и разгадать ее вселенскую улыбку никто не сможет. И есть гениально простые, вот «Алиса в стране чудес», читаешь, восхищаешься, и кажется, ну это же до смешного просто, и я так

могу придумать. А на самом деле никто этого повторить не может.

Он отошел на несколько шагов и, счастливый от соприкосновения с этой тайной, залюбовался простым стройным уравнением. Он смотрел на теорему, как нуворши смотрит на первое купленное произведение антиквариата: в этом приобретении олицетворение его победы над миром и в то же время добровольное — хотя, конечно, и тайное — признание собственного невежества и ничтожества перед творением гения.

Вдруг дверь скрипнула, и показался нос, будто сам открывший эту дверь. За носом возник Три А. Взглянув на доску, он сокрушено сказал:

— Ну, так я и знал! Заразился, заболел!

Три А уселся на парту и глубоко вздохнул:

— В семнадцатом веке жил удивительный математик, Пьер Ферма. Он никогда не публиковал своих результатов, и мы о них знаем только из его писем к друзьям да из оставшихся после смерти бумаг. Доказательства этой теоремы найдено не было. Есть лишь том «Арифметики» Диофанта, на полях которого Ферма небрежно записал, что нашел поистине замечательное доказательство, но поля слишком малы, чтобы его уместить. Триста лет самые светлые умы математики пытаются вывести это доказательство, но безуспешно. Известно, существует ли оно вообще. Один немец, большой любитель математики, Вольфскель, в 1908 году даже завещал сто тысяч марок тому, кто докажет эту теорему.

Он стоял рядом, вертел в руке мел и думал, что зря утром так перетрухнул в кабинете декана. По сравнению с тем, что случилось вчера здесь, в этой аудитории, уютной и пустой, целиком заполненной величием и недосказанностью теоремы Ферма, все было мелко и второстепенно.

— Ты представляешь, что тут началось! — Три А поерзал на парте. — Сотни и тысячи людей отправляли целые вагоны посланий, якобы содержащих это несчастное доказательство. Некоторые так заботились о приоритете, что отбывали телеграммы и обещали подробности письмом!

Был поздний вечер, и институт затихал, только за дверью с яростью нагайки свистела мокрая тряпка уборщицы тети Дуся.

— Ну, а после первой мировой, в инфляцию, премия Вольфскеля обесценилась: за три миллиона старых марок давали одну новую марку. Поток писем, конечно, обмелел, но не иссяк... Не только дилетанты и честолюбцы пытались одолеть теорему, серьезные математики годами занимались ею. Но раз до сих пор доказательства нет — значит, нужны еще более мощные и утонченные методы, которые пока неизвестны...

Он быстро посмотрел на Три А, тот отвел глаза, и он понял, что все это время старик изучал его лицо и знал, о чем он думает.

— Даже учебники решительно предостерегают начинающих от попытки искать это доказательство,— сказал Три А медленно, будто обкатывая во рту каждое слово.

— В средние века, наверное, учебники тоже предостерегали начинающих от попытки доказать гелиоцентрическую систему...— недоверчиво взглянул он на математика.

— Сравнил тоже! Это просто проявление гуманности. Сотни несчастных закончили свои дни в тюрьме и одиночестве, увиденные теоремой из мира людей.

— А что если учебник убедит даже не начинать того, кто мог бы ее доказать?

Математик повертел носом, как флюгером, и честно сказал:

— Не убедит. Если человека привлекла не видимость простой отгадки, а волшебная мелодия чисел, если есть в нем такая сила, — Три А воодушевился, и блеклые глаза вдруг засинели, — то эта сила встанет на дыбы и... — Он осекся и виновато отвел взгляд.

Тут дверь открылась, бесцеремонно в узкий дверной проем втиснулась уборщица тетя Дуся, которая не боялась ни самого ректора, ни даже грозного математического декана, а, наоборот, сам ректор и даже грозный математический декан боялись тетю Дусю, знавшую точно, что она без их математики и прочей чепухи век проживет и не плюнет, а они без ее уборки — никогда.

Три А поспешно сполз с парты, а тетя Дуся, вооружившись шваброй, принялась стирать с доски и теорему Ферма, и квадратные уравнения — без разбору.

Все это он рассказал, а вернее, не рассказал, а просто вспомнил в сумерках электрической лампочки, и она вспомнила вместе с ним, как всегда, мягко, нежно ступая след в след его мысли. Уютно устроившись на старом, кое-где порванном, но уже хорошо знакомом и обжитом кожаном диване, они выпили праздничную бутылку шампанского.

А потом уже было поздно, и пришлось решать, уходить ей или не уходить, этот вопрос стоял всегда, много лет, и он никогда не принимал никакого участия в его решении, полностью перекладывая все на нее, и она никогда не могла понять, отчего это: от полного равнодушия, или какой-то внутренней тактики — она больше склонялась к тактичности, хотела склоняться, — или от абсолютного неумения правильно разобраться в сложных земных делах, в то время как у него было столько нерешенных математических проблем, которые требовали полной отдачи, служения бескорыстного и беспрерывного, как будто это была не наука, а дьявол, и он продал ему душу.

Иногда она оставалась надолго, даже на несколько дней, но потом всегда уходила, потому что боялась надоесть или просто помешать.

И возвращалась домой — это было мучительно-горько для нее и мучительно-сладко для матери и отца, особенно для отца: ведь, когда она была дома, он, закрыв глаза или выключив память, мог представить, что она не просто снова здесь, а что она снова его, снова маленькая и счастливая. Надо было вернуться и как-то смотреть им в глаза и о чем-то с ними разговаривать, делая вид, что ничего, собственно, не произошло и не происходит, тогда как эта рана не заживала, и отец не мог ей простить того, что она несчастна. И что он, не по годам крепкий и здоровый, живет без внуков и без всякой надежды.

«На что жениться, коли рожь не годится», — грубо поддуживал отец, пытаясь скрыть и от нее, и от себя эту боль.

Но сама она не считала себя несчастной, совсем нет. Хотя ей было уже прилично за тридцать, она все еще радовалась тому дню, когда молоденькой преподавательницей географии, сразу после института, пришла работать в школу и встретила там его, учителя математики, высокого, рассеянного, с доброй, но ускользающей улыбкой и напряженным, словно несфокусированным взглядом настоящего ученого, великого человека, с которым просто быть рядом — и то удача. Она была счастлива, что может видеть его каждый день, иногда

готовить и стирать ему, слушать его часами и слушать ему так же, как он служит своей Великой Теореме. Не то чтобы она совсем растворилась в его жизни, потеряла себя, нет, она делала свое дело и жила по-своему, сознательно выбрав такой путь и не тяготясь им. Она ухаживала за ним, помогала, как могла, хотя он не особенно в этой помощи нуждался, он ел и пил что придется, одевался как попало и, может быть, никогда не замечал себя в зеркале.

Она и не считала свои действия добрыми делами, это была ее жизнь, приспособленная к жизни другого человека. Такой странный брак — а она, не задумываясь, назвала бы их отношения браком — ее вполне устраивал. Она знала, что у нее нет иной соперницы, кроме теоремы Ферма, и даже не ревновала — ведь глупо ревновать мужа, влюбленного, например, в далекую звезду.

Она считала, что великого человека нельзя отвлекать на всякие мелочи вроде оформления отношений и устройства совместного быта. Она тихо и даже не отдавая себе в этом отчета, ждала своего часа.

А он был страшно, невыносимо занят. Время утекало от него, как кровь из раны; потерю каждого дня он переживал почти физически; все за пределами теоремы и математики было несущественно до степени нереального. Правда, преподавал он с удовольствием, потому что это тоже была математика, пусть и примитивная. Он никогда не следил за классом, не отмечал отсутствующих, забывал ставить оценки. Он приходил, рассказывал и с удовольствием слушал хорошие ответы, не обращая внимания при этом, кто именно отвечает. Ученики смеялись над его отрешенностью, но являлись на уроки исправно, чувствительные старшеклассники влюблялись в него. Он рассказывал о великих математиках, об их жизни, об истории их поисков и открытий, борьбе, мучительных метаниях — и введенный закон или теорема вдруг представляли не пунктами учебной программы, утвержденной Минпросом, а счастливым концом интересной новеллы со множеством приключений. Большинство его выпускников отправлялось на штурм математических и физических факультетов.

Как-то представитель района попросил его поделиться опытом и рассказать, как он добивается таких хороших результатов. Он ответил сонно, глядя в окно и думая явно о другом:

— Учитель немецкого языка в гимназии сказал Эйнштейну: «Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет». Не надо говорить Эйнштейну, что из него ничего путного не выйдет.

Потом посмотрел на часы, пробормотал, что опаздывает, и почти выбежал из кабинета. Представитель выразительно покрутил пальцем у виска, будто решил просверлить дырку.

О своей теореме — своей и Ферма — он никогда не рассказывал ученикам, сам не зная почему. То ли боялся заразить их собственной одержимостью, то ли теорему оберегал, как любимую, от насмешек или равнодушия.

— Пифагор говорил: всё есть число...

Она, как всегда, сидела на диване, поджав под себя ноги. А может быть, она была где-то еще, в школе, например. И еще вероятнее, что говорил он все это не ей и не самому себе, а так, раздумывая, глядя на неизменную кипу листов, заполненных, будто он часами в одиночестве вышивал крестиком, бесконечными иксами, расстрепанную, взъерошенную, полную незавершенности и вопросов.

Математика поражала его своей необъятностью и совершенством, все эти годы он поднимался выше и выше и в разреженном воздухе математических высот вдыхал, как дурмящий запах эдельвейсов, головокружительную красоту и изящество строгих формул. И понимал, что она бесконечна, ей нет предела, что она только расширяется, как Вселенная.

Теорема Ферма была для него математической Джокондой: она смотрела свысока, таинственно и маняще, обещая бездну и в то же время не обещая ничего.

Он относился к ней терпеливо и любовно, как к живому существу, очаровательному и капризному, не познаваемому до конца, вроде дробей в периоде, с которой никто не может справиться, потому что она все дробится и дробится, словно изображение в зеркале, и, сколько ни ставь зеркал, это никогда не кончится, не будет такого зеркала, что вдруг окажется пустым!

Иногда он в безнадежности пинал ногой бумажную кучу, которая нарастала вокруг его стола, и с тоской говорил, что никому теорема не подвластна и он ее не одолеет.

И снова и снова ему казалось, что доказательство лежит где-то на поверхности, что оно гениально просто, надо только его отыскать. И опять приходил азарт, не сравнимый даже с азартом игрока за карточным столом или на ипподроме. Это не было минутной горячкой, когда человек вдруг выходит из берегов, и привычная система ценностей корежится, как горящая бумага, и остается лишь одно: возможность сыграть с судьбой. Не ждать долгие годы, по каждодневным происшествиям гадая, как она к тебе относится, не сводить с ней мелочные счеты, а здесь, сейчас, немедленно, поставив на карту все, что есть и даже чего нет, сыграть по-крупному с судьбой!

Ведь на самом-то деле партнеры за карточным столом играют вовсе не друг с другом — они лишь жалкие пленные, противопоставленные друг другу хитрой судьбой, противопоставленные вопреки разуму, воле, как яркие, глупые, взбешенные боевые петухи.

«Почему, — думал он, — советник парламента в Тулузе Пьер Ферма, на досуге занимавшийся математикой, так интересовался природой азарта и властью случая, почему так упорно пытался взять его под уздцы?»

«Как справедливо разделить ставки в игре в кости между игроками в зависимости от числа выигранных ими партий, если игра не доведена до конца?» — спросил окунувшийся в светскую жизнь Блез Паскаль в письме к Пьеру Ферма. И два светила семнадцатого века с огромными, как простыни, кружевными воротниками и манжетами выдумывают теорию вероятности ради жалкой попытки проконтролировать случай, поймать судьбу за хвост.

Просто и безжалостно она смеется над Паскалем. Он вообразил себя великим? Он собрался закорючками формул отобразить мироздание? А как же чудо?

Чудо постичь нельзя.

Трудно ли переехать мост?

Слепым ноябрьским утром 1654 года Паскаль переезжает мост — обыкновенный, ничем не примечательный мост. Неверный шаг — и передняя пара лошадей сорвалась, а коляска чудом удержалась у края пропасти!

С тех пор за столом Паскалю всегда необходима загородка из стульев, чтобы не видеть страшного змея провала на обресте столешницы.

Больной и разбитый, пораженный чудом, как дряхлый волокита улыбкой молодой кокетки, Паскаль сдаётся. Чудо правит миром...

А Ферма?

Ферма уходит и, пряча улыбку в кружевах воротника, словно изысканный насмешливый поклон, оставляет пылливому потомку небрежно-элегантную заметку на слишком узких полях книги — о том, что он располагает удивительным доказательством.

Или не располагает?

Ловите случай, держайте, получайте свои премии, закусывайте губы при чужом успехе, ну-ка, что там у вас слышно, какова вероятность доказательства моего изысканного уравнения, Великой Теоремы Ферма!?

Почему она названа Великой? Почему именно эта, а не другая? Быть может, потому, что ее никто так и не покорил, не взял, не доказал?!

Или не опроверг?

Кто он был, Пьер Ферма, — просто рассеянный гений, который записал на клочке бумаги свое доказательство, а бумажку унес ветер? Или злой насмешник, заразивший тысячи людей неизлечимой страстью к своей теореме?

Что это за случай, соединивший тот порыв ветра, который унес клочок бумажки в середине семнадцатого века, с его теперешней, нынешней, еще незавершенной судьбой?

И не зря ли он бьется: ведь некоторые другие утверждения Ферма оказались ошибочными?

И тут он понял, что прошло двадцать пять лет. Проплыло Время, задело его холодным телом, как рыба в ночном море, и умчалось навсегда.

У него были хорошие результаты. Даже прекрасные результаты.

После очередной годовщины встречи с теоремой он разыскал Три А и поразился, как это мог так долго его не видеть. Три А жил уединенно, на пенсии. Все такой же высокий, жилистый старик с длинным носом, совсем не постаревший и не изменившийся.

Три А быстро потюкал клювом исчерканные страницы и сказал:

— У тебя очень веские, очень неожиданные исследования. Ты должен обязательно их опубликовать. Здесь матерьялу на две докторских.

Он пожал плечами.

— А ты не пренебрегай! Я, дурак, всю жизнь в вольнодумцах ходил, чистой наукой занимался, говорил, что для единицы степень — ерунда. А это только в математике ерунда, а в жизни...

Он увидел с жалостью, что Три А все-таки очень постарел.

Публиковаться, диссертацию оформлять не стал. Ему нужно было только доказательство.

Да, двадцать пять лет прошло. Ему вдруг стало стыдно и страшно: неужели так и прожил жизнь зря, детей не родил, теорему не доказал?

И почувствовал, что смертельно устал.

— В какой-то миг, — сказал он тихо, — человек сходит с джоржки. Пусть другие бегут дальше...

И понял, что говорит вслух, потому что здесь, в двух шагах от него, на вульгарном кожаном диване сидит она и внимательно его слушает. Он не знал, когда она появилась и что делает, но что-то она делала, она всегда что-нибудь делала, она была для него так же привычна и незаметна, как соб-

*Рисунок В. Скрылева*



стенная рука. Потом она вдруг растворилась в тумане его горьких и усталых мыслей и ушла, или он попросту о ней позабыл.

Пытаясь вспомнить себя за эту промелькнувшую четверть века, он как бы удваивался и утраивался, его память была как бы системой зеркал, отражавших все его лики и возрасты.

Он самоотстранялся и выводил разных себя, как рысаков, на оценку покупателя, но память была неточной и зыбкой, и он не был до конца уверен в справедливости оценки.

И уже под вечер, когда меркнущий день уступал место ночи, в это самое слепое время суток он наконец дошел до себя, совсем маленького, в коротких штанишках с заботливыми бретельками крест-накрест. Он понял, что и тогда это был он, с его надеждами и страхами, неуверенностью в себе и робким желанием быть чем-то полезным, стремлением к чему-то абсолютному, вечному и непоколебимому. Даже когда он играл в песочнице, строил зыбкие крепости из песка и восхищенно следил за взрослыми, которые уже играют в казаки-разбойники и гоняют в футбол.

Тогда, маленьким, он стал задавать вопросы об устройстве мира, и это было признаком роста.

Потом он стал спрашивать себя, что должен сделать сам, и это было признаком зрелости.

И наконец, он спросил себя, что же он все-таки сделал.

И это было признаком усталости.

И когда в момент этой пудовой усталости он вроде бы заснул, а потом вроде бы проснулся, а часы шли медленно, но упорно, как спешащий калек, и нервно подмигивала лампочка от постоянно меняющегося напряжения — ведь и в меняющемся может быть что-то постоянное, а в постоянном что-то меняющееся, — в этой скучной тишине к нему пришло доказательство.

Он взял ручку, быстро записал его, вернее даже, списал, как школьник, с той картинки, которая была у него в уме; не прочитав, положил в конверт, надписал адрес и бросил конверт к двери, чтобы не забыть захватить с собой, выходя на улицу.

Стало легко и спокойно. Теорема ушла от него, как уходит слишком избалованная жена.

А может быть, он просто исторг ее из себя, успокоился и окаменел, как потухший вулкан.

— Потухший вулкан — это вулкан, который еще может вспыхнуть, — услышал он голос из глубины комнаты.

Через две недели, возвращаясь после работы домой, он увидел в своем почтовом ящике письмо.

Войдя в комнату, он положил конверт на стол, а сам сел пить чай. Сидел он, как всегда, очень неловко, на самом краешке стула.

«Может быть, мое стремление доказать теорему, — думал он, — было вызвано просто тщеславием? Лишить ее звания Необычайной и овладеть неприступной красотой вдовой, много лет хранящей верность умершему супругу, покорить ее и вырваться благодаря этому из тенет обыкновенности? Нет. Нет, нет и нет!» В этом он был уверен твердо. Или ему хотелось так думать.

Само по себе оно, конечно, ничего не решало, но так как-то выходило, что эта бумага есть краткая формула его жизни: да или нет.

Он спокойно разорвал конверт, бегло, словно незначительную записку, прочитал письмо и понял, что он и сам это знал, видел несообразность, нелепость в явившемся ему доказательстве, видел ее даже в тот момент, когда писал. Будто обессилен-

ный путешественник в пустыне, увлеченный зрелищем замечательного оазиса, он все же каким-то краешком ума понимал, что видит всего лишь мираж, но отмахивался от этого понимания, пока оно не исчезло совсем.

Это была просто невнимательность, на которую ему осторожно указывали. И вежливо просили больше не беспокоить.

Все удивительно просто. Ветер унес двадцать пять лет его жизни с такой же легкостью, как когда-то, триста лет назад, унес клочок бумаги с гениальным доказательством.

Но это еще не окончательный ответ. Предполагается какая-то реакция с его стороны: неудобно — перед кем?! — отнести ко всему происшедшему спокойно. «Может, повеситься?» — вяло подумал он, ища глазами какой-нибудь крюк. Но потом решил, что это тоже будет крайне нелепо, и вспомнил любимый рассказ матери, тысячекратно слышанный, о том, как его отец, тогда еще не отец, а жених, отвергнутый матерью, повесился. А затем публично заявил, что будет вешаться до тех пор, пока она не выйдет за него замуж.

Он усмехнулся.

Теперь он думал спокойно, как бы со стороны. Значит, получается, что двадцать пять лет его жизни, бесценных, невосполнимых, прошли впустую, вроде как если бы он стоял и поливал водой пески пустыни Сахары, куда он так и не выбрался, хотя в детстве мечтал, и вряд ли уже когда-нибудь выберется. Конечно, можно опубликовать свои путные результаты, которые Три А столь высоко оценил, и подумать о диссертации. Но ему совсем не хотелось в это ввязываться.

Ну, допустим, он будет стараться еще год и тогда найдет решение — что получится: предыдущие двадцать пять лет прошли впустую или нет?

И тогда он понял, что эти годы были как один полный глоток жизни, неведальвивированного счастья.

Молодая трава прорывалась из земли навстречу солнцу, потому что опять шла весна. Но ему было не до того.

Как-то в дверь постучали.

Вошла миниатюрная, очень легкая, изящная женщина средних лет. Она оглядела комнату и увидела, что грязный сугроб из исписанных листков как будто подтаял. Она насторожилась. Всю жизнь она неосознанно ждала перемен, надеялась и боялась их.

Он сидел за столом. Его взъерошенная голова покоилась на длинных согнутых руках, как фотоаппарат на штативе. В его глазах была радость. Сердце ее подскочило и сразу поникло. Он радовался не ей.

— Ты подумай, как интересно! — словно бы пригласил он ее приобщиться к радости. — И как я, балбес, раньше не догадался?!

На столе, будто разваленные кирпичи, лежали тома истории Франции.

— Он же был не только математиком, он был еще человеком!

«В отличие от тебя», — подумала она.

— Мне надо с ним подружиться непременно. Когда люди общаются всю жизнь, им в конце концов надо подружиться, иначе они станут врагами. Я понял. Нам не хватало простой человеческой теплоты. Я приду к нему, приду не как засохший вопросительный знак, а как образованный светский человек...

«Давно бы так, — с осторожной радостью подумала она. — Вдруг оживет?»

— ...и тут мы с ним потолкуем наконец о математике, и, даст бог, я его пойму!

Она поникла.

— Ты погляди, мы с ним, кажется, даже похожи! Вот, нос такой удлинённый, и глаза темные. У меня, оказывается, глаза темные.— Он смотрел на портрет Ферма.— Как ты считаешь, я ему понравлюсь?

«Сумасшедший»,—думала она, глядя на него с любовью и восхищением.

— Знаешь, никому никогда не старался понравиться, а тут, кажется, надо, надо...

— И когда же вы встречаетесь? — поинтересовалась она.

Он старательно причёсывался.

— Сегодня, в двенадцать ночи,— ответил он наконец со смертельной серьёзностью.— Я подумал, что на стыке суток мне будет удобнее к нему перейти. Так ведь и годы стыкуются и века друг в друга перетекают. Я, знаешь, думаю,— он продолжал с нелепой тщательностью прихорашиваться,— время, история— это матрешки. Один век кончается и помещается в другой, побольше, повзрослее, и тот, другой, живет своей новой жизнью, но с предыдущим веком внутри, его куда не денешь.

Он надел свой лучший и единственный пиджак и принялся вытирать пыль с него.

— Потом бьют часы, в шампанском крестят новый век, и старый — опять в него, и так далее.— Он смахивал пыль с полок и книг, и она благодарно оседала на его пиджаке.— Поэтому мы назначили встречу на двенадцать ночи. Плохо, конечно, что не новый век, но до этого долго ждать. Ферма не обидится. Настоящие ученые всегда были чужды духу формальности. Иначе бы они ничего нового не придумали.

— Ну, а меня пригласишь на вашу встречу?

Он был озадачен.

— Конечно, мы... я всегда рад тебя видеть. Но...— он замялся, подыскивая слово,— мне кажется, ты его... недолюбливаешь. И тогда ничего не выйдет.

Она тяжело глотнула воздух. Нет, не может быть, это неправда! Она вслед за ним влюблена в красоту этой теоремы, она мечтает о разгадке, она... она... она... Неужели он прав?

Она не могла признаться себе в этом.

Иначе, иначе, иначе просто не хватит сил, не станет больше сил, не будет больше сил...

Она бодро улыбнулась:

— Ой, я и позабыла совсем. У меня сегодня ночью тоже свидание. С Магелланом и Колумбом. Мы прошвырнемся по Эль Маре Пасифико, заглянем к милым двухметровым патагонцам и изжарим к праздничному ужину шашлык из Левиафана...

Он смотрел на нее темными невнимательными глазами, и она чувствовала, что он ее не видит.

...Ночь скрывала в себе разделенные прямым пробормом волосы Пьера Ферма, тяжелые складки одежды и удлинённое лицо. Белел только большой воротник.

Он перевел взгляд на слившийся с темнотой портрет. Мягкие глаза Ферма с участием смотрели на него.

— Гений, великий гений, я, коленопреклоненный потомок, взываю к вам через века! Откликнитесь! Мне нужно ваше доказательство!

Темные большие глаза наполнились жизненной влагой, заблестели и улыбнулись.

— Какое там доказательство... Спина болит. Ное,

ломит. В парламенте сидел — кой черт придумал эти высоченные потолки и толстые стены! Всю сырость, влагу собирают, точно в подполье. Камин целые стволы жрет, и все равно холодно. А еще говорят: юг, Тулуза... А потом садись в карету — гроб на колесах, ей-богу, и трясись из-за чьей-то глупости. Продует, прострелит спину как пить дать. И — снова-здорово, кресло советника. Это же сиденье не для человека, а для прямогогольника! Поработать для души — времени нет. Раньше спокойно было. Часы на башне редко бьют, лениво. Пока до следующего часа доживешь! А теперь умница Гюйгенс маятниковые часы изобрел, что стало! Маятник бежит, гонит время, точно масло сбивает,— туда-сюда, туда-сюда. Так и померешь — не заметишь...— Взгляд как бы пожегся и нахмурился.

— Какая непростительная лень души! — шепотом сказал он, занятый только теоремой, в испуге, что упустит этот взгляд.— Вы предлагали расписать, разъяснить друзьям свои доказательства, а они не захотели! Надо было бежать, просить, умолять — а они не откликнулись!

Темные глаза засветились лукавством.

— А это я вначале предлагал все объяснить, а потом решил — ни к чему.

— Ни к чему?!

— Знаете, в чем ошибся Прометей и за что его наказали?

— Он украл секрет небес и подарил огонь людям.

— Вот-вот. Медвежья услуга. Огонь должны были добыть сами. Людям нужна сила тяжести, которая придавливает их к земле, чтобы они мечтали взлететь, и сила трения, которая их останавливает, чтобы они хотели двигаться вперед.

— Но небеса часто наказывали именно за дерзость познания. Вспомните Паскаля.

Глаза подернулись печалью.

— Бедный мальчик! Кто мог подумать, что Блез уйдет так скоро и я его переживу!.. Нет, тут небеса ни при чем. Просто таланту нужно мужество. Открывать новое порой бывает очень страшно. Думаете, почему работы Галилея и Коперника поместили в «Индекс запретов», а Галилея чуть не сожгли? Сильно они всех оскорбили. Люди думали о себе, что они — пуп, центр мироздания; такие надежды свойственны чуть не каждому человеку. А тут Коперник заявляет, что не Солнце вокруг Земли, а Земля у Солнца на побегушках. Как здесь не обидеться...

— Но почему же не помочь человеку? Почему вы решили не объяснить свое доказательство?

— Человек не принимает помощи. Вот и от меня не приняли. Так суждено.

— Я бы принял. Я шел за вами. Я пытался понять ход вашей мысли.

— Это, наверное, и было ошибкой. Не нужно отгадывать траекторию поиска другого человека. Ученик, если не сбросит облачения ученика, не станет творцом. Каждый талант создает свою модель мира.

— А как же преемственность научной мысли?

— Она существует. У вас же есть мои результаты. И у Куммера были, и у Эйлера, у Лагранжа, Лежандра, Гаусса — у всех. Математики бились над моей теоремой и делали свои, новые великие открытия. То, чего я не успел или не смог. Это ли не помощь?.. Дерзайте, творите...

Он медленно кивал. Он понял. Теорема была его музыкой, его искусством. «Чем отличается,— думал он, чувствуя, как это новое понимание глубже проникает в него,— произведение искусства от произведения науки? Высшее достижение науки можно



объяснить сведущим людям, продемонстрировать его механизм, и тогда сведущие люди, словно купив патент, могут все повторить. На производство искусства патент не купишь. Атомных реакторов может быть много, Джоконда только одна».

Великая Теорема принадлежала и науке и искусству. Было доказательство или нет — теперь уже неважно. Он должен сам создать свою Джоконду.

Сотворить, а не повторить. Вот ключ.

Глаза медленно растворились в густой темноте.

Наступил час прозрения.

Он понял. Задача Ферма была диковинным цветком, уходившим корнями в самую сердцевину Земли. Он цвел всегда, подчиняясь великим законам сущего, и только триста лет назад открылся взору человека, силой ума причастного величию бытия и потому легкомысленного к своей человеческой кратковременности.

Теперь уже ему, понял он, надо набрать полные легкие космического прозрачного безвоздушья и с этим запасом нырнуть головой в кипящие лавы земного сердца и там, в средоточении причин и следствий, отыскать свою нить, корень своего цветка, больно и терпеливо взобраться по нему из самых глубин до земного шепота весенней молодой травы и тогда обрести право показаться снова цветок людям и объяснить, почему он живет и дышит.

Наконец узнать! Победить!

Но он не хотел беспощадной цепкой рукой сгрести сетку параллелей и меридианов, сгрести наподобие вожжей и погонять скачущую в пространстве Землю. Он хотел смиренно проникнуть, и понять, и уживаться, надеясь на всеобщее счастье, если такое возможно.

Голова его постепенно стала тяжелеть, перед глазами все поплыло — и внезапно мир раскололся, расплескался в его взоре на мириады частиц. Распалось время и пространство, разошлись с невероятным скрежетом, расщепились плоскости, и слепое движение понеслось повсюду.

Теперь Вселенная манила неясными видениями, бурлила темными насыщенными жизненными соками, взвивлялась в его душу.

«Так, наверное, праздновал и Галилей, — думал он, — когда взглянул на небо в первый, созданный только что телескоп. Даже не взглянул. Притянул небо к себе, поманил его пальцем, и оно, послушное могучему разуму, влилось в узкое отверстие трубки с линзами...»

Светало. Все было так просто и так непостижимо. Вселенная улыбалась ему изогнутой многозначительной улыбкой.

И лишь на какой-то неуловимый миг опустила уголки губ и стала серьезной и понятной.

И сразу все исчезло. Но он успел.

Он проснулся молодым и сильным, щедро распахнул окно и взглянул на легкое весеннее небо, подсиненное глубоким колокольным звоном, ветер ворвался в комнату, разметал все, и сугроб исписанных листов растаял.

Там, в глубине ночи, он расстался со своим ученичеством и вззошел в тайну. И теперь Великая Теорема вела его дальше и выше, туда, где еще никто не бывал.

Она, как всегда осторожно, открыла дверь и проскользнула в комнату. Маленькая сумочка сползла с руки.

И вдруг, глядя на убеленный бумагой пол, она поняла, что вся ее жизнь состоит из ненависти, из

страстной ненависти к этой теореме и вообще к математике, и ей захотелось швырнуть зажженную спичку на листки с доказательством, чтобы пламя пожрало всю эту огромную кучу исписанных страниц. И эту опостылевшую комнату с кожаным диваном, которую она за все годы из какой-то ненужной скромности и тактичности так и не решилась привести в нормальный жилой вид, отчего виденные ею в витринах милые безделушки, которые вместе и составляют атмосферу дома, так и остались стоять в витринах, обласканные ее грустным взглядом. И его самого, такого странного, обескровленного многолетним стремлением протиснуться сквозь заросли цифр и формул, такого беззащитного и в то же время такого недоступного, которого она так любила, так ждала и, кажется, уже устала ждать.

Она подумала, что вся эта история с теоремой Ферма была просто изощренным издевательством над ее жизнью. А они оба добровольно возложили свою молодость, силу, желание, право любить и желать на алтарь чего-то несуществующего, абстрактного, сотканного из энергии их же мыслей и нервов, того, что в конечном счете должно было служить им самим и помогать строить собственную, ни от кого не зависящую жизнь!

Ветер свободно гулял по комнате и бесцеремонно перебирал листки. Она опомнилась, спустилась с высот своей ненависти, уже остывшая, обмякшая, но, как всегда, внимательная. И потому даже не заметила, а почувствовала удивительным женским чутьем нечто новое в его взгляде, незнакомое.

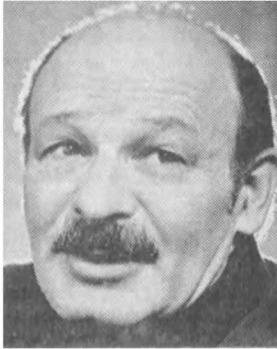
Что-то случилось. Она беспокоилась и боялась за него. Боялась, как за ребенка, как за мечту. Она любила его.

Подняла глаза и увидела. Он стоял к ней вполоборота. Он был счастлив и недосыгаем.

И она поняла. Что соперница победила. И что ей совсем нет места в его жизни.

Она тихо подняла с пола сумочку, повернулась, открыла дверь и ушла навсегда.

ЛЕОНИД  
ЗАВАЛЬНЮК



☆☆☆

Косила красота траву,  
А я, сморчок, сидел во рву.  
Окликнет!..  
Нет, не доживу!  
Косила красота траву,  
Литовка легкая блистала.  
И вдруг приснилось наяву:  
Я вышел, и травы не стало.  
Она была удивлена.  
И, опершись на косовище,  
Смотрела долго сквозь меня  
На даль пустую,  
на коня,  
что уходил треногим скоком  
От нас. И так легко летела  
Ее тоска сквозь мое тело,  
Что я и сам взглянул туда.  
И вдруг увидел города,  
Все, все на свете города,  
В которых жить мне предстояло  
И быть несчастным предстояло,  
И быть счастливым предстояло,  
Но быть красивым — никогда.

Художник

Как легко творит художник!  
Словно песенка звучит.  
Взмах резца и — хлынул дождик,  
Даже слышно, как стучит.  
Птица вырвалась из воска,  
Лица выросли из глаз.  
Раскаленная повозка  
Покаtilась и зажглась.  
Он и лепит, и рисует,  
Льет, чеканит и кует.  
Но томит его рассудок  
Мысль о том, что не поет.  
Все в руках. Одно не дали.  
Был бы голос, черт возьми,  
Уж давно бы люди знали,  
Что такое — быть людьми.  
Он такую песню слышит  
Глубиной своей души,

Что не выразить в полотнах,  
Сколько их ни напиши.  
Он такую песню носит  
В своем сердце много лет,  
Что она могла б собою  
Обновить весь белый свет.  
Где ты, голос! Голос, где ты!!  
И садится он опять  
Песни той далекий отзвук  
Лить, чеканить, рисовать.  
И когда в какой-то мере  
В суть ее прорвется вдруг,  
Мрачно молвит: «Я — Сальери!..»  
И смеются все вокруг.

Детский пейзаж

Как плотно иные живут!  
А я, словно был бестелесным...  
Душою оглянешься:  
Пруд,  
Осока,  
Две утки над лесом.  
А дальше! И дальше они:  
Пруд,  
Утки над кромкой рассвета.  
А где ж мои юные лета,  
А где ж мои зрелые дни!  
Ведь были в судьбе города,  
Леса, океаны, пустыни...  
Пруд,  
Утки...  
Они как застыли  
Над жизнью моей навсегда.  
Я помню,  
Конечно же, помню  
Все годы, весь путь свой земной.  
Но смутно, так, словно все это  
До детства случилось со мной.

☆☆☆

Опять погоня снится.  
Настигнут или нет!  
Бегу,  
Лечу, как птица.  
А ночь густа, как нефть.  
Я топота не слышу,  
Но чувствую спиной:  
Они все ближе,  
Ближе —  
Бегущие за мной.  
Но вижу оком страха:  
Мерцают при луне  
Два призрака, два праха.  
И нет спасенья мне.  
Бегу!.. Слабеет воля.  
И — наземь! И — не встать.  
И вдруг склонились двое...  
— Вы кто!  
— Отец и мать...  
И плачут.  
Ночь бескрайняя.  
И мы сидим втроем  
И сквозь все то, что знаем,  
Друг друга узнаем.

## Тундра

Каменная статуя сидела  
На пустынном берегу морском.  
И пустыми дырками глядела,  
Как глядит гроза перед броском.  
А когда от черного причала  
Беглая звезда оторвалась,  
Вставши в рост,  
Она так страшно закричала,  
Что из крика птица родилась.  
Жизнь легка, но и нежизнь легка мне  
В той природе,  
Где душа моя не ведает границ  
Меж моей землей и той, где обитают камни,  
Камни, извергающие птиц.

## Перекур, 1945 г.

А у отца лицо такое кроткое,  
Такое присмирившее лицо,  
Что мне легко сорить табачной крошкой  
И даже поучать его легко.

Я черным горлодером затынусь,  
Закашляюсь и молвлю вдохновенно:  
— Жить невозможно. Но живи, не трусь.  
Зима и голод. Все обыкновенно.

Я вывезу тебя, не трусь, живи.  
Мне все легко, я вырос в этом голоде.  
Он думает, что это в моем голосе,  
А это все уже в моей крови.

С тех пор я много хлеба съел  
И даже пирогов.  
Но мне, как праздник, всякое даянье:  
Обед в столовой — это пир богов,  
А рубль в кармане — это состояние.

☆☆☆

Упрощается жизнь,  
А душа все сложнее.  
Что к чему подтянуть!

Как великий любитель гармонии,  
Я б в простую телегу вовек  
Скаковых не впрягал бы коней,  
Да никак не пойму в этот раз:  
Где телега моя и где кони.

Едем. Вижу.  
И едем бесспорно вперед.  
Правда, медленно, шагом.  
Трушу! Нет, я не трушу.

Кнут и вожжи в руках.  
Но кого подгонять, кто везет:  
То ль душа мою брентную жизнь,  
То ли жизнь мою вечную душу!

Поэзия

## ВЕРА ВОЛКОНСКАЯ



☆☆☆

Удивление  
Имеет глаза детства,  
как в первый раз...  
как в первый...  
как...

Я видела,  
Как умирал мой отец  
единственный раз  
единственный раз  
единственный...

У него в глазах  
Было — удивление...

☆☆☆

В ту первую ночь  
мне не давали спать мысли.

На вторую —  
друзья.

На третью —  
ты.

Зато теперь  
я сплю хорошо:

Ни мыслей,  
ни друзей,  
ни тебя...

☆☆☆

В перерывах  
Нам не о чем с тобой  
Говорить,  
И мы едим.  
Я, пожалуй,  
Вечером уеду.  
Не хочу быть толстой...

☆☆☆

Почему-то  
Я помню только тех,  
Кто меня забыл...

☆☆☆

Иллюзии — это то, чего нет...  
Уже!.. Или еще!..

НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ

## ПРОФЕССИОНАЛЫ

У. Накануне

ПОВЕСТЬ



ева проснулся рано, в начале седьмого, взглянул на часы, чуть повернулся на бок и закрыл глаза, но Рита тут же откликнулась:

— Тебе сегодня раньше?

— Нормально,— буркнул он.— Спи.

Она обладала каким-то сверхъестественным чутьем. Иногда он просыпался, открывал глаза, лежал неподвижно, и тут же звучал голос жены. На его удивленный вопрос, как это ей удается, Рита пожимала плечами и говорила, будто о естественном. «Ты же, когда не спишь, дышишь совсем иначе». «Может, мне не дышать?» — шутил он. «Да нет, лучше уж дыши», — отвечала она. Такая чуткость и умиляла, и радовала, и раздражала, и утомляла.

И сегодня Рита села, зевнула:

— Встаю. Ольге надо раньше, чего-то они собирают — то ли ржавое железо, то ли старые газеты.

Он, не открывая глаз, видел, как жена кулачками, по-ребячьи, трет глаза, проводит ладошкой по рыжим вихрам и тянется за халатом. Вот бесшумно выскользнула из комнаты, он вытянулся на спине, шумно, безбоязненно вздохнул. Последние дни в их взаимоотношениях наступило похолодание, временами переходящее в заморозки. Лева, в семье человек легкий, иронично-шутливый, почти всегда в хорошем настроении, после убийства девочки больше отмалчивался, и его домашние реагировали болезненно. А что он мог? Как выражаются женщины — поделиться? Рассказав о случившемся, с себя он груза не снимет, а Риту придавит, она женщина, у нее сестренка, начнет видаться всякое! И вообще мужчина имеет право делиться только радостью. Горбы забот и неприятностей он обязан таскать молча.

В квартире звякнуло, брякнуло, послышался грохот, словно вошел взвод солдат. Встала Ольга, понял Лева и постарался переключиться с семейных неурядиц на иную тему, более приятную.

Петр Николаевич вчера... Как это однажды пошутил Станислав? У нас не отдел, а дивизия. Василий Иванович есть, он имел в виду Светлова. Петька есть, назначим Фурманова, заведем лошадей... и шашки наголо. С Крячко отношения налаживаются? Как сказала бы Ольга: фигушки и без масла. Просто трудно сейчас, а Станислав — серьезный мужик, потому терпит и молча пашет. Как только вырвемся, так все и вернется на круги своя. Расстаться нам следует, не моя забота, каким Крячко станет старшим. Пусть Орлов решает, ему за то и оклад, и кабинет, и персональная машина. Так и решим, Петр Николаевич. Вчера Орлов большим казался. Убийцу предстоит задерживать? А мы что? На новенького? Разных задерживали.

Снова на кухне громынуло. Это Ольга напоминала, что существует, и сигнализировала, что в школу еще не ушла.

Опасна при задержании шпана, особенно когда собьется в стаю. Оказавшись в кабинете один, такой супермен зачастую начинает плакать и называет «дяденькой». Ну, конечно, опасны индивидуумы, статья у которых предусматривает и высшую меру. Людям, которые приглашают такого уголовника пройти с ними, следует побережиться.

А девяносто процентов задерживаемых — люди покладистые, они свою статью знают, лишнего им не надо и руку на сотрудника никогда не поднимают.

Рисунки  
В. Скрылева.

Окончание. Начало см. в № 8 за 1986 г.

И чего Петр Николаевич разнерзничался? «Я лучше тебя! Группу я должен вести!» Хватит, сиди в мягком кресле и руководи. Что, майор Гуров не знает дела, не профессионал? Ребят ему дадут локтей, стрелка высококлассного непременно. Моя задача?

Старший группы захвата должен определить время, место и обеспечить ситуацию.

Время и место? Главное и обязательное условие: исключить всякий риск для граждан. Как создать ситуацию, при которой ребята могут незаметно подойти? Существует такое понятие, как отвлекающий фактор. Их еще до рождения Гурова придумано множество, следует лишь выбрать подходящий. Если у старшего голова на месте, то все происходит тихо, незаметно, буднично. Двое мужчин берут третьего под руки и сажают в подъехавшую к тротуару машину. Если начинается возня или уголовник закричал, значит, старший недоработал. А драки, погоня и стрельба — это уже не работа группы захвата, а американское кино.

Когда дверь в квартиру захлопнулась, оповещая, что Ольга отбыла, и люстра в спальне перестала качаться, Лева спокойно поднялся. Вскоре свежеевыбранный, благоухая одеколоном, он появился на кухне.

— Большое спасибо.— Рита выложила на тарелку яичницу.

— Еще большее пожалуйста.— Лева поцеловал жену в щеку.

— Слушай, Гуров.— Рита налила себе чашку кофе, села напротив.— Нам надо...

— Не надо,— перебил он.— Яичница замечательная! Произведение искусства! Как тебе только удастся! Я говорю совершенно искренне, ведь известно, я вру только в крайних случаях.

Проверенный сотнями поколений мужчин, совершенно безотказный прием — или, как выражаются сперативники, фактор отвлечения — не сработал.

Рита ответила в стиле полковника, словно прошла у него курсы повышения квалификации:

— Яичница великолепная, кофе еще лучше,— она подвинула Лева чашку,— поэтому ответь мне, пожалуйста: кем я тебе прихожусь? Я не устраиваю тебе сцен, ничего не требую, просто интересуюсь. Ты мне как-то рассказывал о социальной психологии и ролевом управлении. Я должна знать, какова моя роль в твоём доме? Любовница? Соседка? Приходящая прислуга?

— Ты моя любимая женщина и друг,— серьезно ответил Лева, но тут же не удержался и добавил:— Факт регистрации, штамп в паспорте, твоя постоянная прописка несколько омрачают...

— Хватит, Гуров,— перебила Рита.— Значит, любимая и друг?

— Значит,— признался Лева.

— Ты пятье сутки молчишь, лишь отвечаешь на вопросы и отворачиваешься.— Рита забрала у Лева чашку кофе и отхлебнула.— Я понимаю, работа у тебя секретная, ты не можешь рассказывать все. Но что-то можно? В конце концов не обязательно говорить о работе. Ты приходишь, ешь, спишь и уходишь. Когда ты сидишь рядом, целуешь меня, смотришь вместе со мной телевизор, физически ты существуешь, но ты манекен, ты не человек.

— Только без красивостей,— сказал Лева и не заметил, что голос у него зазвучал, как у майора Гурова.— Мне казалось, ты повзрослела. Жизнь — не игра в «хочу — не хочу», «приятно — неприятно». Учись терпеть.

Рите казалось, что она знает Лева Гурова. Сейчас она увидела его глаза и испугалась.

— В моей работе мало секретного.— Он почув-

ствовал страх жены, тона не изменил, решив, что в ближайшие несколько суток ему нужны все силы, и пусть Рита отодвинется, позже урегулируем.

— Женщина плюнула мне в лицо. Ничего секретного в этом нет. Мой подчиненный, мальчик, потерял себя, я не могу ему помочь. Я сказал. Тебе легче? Терпи. Все проходит. Я люблю тебя.

Лева вышел из-за стола, слегка тронул волосы жены и пошел к дверям.

Петр Николаевич Орлов оглядел группу захвата.

Рядом с Гуровым сидела миловидная девушка в форме лейтенанта милиции, слева от нее громоздились инспектора Виктор Терентьев и Александр Прохоров. Их широкие плечи, могучие шеи, тяжёлые кисти рук, расслабленно лежавшие на расправленных бёдрах, излучали спокойствие и силу. Оба мастера спорта по борьбе — один по вольной, другой по классической, — с точки зрения полковника, несерьёзно молсды. Петр Николаевич пытался отвести их кандидатуры. «Я не на соревнования команду выставляю, мне не действующие спортсмены нужны, а опытные, физически сильные оперативники». Ответ генерала звучал аргументированно: мол, ребята выглядят очень молодо и хорошо, их легко камуфлировать под спортсменов. Орлов согласился, а сейчас, глядя на розовые мальчишеские лица Вити и Саша, вновь засомневался.

Чуть дальше сидел лейтенант, мастер спорта по стрельбе из пистолета Леся Симоненко, длинноногий, худой, даже хрупкий, он походил на студента который существует на одну стипендию. Орлов знал, что Симоненко — оперативник никакой, но входит в сборную страны, вечно на сборах, где кормят его отлично, и чего он такой худющий, непонятно. С пистолетом Леся обращался если не как бог, то как его первый зам по стрельбе.

Молчали. Наконец Петр Николаевич начал:

— Ситуация такова. Сегодня в семь утра, в лесопарковой зоне Сокольнического района обнаружен еще один труп. Убит из того же пистолета марки «ТТ», что и трое... в области. Молодой мужчина, выстрел произведен вчера, примерно около двадцати трех часов, почти в упор. Рядом с рукой трупа обнаружена незажженная сигарета. Следов ограбления нет, убийство немотивированное, есть основания полагать, что парень обратился к убийце с просьбой прикурить.

Он сделал паузу, добиваясь, чтобы все усвоили, с кем придется иметь дело.

— Мы как раз собрались все некурящие,— сказал Симоненко.

Гурову стрелок не понравился: и сидел он в кабинете как-то вызывающе вольготно, улыбочка совершенно не по ситуации, и шутка его нектати. Сказал, желая обратить на себя внимание.

— Я вас попрошу, и вы закурите,— сказал Гуров.

Орлов, следуя своей привычке слышать лишь то, что считает нужным, продолжал:

— Розыск на сегодня располагает лишь одной версией. Петренко Иван Степанович, двадцать девять лет, не работает, стоит на учете в психдиспансере, якобы имеет пистолет. Петренко ищут именно в Сокольническом районе. Когда его найдут, возьмут под наблюдение. И передадут вашей группе.

Орлов вынул из конверта несколько фотографий, протянул Гурову, тот оставил себе одну, остальные передал товарищам. С увеличенной фотографии, переснятой в паспортном столе, смотрел обыкновенный, безликий молодой парень лет восемнадцати, не более.

— Версия о его причастности к убийствам строится на предположениях, непроверенных данных, никакими серьезными доказательствами его вины мы не располагаем. Наличие у Петренко пистолета тоже точно не установлено.

Гуров, который всей информацией уже обладал, слушал невнимательно, изучая лица и реакцию оперативников.

Нина, так звали девушку в форме, нервничала, держала тонкими пальцами жезл сотрудника ГАИ, и майор Гуров чувствовал, как жезл ей и мешает— она не знает, куда его девать,— и помогает: не надо думать о руках, они заняты.

Виктор и Александр, похожие на братьев, хмурились, сидели набывчившись, слушали, казалось, вполуха. Их оперативные сложности не касаются. Пусть покажут человека да объяснят, когда, где и как к нему подойти и куда отвести.

На Леониде Симоненко майор Гуров смотреть не стал. Избалованный парень с норовом и любовью к себе. Таких майор встречал, не любил, но обращаться с ними умел.

— Значит, вы прибыли на место, и вам показали Петренко, вы становитесь главными,— продолжал рассуждать полковник.— Если у него в руке книга, сумка, папка, сверток, то ситуация осложняется. Вы его только наблюдаете, исходя из двух противоположных убеждений. Первое: он убийца-маньяк, стреляющий в приближающегося к нему мужчину. Вы думаете не только о себе, а в основном о нормальных людях, которые ничего не знают и знать не должны. Второе: Петренко больной, одинокий, ни в чем не виновный человек. У вас будет машина с телефоном. Когда вы к Петренко приглядитесь, решим по ситуации. Лев Иванович, задержитесь. Всем остальным находиться в комнате отдыха при дежурной части, можете сходить в столовую.

Петр Николаевич открыл бутылку боржомом, наполнил стаканы, кивнул Гурову, словно пил за его здоровье.

— Конечно, Петренко — далеко не факт, версия шаткая, хотя совпадений многовато,— сказал Орлов.— Как тебе ребята?

— Ребята ладные,— Гуров покивал с видом пожилого, многоопытного человека.— Стрелок, видно, парень избалованный.

— Верно, но тебе с ним не век коротать. Он стрелок! А как тебе старший группы? — серьезно, без тени улыбки, спросил Орлов.

— Майор Гуров? — Гуров тоже задумался всерьез.— Как вам сказать...

— Я тебя, Лева, просил,— перебил Орлов.— Твое «вы», подчеркивает мой возраст и выражает недоверие нашей дружбе. Или мы только начальник и подчиненный?

«А ты тоже, Петр Николаевич, нервничаешь,— подумал Гуров,— многословен стал, сентиментален». — Сам ответил коротко:

— Извини.

— Ладно. Дальше.

— От майора Гурова я тоже не в восторге,— признался Лева.— Излишне спокоен, даже самоуверен, уповаешь на ситуацию, экспромт, серьезной заготовки не имеет, вариантов пока не просчитывает. Как только Гурова друг-начальник отпустит, он займется собой.

— Совет расценивай как приказ. Пока убийца не будет водворен в изолятор, ты свои «извините» и «пожалуйста» из лексикона убери. Симоненко ты правильно одернул, в строгости его держи. Ребят слегка припугни, иначе они станут дремать, ждать, пока ты их за ручку подведешь. А теперь иди, думай, у меня дела.

Терентьев, Прохоров и Симоненко обедали в столовой. Богатыри были сосредоточенными молчунами. Они сидели на легких стульях аккуратно, ели тоже аккуратно; отодвинули пустые тарелки синхронно, взяли по стакану компота одновременно. Неторопливая солидность их движений контрастировала с юношеской розовощестью, которая наводила на мысль, что бредутся они только из солидарности со взрослыми мужчинами.

Леня Симоненко худобой и огромными глазами походил на стрекозу и вел себя соответственно. Он вертелся, жестикулировал, разговаривал с набитым ртом.

— Воистину нет пророка в своем отечестве! Леонид Симоненко!.. Мастер спорта международного класса! Мне аплодировали в Париже, знают на этом шарике, именуемом Землей. Что такое Гуров? Бывалый опер, майор милиции. Таких тысячи, а он мне: «Попрошу, и закуришь»!

— А может, тебе в институт физкультуры податься? — неожиданно спросил Витя Терентьев, вытряхивая из стакана последнюю ягодку.

— За столом не ты один международного класса,— поддержал коллегу Саша Прохоров.— Каждый на своем стадионе чемпион. Сейчас мы на стадионе Льва Ивановича.

— Ну, разговорились! — Леня Симоненко возмущенно взмахнул вилкой.— Верноподданные! Себя ни в грош, его за рубль! Может, вы к нему в группу собираетесь переходить? Там от его характера все навзрыд! Носовых платков не хватает, полотенцами пользуются!

Призывая в свидетели окружающих, Леня оглянулся и увидел Станислава Крячко, который с подносом отошел от кассы. Симоненко, как и многие другие оперативники, знал, что Крячко и Гуров живут недружно.

— Стасик! — Симоненко привстал, махнул рукой.— Ты-то нам и нужен.

— Привет, орлы! — Крячко опустил свой поднос на стол.— Какие проблемы?

— Здравствуйте,— в один голос ответили богатыри.

— Майор Гуров у тебя за старшего? — Симоненко сложил пустые тарелки горкой, отодвинул, освобождая Крячко место.

— С утра был.— Крячко сел.— А что? Сняли!.. Впрочем,— он намазал хлеб горчицей,— его величество Льва Ивановича Гурова нельзя снять, его можно только выдвинуть на руководящую.

Довольный нужной ему реакцией, Леня спросил:

— Он хороший парень, скажи? Ты его любишь?

— Гуров не девка,— буркнул один из борцов.

Крячко лукаво глянул на ребят и занялся борщом.

— Старший группы захвата! — продолжал Леня.— Слышал?

— По Би-би-си.— Крячко подмигнул и добавил в борщ горчицы.

Ободренный столь явной поддержкой, Леня распалился:

— Интересно получается! Каждый из ребят может медведя в рукопашной завалить. Я стрелок — сдесяти шагов в дом не промахнусь. А Гуров? Что он такое умеет, каким уникальным качеством обладает? Ничего лучше других делать не умеет, но его назначают начальником. Он осуществляет общее руководство.— Леня руками очертил в воздухе круг.— Общее!

Крячко откинулся на спинку шаткого стула, взглянул на Леню доброжелательно, с умилением.

— Прав ты, Леонид, просто исключительно! — произнес он ласково.— Ничего такого майор Гуров

не умеет. Но если понадобится, Лев Иванович даже из тебя классного оперативника изготовит. Хотя ты — как это! — Он толкнул от себя тарелку с борщом. — Название, внешний вид и цена, а на вкус — пошло!

— Ты, Стасик!..

— Я тебе не Стасик! — Крячко поднялся, похлопал богатырей по гулким спинам, на Симоненко даже не взглянул, ушел, не прощаясь.

— Ты, Леня, обиду не копи. — Саша Прохоров широченной ладонью прижал тонкую кисть Симоненко к столу. — Нам на одном ковре кувыркаться.

— Мы на тебя очень рассчитываем, — поддержал товарища Витя Терентьев.

Гуров вернулся в свой кабинет.

Здесь его ждал Крячко.

— Я Бориса в район отпустил, — сказал он. — Пусть побегает, зеленый стал.

Гуров лишь кивнул, после разговора с Орловым он все не мог переключиться, сел за стол, попытался вспомнить, зачем снял Крячко с территории и просил приехать.

— Зачем я тебя вызвал? Не знаешь? Я по телефону вчера ничего конкретного не говорил?

— Что-то о личной версии, Лев Иванович, — ответил Крячко несколько удивленно. — Вы сказали...

— Откуда «вы»? появилось? — Гуров невольно повторил Орлова. — Дистанцию устанавливаешь?

— Больно вид у тебя задумчивый.

— Ты Тереньева и Прохорова знаешь?

Крячко пожал плечами, считая вопрос праздным, не ответил.

— Как они? Надежные? Что за ребята? — спросил Гуров. — Отвечай, пожалуйста.

— Я с ними не работал, — ответил Крячко. — Знаю, что спортсмены, что оба женатые. Сашке в прошлом году на подарок собирали, жена родила двойню. А у Витьки супруга на последнем месяце...

— Зачем ты мне это говоришь?

— А зачем ты спрашиваешь? Что ты хотел?..

— Станислав, чего ты такой злой? — перебил Гуров.

— Ты у нас добрый! — Крячко говорил шепотом, хотя и были они в кабинете одни. — Ты меня год за горло держишь и умиляешься своей добротой. Вы, Лез Иванович, целнозолотой. И пробу вам надо прямо на лоб поставить, чтобы все видели и не сомневались.

Странно, но Гурову от язвительных слов товарища на душе полегало, словно гнойник вскрыли, боль еще чувствовалась, но отпускало.

— Загибаешь. — Гуров неожиданно рассмеялся, провел пальцами по лбу. — Не надо клейма, я больше не буду. Есть для тебя дело. — Он отпер сейф, вытащил тоненькую папочку, перебрал на стол Крячко. — Я данной версии название придумал: «Бильярдист». Сколько меня Орлов продержит, неизвестно, а работу с нас спросят. Так что читай, вникай, задавай вопросы и двигай. Я посижу, бумажное хозяйство приведу в порядок.

Гуров вынул из сейфа папки, разложил на столе. Крячко сидел напротив, читал рапорты и справки по версии, которую пытался создать Гуров, заложив в фундамент кусочек мела.

Все это вилами по воде писано, рассуждал Крячко, перечитывая справки. Но, признать, ты, капитан, мелок бы в руки не взял, ямочку на нем не углядел и ничего похожего не придумал.

Из отделения милиции позвонил майор Светлов, доложил, что провел очередной инструктаж участковых инспекторов, спросил, нет ли чего нового.

— Ни порадовать, ни огорчить, — ответил Гуров. — Просьба, Василий Иванович. Позвони мне домой, скажи, что услали меня на несколько дней в тундру. Мол, я звонил, но никого не застал.

— В какую тундру? — не понял Светлов.

— В такую тундру, где нет телефона, и я звонить домой не могу, — пояснил Гуров. — Придумай.

— Хорошо. — Светлов помолчал. — Может, Станислав?

— У него глаза профессионального лгуна. Ты у нас мужик открытый, правдивый. Выполняй.

— По телефону глаза не видно, — сказал Светлов. — Ладно, я тебе перезвоню.

— Насчет лгуна — в мой адрес? — поинтересовался Крячко.

— Нет, в мой.

— Докатались до личных оскорблений.

— Между прочим, писать тебе на лбу я не предлагаю... — Гуров не сумел закончить, зазвонил телефон. — Ну, что она? — сняв трубку, спросил опытный сыщик.

— Она интересуется, теплые носки в тундре не нужны? — ответила Рита. — Неужели у тебя нет никого с голосом поправдивее? Как вы работаете?

— Правдивость нас и губит, — признался Гуров. — Ты моя любимая и друг. Два-три дня меня не будет.

— Хорошо, я подожду. Целую.

— Эх, конспираторы! — Крячко встал, вернул Гурову папочку с бумагами. — Поехал. Адреса я без ваших указаний знаю. Значит, роста, телосложения и возраста среднего. А вы правы, майор, это не такие уж плохие приметы.

Гуров остался один, ему предстояло ждать.

## VI. Ваш выстрел — второй

Улица, на которой группа Гурова приняла под наблюдение Ивана Петренко, не походила на столичную: асфальт на мостовой в трещинах и выбоинах, чахлые деревца вдоль тротуара, облупившиеся безликие дома, на перекрестке ни светофора, ни указателей, хлопающая дверью булочная, табачный киоск. Лишь в дальнем конце улицы, за забором, высывал решетчатую шею башенный кран, поднимая современное здание и дотянув его уже примерно этажа до десятого.

На этой улице в пятиэтажном здании с тяжеловесными балкончиками и жила сестра Петренко. Его самого засекли около шести утра. Петренко вышел из-за угла, не оглядываясь, не суетился, устало и привычно потянул на себя тяжелую дверь подъезда и скрылся в нем. Тут же проверили, нет ли черного хода. Оперативники, обрадованные, что свое нудное утомительное задание выполнили, ждали группу захвата, но полковник Орлов их разочаровал:

— Спасибо за службу, продолжайте наблюдение, вас сменят после десяти. — Он посмотрел на удивленные лица окружающих, усмехнулся. — Человек будет есть, пить, мыться, спать. Гурова и ребят не беспокоить, пусть отдыхают, они еще нахлебаться успеют.

Еще до появления Петренко установили, что его родная сестра Смирнова Лидия Степановна, тридцати двух лет, разведенная, работает секретаршей в стройконторе, занимает однокомнатную квартиру, которая раньше принадлежала ее мужу, он два года назад исчез. Лидия характеризовалась как женщина «совершенно не употребляющая», дисциплинированная, скромная. Появился соблазн вступить с ней в контакт и, не вдаваясь в подробности, просить помощи. Даже сверхосторожный генерал Турилин



сказал: мол, надо подумать. Но полковник Орлов категорически запретил. Они из одного гнезда, и ее реакция совершенно непредсказуема.

Итак, Петренко в дом сестры пришел в шесть утра, в восемь она убежала на работу. К одиннадцати подъехал Гуров с группой. Нина в форме лейтенанта с жезлом в руке встала на нерегулируемом перекрестке. Небольшой грузовичок, из кузова которого торчали лопаты и дорожные знаки, остановился не далеко, но и не близко. Виктор Терентьев и Александр Прохоров в затертой рабочей одежде, которая скрывала их могучее телосложение, выпрыгнули на мостовую и стали придумывать себе занятие. Гуров в «Волге» с шашечками остановился в другом конце малолюдной улицы. Леня Симоненко расположился на заднем сиденье. Он был в форме студента стройотряда, пистолет лежал в специально пришитом внутреннем кармане курточки. В «такси» имелся городской телефонный аппарат. Гуров позвонил Орлову, сказал, что прибыли, и начали ждать.

— Терпения вам, ребята,— ответил полковник.— Он может вообще до вечера не выйти на улицу.— И неизвестно в который раз напомнил: — Не подходить, наблюдать, изучать. Главное, блокировать от случайных контактов с мужчинами.

И глаза у полковника Орлова были не черные, а серые, а сглазил он, накаркал. Ни в двенадцать, ни в час Петренко на улицу не вышел. Гуров начал нервничать, оперативники перегорали, вроде как бы электрочайник включили, а воду в него забыли налить. Засада — слово романтическое, а находится в засаде Гуров никому бы не пожелал.

Петренко появился на улице только в семнадцать тридцать. Он был высок, худ и сутул, шел, чуть приволакивая ступни, и казался значительно старше своих лет.

Гуров вспомнил доклад наблюдателя: правую руку тот держал то ли в левом внутреннем кармане пиджака, то ли на сердце — может, прихватило, — неизвестно; факт, что дверь подъезда он открыл левой рукой.

Сейчас правая рука Петренко была забинтована и лежала чуть ниже груди в повязке, накинутой на шею.

— Больной-то он больной, а соображает,— прокомментировал водитель.— Шарахнет из своей «культи», и вся недолга.

Возможно, он не держался ни за пистолет, ни за сердце, рука у него повреждена, думал Гуров, разглядывая Петренко в бинокль. Больной человек изувечил руку, никого он не убивал, и пистолета у него, естественно, нет. Кто ему руку бинтовал? Он не мог просить сестру упаковать ему руку с оружием...

Петренко подошел к табачному киоску, купил сигареты и спички, довольно ловко вскрыл пачку, прикурил и остановился на углу, раздумывая, куда идти.

Гуров позвонил полковнику.

— Петр Николаевич, у него забинтована правая рука, возможно, камуфляж. Постарайтесь узнать у сестры, бинтовала она ему руку или нет.

— Сейчас сделаем,— ответил Орлов.

Как вопрос, так и ответ прозвучали столь просто, словно можно было позвонить Лиде Смирновой и спросить у нее. Действительно, почему бы не спросить? А если она не бинтовала? Вдруг сегодня взяла Петренко не удачи, и он вернется в квартиру? Не будем пустословить, спрашивать нельзя, узнать необходимо. Но это уже головная боль полковника Орлова. Майор Гуров обязан наблюдать Петренко.

Слабые, вялые движения, замедленная реакция,

рассуждал Гуров, но взгляд быстрый, осмысленный. В бинокль глаза Петренко были видны хорошо. Надо проверить его реакцию на приближающегося мужчину. И, как статисты по команде режиссера, из соседнего дома выскочили два молодых рослых парня и направились к табачному киоску.

— Леня,— сказал Гуров.

Симоненко мягким движением поднял пистолет. Парни, жестикулируя, приближались к табачному киоску. Петренко перешел на другую сторону улицы, было видно, что он не сводит с ребят взгляда.

— Он,— категорически изрек Леня, убирая пистолет.— Видно же, товарищ майор. Он на парней, как бык на красную тряпку, только реакция обратная: бык вперед, а наш клиент назад.

— Похоже,— согласился Гуров.— Но только похоже.

— А как и кто проверять будет?— спросил Леня.

— Понаблюдаем его,— ответил Гуров.

— Он сейчас свернет на людную улицу,— усмехнулся Леня,— и мы его потеряем.

— Это вряд ли,— спокойно ответил Гуров, не обращая внимания на вызывающий тон лейтенанта.

Петренко действительно направился к улице, по которой проезжали троллейбусы и автобусы. Нина села в подъехавшую машину ГАИ. Терентьев и Прохоров вспрыгнули в грузовичок.

Когда оказываешься днем на многолюдной улице, то на первый взгляд кажется, что похожие друг на друга люди бессмысленно шастают туда-сюда, словно муравьи. Известно, муравьи бегают отнюдь не бессмысленно. Если самому не суетиться, то видеть улицу может каждый.

Эта женщина, вероятно, живет где-то рядом, идет в магазин. Двое приезжих тоже ищут магазин... Молодая мама с коляской...

Гуров, наблюдая Петренко, одновременно просмотрел улицу, оценил плотность движения, количество мужчин подходящего сложения и возраста и приуныл. Вроде движется народ, а Терентьев с Прохоровым здесь сразу начнут «светиться». Гуров знал, что, если Петренко — убийца, он улицу чувствует обнаженно остро, замечает на себе даже мельком брошенный взгляд.

Зажужжал телефон, Гуров снял трубку.

— Ты что, скромник, молчишь?— спросил Орлов.

— Хвастаться нечем,— ответил Гуров.— Насторожен, мужчин близко не подпускает. Улица нам не благоприятствует.

— Может, и к лучшему,— пробурчал Орлов.— К сестре послал человека, скоро будет ответ.

Оперативнику замотали правую руку «окровавленными» тряпками, уложили в перевязь на грудь, дали пакет с бинтом. Он вошел в контору, где сидели две машинистки, одна из них была Лидя Смирнова.

— Девочки, родненькие, помогите,— сказал оперативник, протягивая бинт,— бревном придавило.

Если утром Лидя брату руку бинтовала, она обязательно скажет, не может не сказать. Оперативник сунул бинт именно ей.

— Вы бы к врачу, не умею я.— Женщина смотрела на руку и морщилась.

— Что за женщина, мужика перевязать не способна,— недовольно сказал оперативник.

— Слава богу, не война,— ответила спокойно Смирнова.

Вдвоем женщины руку ему кое-как перебинтовали. Оперативник вышел на улицу, через квартал бинты сорвал, бросил в урну, позвонил полковнику.

— Гуров, — произнес Орлов, откашлялся, — сестра руку ему не бинтовала.

— Хорошо, — ответил Гуров, но трубку не положил.

Полковник и майор молчали, а они много могли бы сказать друг другу.

Процент вероятности, что Петренко — разыскиваемый убийца, возрос. И, видимо, в пояске пистолет марки «ТТ», стреляные гильзы которого находятся в НТО. Если пистолет есть, и тот самый, это хорошо. Но было бы куда лучше, если бы он лежал в кармане у Петренко и убийца не держал бы палец на спусковом крючке.

Подожди, пока он не уйдет с людного места, и прикажи прострелить ему правое предплечье, мог сказать полковник. Подобная мысль появилась, старый оперативный работник Петр Николаевич Орлов даже вздрогнул. Устал, черт знает что в голову лезет. Вроде все свидетельствует против Петренко, однако полковник сталкивался и с большим количеством совпадений-доказательств, которые указывали на невиновного.

— Чего молчишь? — спросил полковник.

— Думать вслух не научился, — ответил майор.

— Думай-думай; когда придумаете, позвони. — Орлов положил трубку, не сказав главного: «Ваш выстрел только второй. А первого ты допустить не должен ни в коем случае».

Гуров размышлял о том же, в напоминаниях не нуждался.

Петренко долго стоял в подворотне, прошел квартал по улице, вновь свернул в переулок — видно, знал район хорошо, — через несколько минут он подходил к открытому кафе, которое прилепилось на уголке маленького сквера.

Оперативники заехали в переулок с двух сторон, неподалеку от кафе были магазины, следовательно, и люди. Место показалось Гурову подходящим, он решил попробовать. Прежде чем выйти из машины, Гуров взглянул на Леню Симоненко и сказал:

— Моя задача — не дать ему выстрелить. Твоя — не дать ему выстрелить второй раз. Ты меня понял?

— Я вас понял, Лев Иванович.

Гуров увидел: истончились у стрелка губы, мелко подрагивает подбородок, в глаза парень не смотрит, — и понял, что Симоненко «схватил мандраж». Сейчас он не то что в руку, в дом не попадет. Зря и вчера вечером отмалчивался, надо было его разговаривать, чтобы он до конца понял серьезность предстоящего, перенервничал и расслабился. Теперь поздно, быстро его в сознание не привести.

Вчера вечером в комнате отдыха Леня рассказывал о первенстве, когда от его последнего выстрела зависело «золото», нужна была только десятка, и Леня ее «сделал». Он говорил о психологическом давлении ситуации, о расстоянии до мишени, показывал размеры «десятки». Витя с Сашей слушали с интересом, соглашались: стрельба — более нервный вид спорта, чем борьба. Гуров читал какой-то старый журнал, слушал, злился и молчал.

Одернул бы этого клоуна как следует, объяснил, что человек не мишень и боевую ситуацию не следует сравнивать с соревнованиями.

Ошибся Гуров, промолчал. Сейчас, выходя из машины, понял свою ошибку, но уже поздно. Мы без подстраховки, решил он. Значит, никакого обострения ситуации. Катим пробный шар.

Гуров взглянул на Прохорова и Терентьева. У кого из ребят двойняшки, а у кого жена на последнем месяце? Он не мог вспомнить, взял под руку Нину, которая уже переоделась и в джинсах и простенькой кофточке смотрелась девочкой.

Леня остался в машине; до кафе, около которого стоял Петренко, было метров пятьдесят, не более.

Когда утром он взглянул на подъезд, из которого выйдет Петренко, определил возможную дистанцию, поднял невооруженную руку и увидел цель на кончике собственного пальца, Леня лишь самодовольно улыбнулся. Все так просто; наконец в отделе кончатся оскорбительные разговоры: оперативник Симоненко или заблудившийся в милиции турист?

Эйфория и предчувствие быстрой удачи стали постепенно исчезать. Минуты ожидания вытягивались; Лене стало в машине неудобно, затекли ноги; хотя он пистолет без надобности не доставал, правое плечо наливалось тяжестью, кисть руки деревенела, с каждым прикосновением пистолет становился все неудобнее, уже не прилипал к ладони, а торчал ту-порыло и чужеродно.

Когда Петренко появился, то Леня убедился, что оперативная обстановка разительно отличается от спортивной. «Мишень» время от времени двигалась, ее закрывали прохожие, проезжавшие машины, начали уставать глаза, и, уже совсем неизвестно отчего, начала болеть шея. Петренко хоть и был медлителен, но двигался, поворачивался, часто Леня просто не видел его правую руку. Мысль, что в этой руке зажат пистолет, все чаще приходила Лене в голову. Как Петренко стреляет — неизвестно; случается, и неумеха навскидку в летящего воробья попадает. Я не боюсь, что он мне в лоб засадит, оправдывался перед собой Леня. Если он просто успеет открыть стрельбу на улице, во всем обвиняю меня. У Лени вспотело лицо, он начал искать носовой платок, вытер лоб ладонью. Рукоятка начнет скользить, подумал испуганно он, судорожно вытер руку о штаны, посмотрел в окно и не увидел Петренко. И взгляд-то Леня отвел лишь на секунду, а человек исчез.

Петренко не исчез, сделал лишь два шага и прислонился к растущему у края тротуара тополи.

Гуров так и не вспомнил, кто из оперативников ждал ребенка, а у кого уже двойня, остановил свой выбор на Терентьеве, который был все-таки поменьше Прохорова. Майор завел лейтенанта в магазин, обнял и тихо заговорил:

— Он сейчас подойдет к стойке, там никого нет, он обязательно подойдет. Ты приближаешься и смотришь только на буфетчицу. Понимаешь, только на нее. Если будет желание, опусти глаза вниз, только не на него, в крайнем случае смотри на его ноги. Ты спрашиваешь пиво и «Беломор», покупаешь или нет и уходишь. Все. Не вздумай шутить, Витя. Ты меня понял?

— Что не понять? — Виктор встретился с Гуровым взглядом, часто заморгал. — Я не боюсь, легкий мандраж. У меня перед началом обязательно. Двигаться начну, и все пройдет, — говорил он быстро, успокаивая начальство.

— Молодец. Тебя подстраховывает лучший стрелок страны.

— Добро. — Терентьев вышел на тротуар.

Гуров шагнул следом, посмотрел на машину, увидел в окне вертящуюся голову Лени, выражение глаз рассмотреть было нельзя, но перекошенный рот можно.

И Лева понял, что Симоненко объект не видит.

А Петренко все стоял у тополя, левой ладонью щупал его шершавое живое тело. Хотелось есть, у сестры ничего не оказалось, голод и погнал его на улицу, а то бы спал и спал. Ему не нравился молодой плотный мужик, который за одним из столиков в одиночестве пил лимонад, мусолил папиросу и бессмысленно глазел по сторонам. Петренко ждал,

вновь осмотрел переулочек. Женщины с сумками, пацаны, гоняющие мяч, виделись размазанными, как в пелене. Четко проглянулся высокий мужчина, который подошел к такси. Далеко, не опасно. Еще парень, широченный. Петренко напрыгнул. Этот ближе... Замазанная роба, руки лопатами... Работяга... В мою сторону не смотрит зашел в магазин, вытащил какие-то ящики.

Боковым зрением Петренко не отпускал мужика за столиком.

— Эй! Я тут! — крикнул мужик и зашел через мостовую к вышедшей из магазина тетке с узлами.

Петренко отлепился от дерева, подошел к буфету.

— Мясное есть?

— Биточки с макаронами, — ответила женщина, жалостливо взглянув на замотанную руку.

— Две порции в одну тарелку. Хлеба. Вино есть?

— Нету.

— Я заплачу. — Петренко улыбнулся.

— Ни бже мой! — Буфетчица перекрестилась. — Вы что, гражданин?

Петренко, казалось, толкнули сзади, пахло жаром. Он быстро повернулся, выставил замотанную руку.

С другой стороны улицы к кафе шел работяга. Петренко вцепился в него взглядом. Работяга оказался молодым парнем. Помахивая пустым ящиком, шел вразвалочку, глядел себе под ноги, что-то насвистывал.

Виктора Терентьева слегка знобило, чувство знакомое. Он неожиданно услышал гул зала, механический голос: «На ковер вызываются...» Стало легче, он опустил плечи, расслабился. Чего там майор говорил? Смотреть на буфетчицу? Дудки! Подниму глаза — неизвестно чего увижу. То ли буфетчицу, то ли в его зенки упрусь. Если что, сразу прыгаю ему в ноги.

И всего-то около двадцати шагов, а много чего успеваешь подумать, когда идешь навстречу поднятому пистолету.

Гуров, поняв, что Леня вырубился, переложил пистолет из внутреннего кармана во внешний, навалился на машину, решил стрелять с упора. Но мой выстрел второй, а стрелок я аховый, подумал он.

Петренко еще раз взглянул на приближающегося Терентьева, положил на мокрую стойку три рубля, сказал:

— Я сейчас... — И отошел к бакам с мусором, якобы по нужде.

Терентьев видел удаляющиеся ноги, ругнулся, шально подумал, что догнать Петренко можно в три прыжка.

— Пиво есть? — спросил Терентьев.

Буфетчица оскорбленно отвернулась, глянула снова, увидела какие-то шалые глаза клиента, усмехнулась:

— Горит душа? А вчера, небось, хорошо было?

— Вчера, сестренка, было небо в алмазах, — произнес Виктор слышанную недавно от майора фразу.

— Небо в алмазах... — Буфетчица вздохнула, вынула из холодильника припасенную для себя бутылку минеральной.

— Яхонтовая ты моя, — тянул время Терентьев, копаясь в карманах в поисках мелочи. Волнение исчезло, он чувствовал свою силу и ловкость. И мечтал: только бы тот успокоился и вернулся, я его сверну, как бумажного. Не то что выстрелить, икнуть не успеет.

— С получи отдашь, бриллиантовый. — Буфетчица открыла бутылку, сунула Терентьеву в руку. — У Петровны калымишь?

— У нее. — Терентьев жадно пил прямо из бутылки.

«Чего тянешь? Уходи! — пытался телепатировать Гуров. — Что же ты так светишься, на кого я тебя, дурачка, поменяю?»

Петренко взял тарелку и сдачу, сел за столик и неловко, левой рукой, жадно ел, роняя с ложки, так как смотрел все время по сторонам.

— Ну, как Леня, выпался? — как можно миролюбивее спросил Гуров, усаживаясь в машину и снимая телефонную трубку.

Когда полковник ответил, он доложил:

— Есть основания считать, что да. Однако не факт.

— Молодец, — сказал Орлов. — Объемно, конкретно и сжато.

— Стараемся, Петр Николаевич.

— Удачи! — полковник положил трубку.

«Не заметил! — ликовал Леня, глядя в затылок начальника. — А я уже в порядке, почти в порядке!» И усиленно массировал кисть правой руки.

Петренко бродил по пустынным переулкам, сидел на лавочке сквера, дважды выходил на людные улицы, стоял и возвращался в переулки. Он ничего не искал, никуда не стремился, болтался явно без дела. Приблизиться к нему, не рискуя жизнью, не удавалось. Поведение его объяснялось просто: Петренко забыл ключ от квартиры, уходя за пропитанием, захлопнул дверь и теперь ждал, когда сестра вернется с работы.

Гуров не понимал подозреваемого, нервничал, скрывал свое состояние от подчиненных и от полковника и устал от постоянного напряжения. Главное, не допустить контакта Петренко с посторонним, не дать ему совершить еще одно убийство.

Нина Быстрова, которая поутру стояла на перекрестке с жезлом, не очень понимая серьезность происходящего, устала от безделья. Она ходила по треугольнику Прохоров — Терентьев — Гуров, удивляясь серьезности майора и насупленной молчаливости богатырей.

Терентьев и Прохоров, которых Гуров передвигал с места на место, вскоре стали равнодушными исполнителями. Встань там — стою. Иди туда — иду. Ближе к месту, дальше от него. Перейди на другую сторону, обгони. Пожалуйста, как прикажете. Гуров их состояние чувствовал, понимал, что они теряют остроту восприятия и ощущение опасности, могут допустить глупейшую оплошность, и тогда...

Через тридцать — сорок минут Гуров звонил Орлову, говорить им было не о чем; обменявшись короткими фразами, они опускали трубки, ждали.

Леня Симоненко очухался, нашел себя и, словно актер, определил для себя задачу и сверхзадачу. Он придумал такие обстоятельства. Я нахожусь за рубежом на соревнованиях, приехали на стрельбище, не вызывают, и когда вызовут, неизвестно. Необходимо находиться в кондиции, не дремать, но и не перегорать. Он то сидел в машине, то выходил, гулял, приоровившись видеть одновременно и Петренко, и Гурова.

Хорошее состояние стрелка действовало на Гурова благотворно. Но старший группы не может расслабляться, он находится под постоянным высоким напряжением. Гуров не терял контроля над ситуацией даже во время коротких докладов начальству.

Нина купила десять бутылок минеральной, они пили воду, есть совершенно не хотелось.

Около семи Петренко неожиданно активизировался, шаг его стал увереннее, он будто увидел цель и уже не тащился, а шел по переулку, и видно было, он знает, куда именно идет. Через три квартала Гуров увидел магазин «Вино», обычную сутолоку знакомого контингента.

Тут ему деваться некуда, понял Гуров. У нас верный шанс, здесь он окажется в плотном окружении мужчин, здесь и возьмут его под руки. Все произойдет тихо-тихо, ну, пискнет он, не более того. Забинтованную руку его надо опустить, прижать к бедру; если от судороги выстрелит — плохо, конечно, но пуля идет в землю.

Прохоров и Терентьев оценили ситуацию так же; не убыстряя шага, двинулись по двум сторонам треугольника, в вершине которого был Петренко, около него оперативники должны сомкнуться.

Двери магазина узкие, толчея, невозможно распознать, кто есть кто, однородная, почти исключительно мужская среда.

«Такси» передвинулось, остановилось рядом с другими машинами.

— Как ни мучилась, а родила, — сказал водитель, молчавший несколько часов подряд.

Петренко оставалось пройти шагов тридцать, расстояние между ним и оперативниками быстро сокращалось. Гуров находился на дальней позиции и тоже быстро шел к месту встречи.

Когда Лева был еще мальчишкой, во дворе их дома проживал пес неопределенного цвета и неустановленной породы. Пес был ничейный, жил под домом, кормили его все, и он любил всех и страдал от обжорства и добродушия. У него была одна страсть — гонять кошек. Увидев противника, Дэвик, так вычурно звали пса, превращался в преследователя. Никто никогда не видел, чтобы Дэвик кошку поймал. Однажды Лева стал свидетелем позора всеобщего любимца. Дэвик, по своему обычаю, крутился во дворе, когда из-за сарая вышел серый, обычной полосатой раскраски кот и сел, глядя на окружающий мир с равнодушным презрением, как умеют смотреть только кошки да получившие неожиданное и большое наследство мещане. Дэвик увидел кота, рванулся; казалось, пес способен разорвать на клочки и тигра. Лева открыл было рот, чтобы крикнуть неразумному коту: беги! Кот жмурился, вылизывал лапу. Когда до его смерти оставалось всего несколько метров, кот открыл глаза, поднял лапу и замер. Как Дэвик тормозил! Он выставил передние, сел на задние лапы, подняв облако пыли, сумел остановиться в метре от своей «жертвы». Остановившись, пес встряхнулся, с лживой безразличностью зевнул и стороной, стороной затрусил к сараям по своим собачьим надобностям. Кот, зажмурившись, начал долизывать свою лапу.

Вдруг Петренко шагов за двадцать до входа резко свернул в сторону, прошел вдоль витрины, остановился у облезлого заколоченного ларька и уставился на магазин.

Прохоров и Терентьев тоже изменили направление, разошлись в разные стороны. Гуров задержался на стоянке машин.

Ситуация осложнялась, но за все время была наиболее благоприятной. Нет худа без добра, размышлял Гуров. Чего-чего, а мужиков-то тут хватает. Сзади подошел Прохоров, тихо заговорил:

— Майор, мне надо оказаться на расстоянии вытянутой руки. Я оторву ему клешню вместе с повязкой и со всем содержимым.

Гуров знал: Саша не хвастает. Когда Лева здоровается с ним, то не может не только обхватить протянутую ладонь, но даже не достает кончиками

пальцев до ее края. Если Прохоров положит ладонь на руку Петренко, операция закончена.

— Он хочет выпить, — настаивает оперативник. — Я беру бутылку, подхожу, предлагаю. Он меня прежде не видел...

У Саши двойняшки или только ждет? Гуров посмотрел в молодое, чуть влажное от пота лицо и сказал:

— Действуй, Александр. Мы рядом. — И направился к Лене Симоненко.

Как подстраховать, когда их выстрел лишь второй? Если Петренко пальнет, то Саше будет достаточно. Гуров видел однажды дырку выходного отверстия, которую оставляет в пробитом теле пуля такого калибра.

— Леня, — только и сказал Гуров, садясь в машину, и позвонил Орлову.

Симоненко выскользнул из машины и встал за «жигуленком» так, чтобы видеть Петренко.

Гуров сообщил начальству, где находится, коротко про ситуацию и закончил:

— Через несколько минут попробуем.

Петренко шептался со щупленьким пьянчужкой, дал ему деньги, кивнул на двери магазина. Пьянчужка вошел в магазин позже Прохорова, а вышел с двумя бутылками значительно раньше, прижимая их к груди, будто любимых детей, и засеменил к Петренко. Они пошли в глубь сквера молча, деловито, как идут на работу.

Оперативник называется, подумал Гуров, бутылку без очереди взять не может.

— Жди этого чемпиона, — сказал Гуров водителю, вышел из машины, подал знак Терентьеву следовать за собой.

Они наблюдали, как Петренко с «гонцом» рвали бутылку, когда раздался оклик:

— Граждане! — Молодецкий сержант милиции направлялся к скамейке.

Гуров метнулся ему наперерез и закричал дурным голосом:

— Сержант, стакан есть?

Милиционер остановился, повернулся, от возмущения лишь вспыхнул и поманил покачивающегося Гурова.

— Иди, я тебе налью.

Скамейка за его спиной опустела. Гуров видел, как Терентьев и Леня скользнули за кусты, в сторону переулка, и повернулся к сержанту.

— Извини, командир, я передумал. Завязал. — Гуров поднес удостоверение должностному лицу. — Выпей вечером за свое здоровье! Я как старший по званию тебе сегодня разрешаю.

Петренко вернулся в квартиру сестры, и потянулись минуты, неторопливо превращаясь в часы. Группа захвата ждала. Теперь, когда напряжение спало, всем захотелось есть. Чувство голода проснулось сразу, в желудке защемило, будто оперативники голодали не первые сутки. А всего лишь девять часов назад они плотно позавтракали.

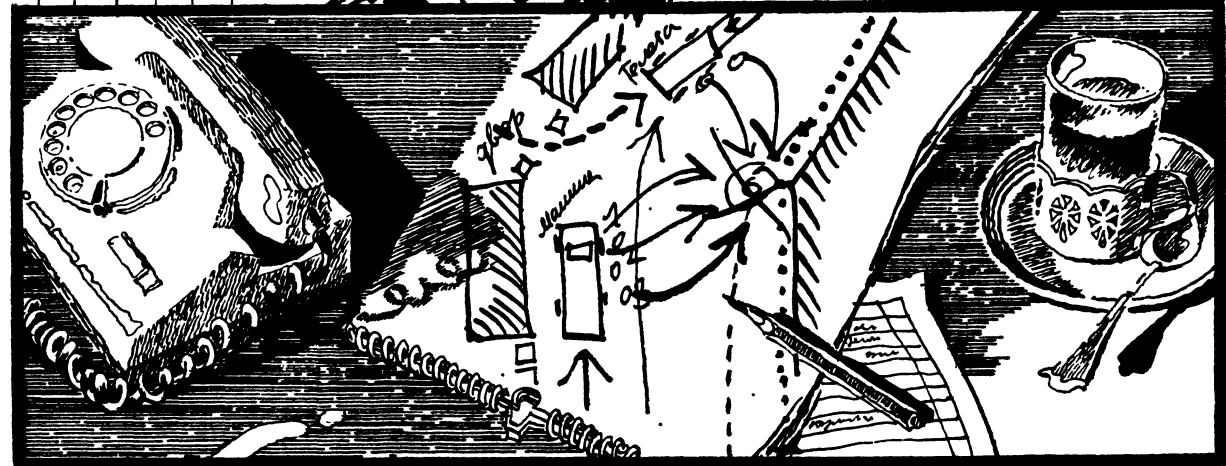
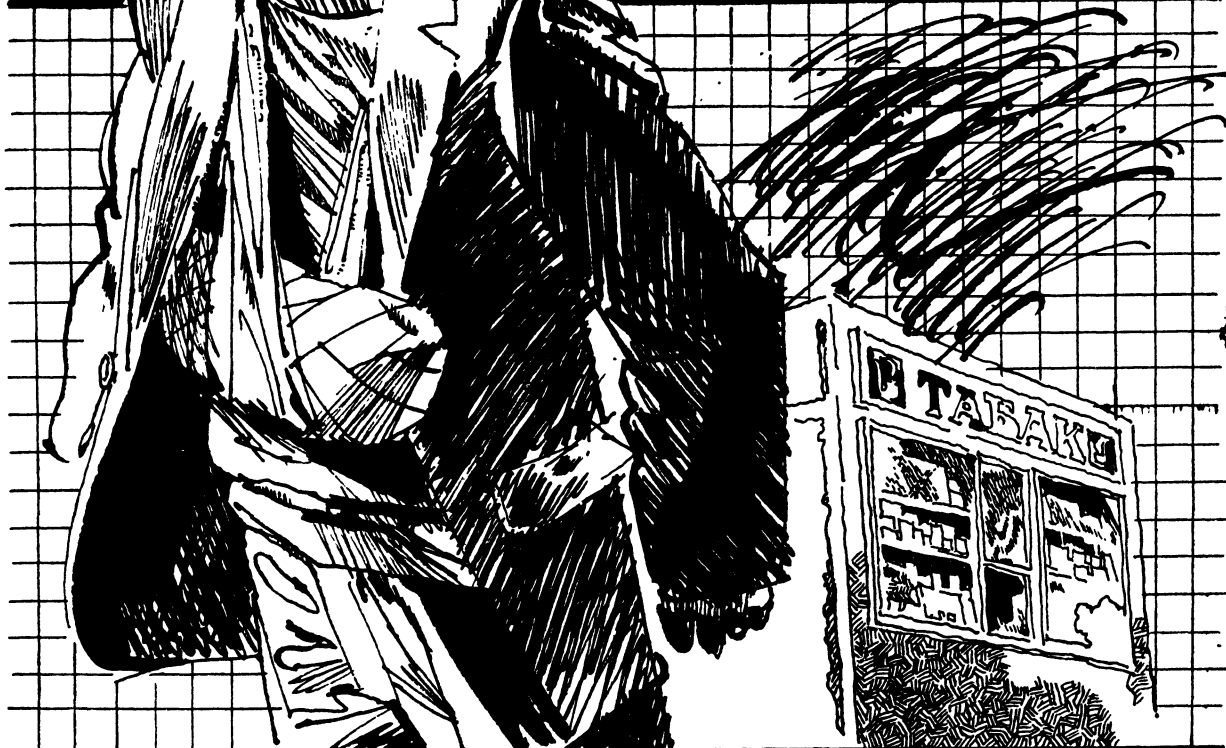
В двадцать два часа группу сменили.

— Если появится, вызывайте! — сказал Гуров, понимая, что коллеги проинструктированы, что он говорит лишнее, оправдывается.

Он был обязан захватить Петренко, истрепал всем нервы, оставил на свободе вооруженного убийцу. Что Петренко убийца, майор Гуров уже не сомневался.

В столовой управления они молча поели. Щи, которые вчера глотались с трудом, сегодня, чуть теплые, вкусно пахли мясом.

Собрались в кабинете Орлова. Настроение похоронное, полковник и не пытался их приободрить, сидел за столом отчужденно, сказал:



— Тимофей Александрович — врач. Выпейте, что вам положено, и отправляйтесь.

Только теперь Гуров обратил внимание на толстого наспуленного человека, который сидел в уголке, держа на коленях чемоданчик.

Врач быстро, но цепко и внимательно осмотрел всех, проверил пульс, давление, что-то искал в глазах, нашел или нет, не сказал, разлил по стаканам остро пахнущую жидкость.

— Прошу, молодые люди, — старомодно выразился он, приглашая к столу.

— Минуточку, доктор, нам снотворное нельзя. Мы можем выехать...

— Люди не глупее вас, Лев Иванович, — перебил Орлов. — Пейте и отдыхайте. А вы, майор, задержитесь.

Когда оперативники вышли, врач сказал:

— Советую девушку заменить.

— Это совет или предписание врача? — спросил Гуров, и голос у него был такой же несмазанно-скрипучий, как у Орлова.

Петр Николаевич неожиданно рассмеялся, врач пожал плечами, обронил:

— Совет врача. — И удалился.

— Тогда я Нину оставлю! — с вызовом произнес Гуров, хотя оппонент уже отсутствовал. — Она устала, но зато задействована в операции. Женщина необходима, а какой окажется новенькая, неизвестно! Чего вы смеетесь, товарищ полковник?

— Над тобой, Лева! Над тобой! Какой же ты все-таки мальчишка! Ребята должны видеть: только майор Гуров для них отец родной, остальные ничего не понимают. Ну, что? Полагаешь, он?

— Полагаю. — Гуров сел, потер поясницу. — А ты, Петр Николаевич, артист.

— Станешь моим замом, научишься. Начальник обязан добиться результата, а не беречь свой авторитет. Если он есть, никуда не денется, а нет, так и оберегать нечего. Значит, полагаешь? Великолепно! И я полагаю...

— «Только к делу это никакого отношения не имеет, — закончил мысль начальника Гуров. — Вы голубчик, обязаны его взять интеллигентно, без «левовредительства».

— Время нам отмерили до завтрашнего полудня. После чего нас с тобой заменят, и делом начнут заниматься другие. Тактика выжидания, поддавливания ситуации себя не оправдала.

— Петренко находился на улице всего час пятьдесят. Наша тактика правильная и единственная, просто у начальства терпения мало.

— И у меня кончается. Давай, майор, приказы не обсуждать.

— Знаете, товарищ полковник... Когда вам хочется, мы коллеги-друзья, когда неудобно, так я майор и «смирно»?

— Лева, — перебил Орлов, — ну нету времени и сил на словоблудие. Существует приказ. Мы с тобой в их креслах не сидели и какие там мягкие сиденья, не знаем. В одном начальство право безусловно: взять Петренко — наша с тобой работа. А до полудня, после полуночи — им виднее, они на горке. Надо придумать комбинацию.

— Я иду спать. — Гуров встал, выпил залпом микростуру. — По моему пониманию, он раньше десяти-одиннадцати из дома не вылезет. Прикажите разбудить меня в шесть, начну думать.

— Спокойной ночи, майор, — Орлов подмигнул.

— Спокойной ночи, Петр Николаевич. — Гуров наклонил голову и вышел.

## VII. Здравствуйте, кто вы такой!

Гуров спал спокойно и крепко, открыл глаза ровно в шесть, за минуту до звонка дежурного, с ясной головой и в хорошем настроении. Врач, видно, свое дело знал. Гурову хотелось сразу приняться за работу, например, пилить или колоть дрова, помахать косой. Он удивился. Человек сугубо городской, Лева к природе относился спокойно. Красиво, конечно, никто не спорит, и воздух другой, и птички... Однако через день-два среди ромашек-лютиков он начинал скучать, крик петуха утром не вызывал умиления, а соловей вечером не настраивал на лирический лад. Гуров стихов никогда не писал.

Через два часа он обязан доложить четкий, конкретный, продуманный во всех деталях план захвата. Гуров сообщил дежурному, что будет у себя в кабинете, Боря уже варил кофе, делал бутерброды, и Лева подумал, что быть даже небольшим начальником не так уж и плохо. В благодарности за заботу он сообщил Боре, что пожарник непременно поймает его с плиткой и снимет с него шкурку, как с перезрелого банана, и предложил из кабинета временно убираться.

Свои размышления он начал, как обычно, с определения задачи. Вчера Гуров уверенно заявил, что Петренко — разыскиваемый убийца. Утром Лева на себя вчерашнего глянул удивленно. Откуда такая уверенность? Факты? Тело участкового обнаружено неподалеку от дома Петренко. Есть основания предполагать, что участковый шел именно к Петренко, у которого якобы видели пистолет. Это не факты, а предположения. Приметы убийцы: высокий, худой, сутулый, — соответствуют облику еще нескольких человек, проживающих на территории Москвы и области. Почему бы убийце не приехать из других краев, где тоже имеются высокие, худые и сутулые мужчины в возрасте тридцати-сорока лет? Таких немного, несколько десятков тысяч наберется. У Петренко неумело завязана рука, на ее конце сильное утолщение? Сестра вроде бы руку не завязывала, а пришел он к ней в дом без повязки. Он нервозен, оглядывается, отходит в сторону, если к нему приближается мужчина. Так, между прочим, он состоит на учете в психдиспансере. Данный факт можно расценивать двояко. С одной стороны, его болезнь объясняет немотивированные убийства. С другой — та же болезнь оправдывает странное поведение.

Все сложить и выбросить в мусорную корзину, решил Гуров. Информации недостаточно, задача не решается. Я должен исходить из двух совершенно противоположных условий. Вести себя по отношению к Петренко, как к невиновному, больному человеку. Задерживать Петренко следует, как вооруженного убийцу, готового стрелять в любого приближавшегося к нему мужчину. Для окружающих риск должен быть исключен полностью, для сотрудников сведен до минимума. Если ошибусь и погибнет посторонний человек, меня уволят. Убитый Витю или Сашу — мне вцепят, на работе оставят, я пойду к погибшему в дом и точно узнаю, у кого жена беременная, а у кого двойняшки.

Лева заставил себя переключиться, начать поиски решения. А зачем, собственно? Тебе русским языком сказано: время твое истекает в полдень. Ну и дотяни до полудня. Придут коллеги, сменят тебя, начнут действовать, рисковать. Ты сможешь ходить с обиженным видом: мол, поторопили, затуркали, скоро все забудется. Работа в розыске чем хороша? Хоть и не на конвейере стоишь, а скучать и дремать

не дают. Навалются другие дела, сумасшедшего, который разгуливал с пистолетом, вскоре забудут. А что касается майора Гурова, — кто ничего не сделал, тот не ошибся.

Разве плохо, если честно перед собой признаешься: да, не по плечу, не поднят.

Кто они — те, что придут, другие? Кто конкретно? Пришлют из министерства? Лучше Прохорова, Терентьева, Симоненко и Быстровой не найти. Заменят на равнозначных. Старшего найдут получше меня. А уже накопленные нами знания о месте действия, понимание, ощущение подозреваемого? Мои коллеги, товарищи, начнут с нуля. Их первый день будет хуже нашего вчерашнего. А Константин Константинович Турилин и Петр Николаевич Орлов? Если будут жертвы, то обязательно определятся и виновные, которые должны нести ответственность.

Гуров взглянул на часы, возмутился. Тут жизнь, можно сказать, прожил, а по их механическому исчислению и часа не прошло. Он отхлебнул приготовленный Борисом кофе, который уже успел остыть и сильно отдавал цикорием.

Все передуманное выбросить в корзину.

Через три-четыре часа Петренко выходит на улицу, точнее, в тихий, очень подходящий для задержания переулок. Необходимо создать безотказный фактор отвлечения и дать возможность Саше и Вите подойти к Петренко вплотную. Рисковать ты, майор Гуров, можешь только собой, вот из этого и исходи.

Что за идиотизм: чтобы задержать подозреваемого — рисковать жизнью? Конец двадцатого века, техника, электроника, человек в космосе, а здесь, как в каменном веке, с дубиной и — кто кого? Как тигров отлавливают? Стреляют какой-то ампулой? Усыпить Петренко, взглянуть, что он таскает под повязкой. Или из окна, под которым Петренко будет проходить, случайно уронить большую тонкую сеть. Он начнет барахтаться, с испугу раза два выстрелит. В переулке ни души, такое обеспечить несложно.

Да, Гуров... Абсолютно правильно смеялся над тобой полковник. О деле надо думать, а не об усыпляющих пулях и сетях. Но дело замыкается на риске. Фактором отвлечения можешь быть только ты, как говорится, лично. А естественный инстинкт самосохранения? Хорошо, сети не подходят, тогда, может быть, яма?

Гуров встал, допил остывший кофе, начал раскачивать по кабинету, рассуждая вслух.

— Отвечь! Как? Чем? Тихий переулок, позднее утро. Он идет, насторожен, готов бежать и стрелять. Его надо удивить, заинтересовать... Разорвать его внимание. Первый выпад должен быть активным, но ложным, затем переключить его внимание, приковать к вновь возникшим обстоятельствам, чтобы он о первом факторе забыл...

В восемь тридцать группа собралась в кабинете Орлова. Гуров начертил план переулка, обозначил место нахождения каждого, объяснил замысел.

— Должно сработать. — Он бросил карандаш на исчерченную схему. — Главное, чтобы мы все передвигались синхронно, точно соблюдая дистанцию.

Гуров рассказал не все, боялся возражений полковника. А потом будет поздно. В крайнем случае всегда можно сослаться на экспромт: мол, он изменил свое поведение в последний момент.

Ребята сперва робко, затем активнее, даже азартно начали план обсуждать, дополняя его деталями. Петр Николаевич молчал, ему предложение Гурова не то чтобы не нравилось, а вызывало недоверие своей громоздкостью. И в глаза Гурова не смотрел, явно что-то недоговаривая. В конце концов это — его право, решил Орлов. И я бы на его месте тоже

имел зачатки, иначе нельзя. А конструктивных предложений у меня нет. Получать «добро» и согласовывать нет времени. Они мои ребята, и я за них в ответе, прикрываться руководящими резолюциями не стану.

— Хорошо, — как-то не начальственно, а по-семейному сказал он. — Лошадь и «Чайку» я обеспечу. Прохоров и Терентьев, отправляйтесь к проводникам-собачникам, возьмите по рваной телогрейке. Ты? — Он посмотрел на Леню Симоненко. — Ты и так хорошо.

Через тридцать минут они выехали. Гуров, сидя на заднем сиденье просторной «Чайки», обнимал Нину, сдерживая зевоту, дремал. Леня, наоборот, вертелся, улыбаясь, рассказывал анекдоты, которые не имели ни начала, ни конца, ни юмора. Перенапряжение и мандраж у каждого человека вызывают разные реакции.

Петренко вышел из дома в одиннадцать часов чetyре минуты.

Он оглядел переулок, равнодушно отметил двух женщин с сумками, мальчишек, гонящих мяч вдалеке, и неторопливо двинулся по тротуару.

Когда за спиной неожиданно громыхнуло, он быстро повернулся. С соседнего двора выехала вислоухая лошадь, затрусила по мостовой, на телеге громоздились бочки. Возница, несмотря на теплый день, был в телогрейке и шапке. С телеги свисали ноги напарника в кирзовых сапогах, сам мужик завалился среди бочек, видно, сильно вчера принял.

Петренко смотрел на лошадь хмуро, недоверчиво, будто впервые увидел, потом, признав, заулыбался, пошел за телегой. Только он успокоился, как за спиной взревел мотор, и в переулок влетела черная лакированная машина, огромная, словно танк. На крыше переплетенные золотые кольца, к радиатору припиlena кукла, которая должна символизировать живого ребенка.

Машина не доехала до Петренко несколько метров, остановилась.

Петренко шархнулся, прижался к стене дома, рука в черной повязке выпятилась вперед. Гуров предвидел, что он испугается, не сразу сообразит, что перед ним свадебная машина, и здесь нужна короткая пауза.

Петренко стоял лицом к машине, спиной к телеге. Прохоров и Терентьев соскочили на землю, возились с упряжью на расстоянии метров тридцати. Несколько секунд, и они рядом, но повернуться на шум шагов и выстрелить Петренко успеет.

Гуров вышел из машины в черном вечернем костюме, белоснежной рубашке и галстуке — словом, жених. Потянулся, дал возможность себя рассмотреть, вывел из машины Нину в белом платье, фате и с букетом цветов. Следом из машины вылез, покачиваясь, Симоненко, на шее у него болтался фотоаппарат, в руках бутылка шампанского и пистолет, который Петренко разглядеть не мог.

— Горько! — визгливо кричал Леня.

Конечно, в одиннадцать часов утра сцена смотрелась фальшиво.

Петренко начал было поворачиваться в сторону телеги, чего нельзя было позволить. И Гуров сделал то, что задумал, но о чем не говорил в кабинете. Он выхватил из рук у Нины цветы, крикнул:

— Догоняй! — и бросился бежать прямо на Петренко.

Гуров умышленно закрывал собой Нину и не учел, что окажется между Петренко и Леной и пистолет стрелка в эти главные секунды становится лишним.



Гуров бежал, опустив голову, и считал шаги. Ему только казалось, что он бежит быстро. Нина догоняла его. А он думал лишь об одном: не поднять бы голову, не столкнуться с Петренко взглядом. Тогда короткое замыкание, и конец. И цветы окажутся, увы, не бутафорией, пригодятся.

Лева на бегу поднял голову, завороченно посмотрел Петренко в лицо и понял: «Убийца!» Гуров видел Терентьева и Прохорова, они были за спиной Петренко в нескольких шагах, но уже не успевали. Убийца поднял руку. Гуров остановился, повернулся к дулу пистолета спиной, поймал в объятия догнавшую его Нину и подумал: «Он прошибет меня насквозь, но пуля потеряет силу, и Нину только ранит».

Петренко не стрелял, медлил — не потому что считал: стрелять в спину подло. Просто вроде бы опасности нет, зачем шуметь?

Гуров целовал Нину в мокрые щеки, прозрачные капельки катились из-под опущенных век. За спиной высоко вскрикнули. Под ноги что-то упало. Он прижал голову Нины к груди, посмотрел вниз, увидел на асфальте пистолет и равнодушно, как сторонний наблюдатель, отметил, что пистолет марки «ТТ».

Подождевший Симоненко свой пистолет сунул в карман, лежавший на асфальте поднял, похлопал Гурова по плечу, сказал:

— Вы все перепутали, это чужая невеста, майор.

Гуров не слышал, он чувствовал себя каким-то раздвоенным, словно сию секунду проснулся. И понимает, что проснулся, и сон еще липнет, держит. Он не видел, как Терентьев и Прохоров внесли Петренко в свадебную «Чайку» и укатали.

А вышедшая из дома старушка заметила и спросила:

— Случилось чего?

— Дружок перебрал маленько, — ответил Леня, открывая дверь подкатившего «такси».

— Свадьба, — старушка закивала. — Совет вам да любовь.

— Спасибо, бабушка, — ответила Нина.

Гуров передал «невесту» Лене, сам впереди. Опасаясь сентиментальных разговоров, сухо сказал:

— Верти баранку, кино кончилось.

— Давно бы так, — согласился водитель. — А то вчера целый день шатались, как неприкаянные. Меня в гараже спрашивают...

— И много в нашем гараже любопытных? — Гуров взглянул строго.

— Да я так, к слову, — буркнул водитель и замолчал.

Реакция Гурова на происшедшее была странной, ему следовало веселиться; может, не смеяться и петь, но уж никак не злиться. Почему он не удержался и посмотрел Петренко в лицо, вызывал «короткое замыкание»? Почему остановился и повернулся спиной? Он не испугался, просто не успел испугаться, повернулся — и все. Позже, при разборе операции, все сочтут его поворот «гениальной заготовкой». Он никогда ничего не скажет, будет молчать. Сейчас он зол только на себя, и куда-то эту злость необходимо девать. Он глянул на водителя, но тот повода не дал, тогда Гуров повернулся и сказал:

— А ты, Леня, вчерашнее запомни. Жизнь не тир, люди не мишени! Ты меня понял?

— Я думал...

— Ты думай, когда тебя об этом просят! — грубо перебил Гуров.

Леня хотел было возразить, мол, думать можно и без просьб со стороны, по собственному желанию.

Что, Леня считал, не заметили его слабости, он благодарен майору Гурову, который никому ничего не сказал, от операции не отстранил. Много чего еще хотелось сказать. Нина дернула Гурова за рукав и тихо произнесла:

— Лев Иванович, не надо. Я вас прошу.

— Извини! — рывкнул Гуров и отвернулся.

До управления доехали молча. Петренко водворили в изолятор, пистолет отнесли на экспертизу.

...В кабинете полковника ни оркестра, ни флагов. Петр Николаевич вышел из-за стола, сказал:

— Молодцы, я и не сомневался. — Подал каждому руку, но не торжественно, а просто уважительно. — Разговоры, писанина — все завтра. Сегодня отдыхать.

В коридорах ничего не изменилось, на скамейках сидели люди, каждый со своей бедой либо заботой. Сотрудники, проходя мимо, кивали, бросая на ходу: «Поздравляю», «Молодцы!», «Отмучились, рад!», «Уверен, пистолетик окажется тот самый».

Виктор Терентьев вышел на улицу, взглянул на часы — скоро двенадцать, — остановился в нерешительности и оглянулся на большое желтое здание управления так, словно покинул родной дом и не знал, куда же теперь податься.

— Витя! — окликнул его Саша Прохоров, подошел и... замаялся. — Ну, по домам?

— Тебе куда? — спросил Саша.

— На Садовое.

— И мне в центр. — Саша указал в обратную сторону.

— Мальчики! — к ним подбежала Нина Быстрова, остановилась растерянно — что-то сказать хотела, да забыла.

Леня Симоненко подошел молча, вздохнул и отвернулся.

Гуров заглянул в свой кабинет. Боря Вакуров что-то писал, увидев старшего, вскочил, начал поздравлять; не встретив ответа, вернулся к столу.

— Василий Иванович в районе, Станислав по старой версии работает, я вот... Сажу.

— Сиди, — согласился Гуров. — Если что, я дома. Не вздумай звонить. — И вышел в коридор.

Утром он позвонил Рите и сказал, что ему нужен вечерний костюм, послал домой машину. Сейчас он силился вспомнить, как объяснил жене свою странную просьбу. Действительно, зачем в восемь утра может понадобиться вечерний костюм? И говори-ли-то совсем недавно, а вспомнить Лева не мог. Насочинял, наверное. Сколько раз убеждался: не ври, правду скажешь — не забудешь. Сказал бы просто: нужно для работы, и не вдаваться в подробности. Может, так и сказал? В сегодняшнем утре зияла дыра, он ничего не помнил. Вчерашний день мог восстановить с мельчайшими подробностями. А вот сегодняшнее утро — хоть убей! Так, начнем по порядку. Проснулся в шесть и думал, думал... Мысли разлетелись, во рту появился вкус остывшего кислого кофе... и, минуя несколько часов, Лева сразу оказался в машине, увидел переулочек и выходящего из подъезда Петренко.

— Лев Иванович, — Нина взяла его под руку. — Мы здесь, стоим, ждем...

Он не заметил, как вышел на улицу, теперь смотрел на свою группу, ребята смотрели на него, и никто не знал, что делать и говорить.

За углом у Левы стояла машина, он не пошел к ней, сказал:

— Ну, раз стоите, ждете и делать вам нечего, пошли меня провожать.

И они пошли по бульварам в сторону Никитских ворот, по любимому маршруту Левы Гурова.

Группа захвата шла неторопливо, изредка обменивались репликами, останавливались, помолчав, шли дальше. И говорить не о чем, и идти некуда, и расстаться трудно.

Гуров вышел из лифта у дверей своей квартиры, сунул было руку в карман, понял, что в этом костюме ключей нет и быть не может, взглянул на дверь грустно. Рита в университете. Ольга в школе. К ней ближе, решил он, и нажал на кнопку звонка. Просто так, подводя итог своим размышлениям... Он шагнул уже к лифту, когда дверь за спиной открылась. На пороге стояла Рита.

— Ты почему дома? — спросил Гуров, входя в квартиру.

— Звонил твой начальник, приказал никуда не выходить, ждать. — Рита с любопытством оглядела мужа. — Там зачем тебе с утра этот костюм?

— Надо было сфотографироваться. — Гуров бродил по квартире.

Рита следила за мужем настороженно, словно ожидая, что он сейчас начнет бить посуду и ломать мебель.

— Ольга где? — спросил Гуров.

— Не скажу, — ответила Рита.

— И правильно, — согласился он.

— Ты голодный?

— Не знаю, дай чего-нибудь.

День прошел бестолково, уныло. Лева лежал на диване, пытался читать, дремал, снова листал книгу и опять дремал.

Ольга ворвалась в квартиру, пронесся победный клич, но тут же оборвался. Она зашла в кабинет, чмокнула Леву в лоб, как покойника, пробормотала:

— Занята, дел просто ужас, — и исчезла.

Вместо ужина он машинально проглотил подsunутые ему Ритой какие-то таблетки, посидел напротив телевизора и лег спать.

Сначала он заснул, потом, открыв глаза, не зная, сколько прошло времени, слушал ровное дыхание жены. Память ничего не вытаскивала на поверхность, не будоражила, он вытянулся на спине.

— Я говорила, что надо поесть, — неожиданно сказала Рита, поднялась, включила в кухне конфорки, поставила суповую кастрюлю, чайник.

Лева не попадал в рукава халата, наконец надел его, шаркая, прошел на кухню, сел, кутаясь и ежась, словно старый, больной человек. Надо сосредоточиться, скомандовал он себе, о чем-нибудь говорить, я будто неживой.

— А что в кастрюльке? — спросил он.

— Курица.

— У меня очень плохой характер? — спросил он, не сомневаясь, что характер у него отличный.

— Плохой? — Рита задумалась.

Леве не хотелось слышать о себе лестные отзывы, он отвлек жену от размышлений вопросом:

— Значит, Петр Николаевич тебе утром звонил? Что же он сказал?

— «Лев Иванович, — то есть ты, — пояснила Рита, — придет домой около тринадцати часов. Будьте, пожалуйста, дома, не обращайтесь на него внимания». Интересно? — Она налила в тарелку бульон, положила кусок курицы. — Чем вы, собственно, там занимаетесь?

В этот момент Лева подносил ко рту ложку, воспрос жены подтолкнул память, выплыло лицо Петренко, небритое, осклизшее, застывшие глаза. Лева показало, что его остро ударили поддых, он уронил ложку, выбежал из кухни.

Потом он долго чистил зубы, причесывался, протер лицо одеколоном, всячески оттягивая возвра-

щение в кухню и встречу с женой. Почему-то вспомнилось, как он в детстве, провинившись, сидел в ванной, не желал выходить.

— Я пошла спать, — сказала за дверью Рита. — Все-таки поешь и выпей чаю.

Он подождал, пока ее шаги не затихнут, и выбрался из ванной.

## VIII. Профессионалы

Эксперты установили: все убийства совершенны из «ТТ», который изъяли у Петренко.

Убийцу забрали к себе врачи, через сутки сообщили по телефону, что официальные бумаги готовятся, но в ближайшее время допросить его не удастся.

Гуров знал: пройдет несколько дней, и его вызовут к ответу по делу об убийстве девочки. Работа по версии «Бильярдист», казавшейся очень перспективной, пока ничего не давала.

Гуров попросил коллег собраться к девяти, сам пришел раньше, чтобы перехватить полковника до начала рабочего дня.

Поздоровавшись, Гуров торопливо сказал:

— Забирайте у меня Крячко, дайте ему группу. Сейчас не время, и завтра будет не ко времени.

— Я думал о том, как вы брали Петренко. — Орлов словно продолжал ранее начатый разговор. — Да, ты промолчал третьего дня, всю ответственность и риск взял на себя. Отдаю должное твоему мужеству, но похвалить не могу. За твою смерть ответили бы другие. Жена твоя, племянница, которую ты вроде бы удочерил. Они тебя любят. Константин Константинович ответил бы, а ты, кроме добра, от него ничего не видел. О себе я не говорю, ты Петра Николаевича Орлова никогда особо не ценил. Вы свободны, майор.

Орлов пошел к столу, даже не взглянув на Гурова.

— Спасибо, Петр Николаевич, — пробормотал Гуров и ошарашенный вышел из кабинета, забыв, зачем, собственно, и приходил.

Пока Гуров выяснял взаимоотношения с начальством, его группа решала свои проблемы.

Рано утром, когда, кроме дежурного, еще никого не было, Боря Вакуров вырвался из объятий дивана, подушку и одеяло в шкаф, быстро оделся, включил плитку, начал готовить завтрак и размышлять, как бы ему достойно выбраться из ловушки, в которую он себя загнал. Боря устал, диван был неудобный, хотелось домой, он соскучился по маме с папой, даже по сестре соскучился. А о бабушке и говорить нечего. «Наука мне на всю жизнь. Бесчеловечно ведет себя Гуров. Слово это нормально, что я тут...»

— Бориска, привет! — В кабинет заглянул Станислав Крячко.

— Здравия желаю! — обиженно буркнул Вакуров. — Если вы сейчас скажете, что пожарники меня оштрафуют, я запущу в вас яйцом. — Он убрал плитку, взглянул на Крячко вызывающе.

Станислав не собирался задерживаться, но представился случай развлечься, он степенно вошел в кабинет и ответил:

— Если крутым, то валяй!

Тут же пришел майор Светлов, молча пожал молодым руки, хлюпая носом, уселся за стол Гурова, достал платок, трубно высморкался.

— Ты долго так собираешься? — Он указал на разложенную еду.

— Действительно, — возмутился Крячко. — Ежели каждую операцию хирург начнет проецировать на себя, мы очень быстро останемся без хирургов. Они вымрут.

Боря взглянул на товарищей с благодарностью, в глазах у него зашипало.

— Какой толк в твоём мальчишеском подвижничестве? Ты, Боря, должен отгородиться, встать над ситуацией.

— Не могу, — искренне ответил Боря.

— И плохо, ты должен быть рассудочен и холоден, только тогда...

Станислава прервал Светлов, чихнув несколько раз.

— Значит, я прав! — не унимался Крячко. — Вот, Василий Иванович, скажи кадету, как на нашей службе до пенсии дожить.

— Балабол! А еще старшим хочешь стать! — не поддерживая шутивого тона, серьезно сказал Светлов.

— Чапаев, обижаешь! — Крячко хорохорился, но как-то потускнел.

— Вот Гуров... — Светлов хмыкнул, посмотрел на Боря и Станислава вопрошительно. — Вроде молодой? А его слушать охота.

— Понял, — Крячко кивнул. — Если с кем в атаку или в разведку, я тоже бы Гурова выбрал. Но понимаешь, Чапаев, с атаками и разведками давно пора кончать.

Гуров вошел быстро, почти бесшумно.

— Здравствуйте, — заговорил он быстро. — Шумите? Заговор? Когда флибустеры были недовольны капитаном, то вздергивали его на рее. Пока я живой, будете меня слушаться. Ты, Боря, свою вахту на диване кончай. Спи в собственной постели, ты мне нужен свежий, а не замученный!

Светлов, одобительно кивая, уступил Гурову место за столом, Крячко ухмыльнулся, а Боря, только и мечтавший, чтобы ему помогли, взерошился.

— Вы Тилия Уленшпигеля читали? — вызывающе спросил он.

— Мог и не читать, — ответил Гуров. — Пепел Клааса стучит в твоё сердце? Что стучит, это хорошо. А что дыхание у тебя короткое — плохо.

Последнее время Гуров порой щеголял в разговоре спортивной терминологией.

— Мы с преступниками не наперегонки гоняемся! Все! Профсоюзное собрание закончено, я приказал, ты — выполнил.

Светлов из-за стола вышел, а Гуров не сел, поднялся и Боря, Крячко стоял у стены. Кабинет был небольшой, и они вчетвером чуть ли не толкались. Гуров первым оценил комизм ситуации, рассмеялся.

— Ну, ладно, коллеги. Дружно выдохнули, сели, попробуем жить дальше. — Он занял место за столом.

Крячко и Светлов разместились на диване. Боря хмуро опустил на свой стул.

В кабинет заглянул Симоненко.

— Баллистическая экспертиза подтвердила: пистолетик тот самый. Поздравляю.

— Знаю, — Гуров кивнул. — Петренко врачи забрали.

— Человек родителей не выбирает, — сказал Боря.

— Давайте разберемся в своих бумагах, что требуется — опишем, наведем порядок. Серьезное дело у нас одно. — Гуров перевел взгляд на Крячко. — Станислав, честно, ты считаешь версию «Бильярдист» перспективной?

— Я в подхалимах не хожу, — ответил Крячко. — Версия ваша, — он кивнул, — не блеск, надуманная, притянута, но на сегодня единственная. Надо работать. В чем вы правы, так это в оценке имеющихся у нас примет преступника. Я как-то ранее не задумывался, что мужчин среднего роста, возраста, телосложения не так уж и много. Стоит присмотреться, каждый чем-то выделяется. Я бы в бильярды Бориса запустил... — Крячко задумался. — И вы сами, конечно, по этой линии должны работать. А Станислава Крячко я бы от работы по делу освободил.

— И что бы ты поручил Станиславу Крячко? — улыбаясь, спросил Гуров.

— Парня, которого мы за недоказанностью освободили, — ответил Станислав, — кажется, Ветрин Сергей Семенович. То дело мы паршиво прозели, хвосты оставили, где-то пистолет в группе болтается. Раз пистолет есть, значит, он в конце концов выстрелит.

А ведь он прав, думал Гуров, я недорабатываю, перескакиваю, тороплюсь, все сам хочу ухватить. Будто, кроме меня, оперативников в отделе нет.

— Возможно, ты и прав, Станислав. — Гуров помолчал, взглянул на товарищей. — Ты как считаешь, Василий Иванович?

В розыском деле удача — фактор далеко не последний. Когда она появляется, почему прячется, даже самые опытные оперативники не знают. Но именно в этот момент, когда группа Гурова безнадежно заходила в тупик, раздался телефонный звонок. Гуров снял трубку неторопливо, по обязанности.

— Дело по несовершеннолетней...

— Говорите! — Гуров поднял руку, словно призывая присутствующих замолчать.

Голос был неуверенный, извиняющийся:

— Участковый Калюшин. У школы я стою. Каждый день стою, примет не имею... Ходит тут один, может, ждет кого... Не пойму.

— Хорошо. Вы молодец, инспектор. Адрес. Сейчас приедут. Глаз не спускать, но не подходить.

Гуров записал адрес. Боря Вакуров рванул дверцу сейфа, выхватил пистолет. Светлов поднялся с дивана, преградил Борису дорогу.

— Крячко и Светлов. — Гуров протянул записку с адресом. — Станислав, задерживаешь ты.

— Я! — крикнул Вакуров. — Должен я!

— Сядь! — прошептал Гуров. — Все еще на воде вилами писано. — Он вышел следом за Крячко и Светловым, жестом остановил.

— Станислав. — Гуров смотрел ему в глаза. — Если это он, а ты сработал плохо?.. Может, мне самому?

— Я сделаю его, — ответил Крячко.

И хотя Гуров знал: либо Крячко для этой работы годится, либо нет и словами помочь сейчас невозможно, — сказал:

— Его надо развалить там, на месте. Ни на секунду раньше, ни на секунду позже, и до конца! Размазать подонка и привезти сюда.

Крячко уже ничего не слышал, он молча кивнул и бросился к лифту, где его ждал Светлов. Когда Гуров вернулся в кабинет, Боря, размахивая пистолетом, закричал:

— Он мой! Мой! Вы безнравственны!

Гуров толкнул его на диван и прошел на свое место.

Ну, что же, Станислав, я тебе дал старт. Гуров перекладывал бумаги, не знал, куда девать руки. Научиться, что ли, курить? Он нашел в столе пачку сигарет.



— У тебя есть спички?

— Я вас очень не люблю, товарищ майор,— тихо сказал Вакуров.

— Я и говорю, у тебя короткое дыхание.— Гуров отыскал в ящике спички и неторопливо, чтобы не видно было, как у него дрожат руки, закурил.— У нас есть три человека, которые видели, как мужчина от школы уводил ту девочку. У всех имеются служебные телефоны.— Он указал на аппарат: — Соединись, предупреди, пусть ждут нашего звонка.

Вакуров сидел неподвижно, сжимая в руке пистолет.

— Встать! — Гуров хлопнул по столу ладонью.— Положить оружие в сейф!

Борис подчинился, словно под гипнозом.

— Сейф запереть! Ключ положить на стол! Сесть к телефону! Выполнять!

— Вы все коростой покрылись, не людьми стали,— бормотал Боря, листая документы в поисках нужных телефонов.— На совещаниях о нравственности выступаете!

— Тебе дома следует жить, с мамой и папой, а не в кабинете. Смотрю на тебя, вспоминаю, каким был в твоём возрасте. Надо у генерала Турилина спросить, неужели и я тоже хамил старшим? Нервничал, язвой точно был, не отрицаю, но чтобы хамил?

Гуров смотрел на Бору с любопытством, действительно вспоминал. Двенадцать лет прошло. Когда старшие говорят: «Я этих лет не заметил», — не веришь. Как можно десятилетие не заметить? Начинаешь вспоминать — прошлое растягивается, становится наполненным и объемным. Если, увлеченный днем сегодняшним, оглянешься быстро, прошлого не видишь, вроде его и не было.

Гуров слушал телефонные переговоры Бориса невнимательно, решая: всыпать парню за хамство или сделать вид, что ничего не произошло. Конечно, работать, Боре трудно. За свою жизнь в розыске Гуров с таким преступлением встречается лишь второй раз. Но убийство — всегда в принципе патология.

Гуров подвинул настольный календарь, записал: «Встретиться с врачами, узнать о Петренко. Болен? Причины?»

Машина, в которой ехали Крячко и Светлов, включила сирену и заняла левый ряд, однако время все равно шло.

Светлов посмотрел на коллегу без ревности. Пусть Станислав младше по званию и возрасту, опыта у него меньше, однако ему жить и работать, как говорится, ему и карты в руки.

Хотя Крячко плохо слышал последние наставления старшего, но ситуацию понимал отлично. Есть три свидетеля, готовых опознать мужчину, который увел девочку от школы. О трех свидетелях можно только мечтать, а тут они есть. Однако, с точки зрения прокуратуры и суда, свидетели эти ничего не стоят. Что они видели? Да, скажут они, вы видели, как этот человек увел девочку. Позже ее нашли мертвой, и экспертиза установила время смерти. И что? Почему «увел»? Они вместе ушли. И за ближайшим поворотом расстались.

— Не разворачиваться,— сказал водителю Светлов.— Лучше мы лишнее пройдем.

Они выбрались из машины, пересекли шоссе, до школы оставалось метров двести. Крячко увидел одинокую фигуру участкового, который махнул рукой в сторону лесопарковой зоны, что начиналась сразу за школой.

— Ты чего стоишь? Ты в себе? — спросил Крячко, пробега мимо участкового.

— В МУРе все такие умные,— сказал участковый, приставившись рядом с быстро идущим Светловым.— И вас встретить и его не упусти. Пятнадцать секунд, как он двинулся в парк. Опасности никакой. Тут же люди ходят. Потом вообще неизвестно...— Он заглянул майору в лицо.— Может, зря всполошил вас? Может, мужик не тот, а совсем нормальный родственник.

— Лучше сто раз зазря смотаться, чем один раз опоздать.— Светлов не терял из вида широкую спину Крячко.

Тот перешел на шаг, поднял руку, и Светлов понял, что Станислав мужчину и девочку видит.

— Вы подтянитесь к нему,— сказал Светлов участковому,— проверьте, за теми ли он идет.

Участковый затрусил по аллее, придерживая левой рукой то ли нетренированное сердце, то ли болтающийся под мышкой пистолет.

Крячко повезло, он знал лесопарк досконально: облазил его год назад, брошенную преступником женскую кофту искал. Тогда он проклял бессмысленную работу, сейчас радовался.

Мужчина с девочкой шли, о чем-то оживленно разговаривая. Крячко сократил расстояние метров до пятидесяти, сошел с тропинки. И как раз вовремя — мужчина оглянулся. Если сейчас свернет направо, в сторону оврагов, значит, тот, подумал Крячко. Сердце толкнуло, будто от избытка крови.

«Ни секундой раньше, ни секундой позже». Какой ты простой, майор Гуров. Конечно, с оперативной точки зрения лучше на секунду позже, когда эта падаля проявит уже свою сущность. Только чем эти секунды обернутся для ребенка, и кто мне их простит? Точно не подгадать, значит — раньше, только раньше. Вот почему Гуров не поехал, он знал! «Ни секундой раньше, ни секундой позже!»

— Ах ты, сука! — прошептал Крячко, ненавидя всех и себя в том числе, рванул через кустарник, умышленно ломая ветки и громко топая.

Мужчина отпрыгнул в сторону, будто кот, которого застали за воровством. Девчушка взглянула на Станислава недоуменно, затем обиженно и тут же испуганно.

А вот Светлов появился точнехонько, как актер выходит на сцену по сигналу режиссера.

— Дочка,— голос у майора был спокойный, заволаживающий,— твоя классная Вера Петровна? — Он заговорил с девочкой так, будто никого рядом не было

— Анна Кузьминична.— Девочка шагнула к Светлову, спросила обеспокоенно: — А разве физкультуру не отменили?

Крячко и мужчина ничего уже не слышали, завороченно глядя друг другу в глаза. Станислав успокоился, нехорошо усмехнулся.

— Ну? Все? — Жестом приказал подойти.— Тебя девятого в двенадцать сорок видели три человека. Фраза была изговолена и понятна только убийце.

Мужчина не двигался, рыскнув взглядом в сторону скрывшегося Светлова и девочки.

— Нам только доехать, свидетели тебя ждут. Остальное — формальности,— сказал спокойно Крячко. Необходимо заставить его побегать, создать иллюзию, что он может скрыться. Когда его задержат, он сломается. Это и имел в виду Гуров. Ты молодец, майор!

Станислав уже нащупал ногой кочку, о которую должен споткнуться. Он шагнул и споткнулся, и упал, и вскрикнул. Получилось очень естественно: тонко и жалобно.

— Сам доедешь! — Мужчина рванул через кустарник.

Убийца — теперь можно с уверенностью сказать, что убийца,— летел, как и положено лететь от

возмездия. Станислав Крячко знал: до шоссе или до железной дороги не менее трех километров. Эта пададь задохнется через несколько минут. И неправда, что страх подстегивает и прибавляет силы. Страх парализует и ослепляет.

Станислав бежал ровно, размашисто, устанавливая дыхание. И только подумал, что сейчас убийца споткнется, как впереди раздался треск и шум падающего тела. Оперативник хотел рассмеяться, но получилась лишь злая гримаса. Он нагонял убийцу равномерно, неумолимо, внимательно глядя под ноги, ему споткнуться уж никак нельзя.

— Боря, ты когда после университета в милицию работать пришел, знал, чем следователь отличается от оперативного уполномоченного? — спросил Гуров, пытаясь хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей.

— Нет, я просто хотел работать в МУРе, — признался Вакуров.

И тебя просто взяли в МУР, подумал Гуров. Без какой-либо подготовки, без работы в отделении либо в районе. Парень неплохой, только это не профессия. Интересно у меня получается: Боря не профессионал, Светлов устал, и ему скоро на пенсию, Крячко слишком торопится. Может, я сам от работы слегка свихнулся, все мне не нравится... А что так долго нет от Крячко вестей — признак хороший. Значит, не зря поехали...

Когда телефон зазвонил, Гуров посмотрел на него недоверчиво, чуть выждал, снял трубку.

— Гуров.

— Светлов. — Голос у Василия Ивановича звучал натушно, глуховато: — Ну, что, Лев Иванович, кажется... Да нет, перестраховываюсь, взяли как надо. Станислав — парень настоящий! Все! Едем!

Гуров осторожно положил трубку — так ставят переполненный стакан, боясь расплескать, — сказал приподнявшемуся на стуле Вакурову:

— Позвони следователю прокуратуры, спроси, где она будет допрашивать.

— Может, вы сами, Лев Иванович?

— Александра Петровна возглавляет следствие, но ты деликатно постарайся объяснить, что целесообразнее работать у нас. Мы ей предоставим кабинет, вышлем за ней машину. В зависимости от решения следователя вызывай свидетелей. — Гуров убрал документы в сейф, двинулись из кабинета.

— А вы? — Боря прошел за Гуровым до двери.

— В старину матери, чтобы вовремя ребенка отлучить от груди, сосцы мазали горчицей... Желаю. — Гуров шагнул в коридор, закрыл за собой дверь.

Гуров зашел в кабинет полковника, сообщил, что Крячко и Светлов, кажется, зацепились. Петр Николаевич что-то писал.

— Действуйте, Лев Иванович, удачи. Сейчас, извини, занят.

— Я домой на два-три часа, к вечеру вернусь, — сказал Гуров.

Орлов перестал писать, поднял голову.

— Неприятности?

Гуров ответил, мол, все наоборот, одни приятности, полковник махнул на него рукой.

Лева уходил из управления потому, что не хотел видеть задержанного, тем более разговаривать с ним. Сашенька — он имел в виду следователя прокуратуры — все рвалась в бой, вот пусть и командует. Станислав и Светлов — люди опытные, Боря на подхвате, а Гуров отдохнет малость. А то от этих редко встречающихся аномалий совсем больной стал.

В коридоре Лева остановился поговорить с одним товарищем, потом с другим, а когда выходил из здания, столкнулся с Крячко и Светловым, которые вели задержанного.

Гуров смотрел на его измазанные землей туфли, поднял взгляд на уровень груди, протянул руку и сунул пальцы в верхний карман рубашки. Там ничего не было. Гуров потер пальцы, заметил слабые следы мела и скривился в улыбке.

— Веди, Василий Иванович. — Он посторонился. — Значит, мы бы его все равно нашли. Рубашку на экспертизу.

Крячко поднял перевязанную носовым платком руку и почему-то радостно сообщил:

— Укусил меня!

— Будешь колотиться от бешенства, — ответил Лева. — Сто уколов в живот, кошмар!

— Чем недоволен?

— Наоборот. — Лева поднял голову, посмотрел товарищу в глаза. — Еще одну кучу дерьма убрали.

— А ты знаешь?..

— Я знаю, Станислав! Я тебя поздравляю! — перебил Лева. — Иди, зачищай до блеска!

Крячко смотрел растерянно, Лева постарался улыбнуться как можно мягче.

— Не обращай на меня внимания, часам к пяти я вернусь.

Он встретил Ольгу у школы. Увидев Леву, она бросилась навстречу, остановилась, подошла неторопливо, солидно.

— Здравствуй, инспектор! Как прошел день?

— В борьбе. А у тебя?

Видимо, у Ольги день прошел неважно, так как на лице у нее появилось отсутствующее выражение, она начала оглядываться, пытаясь найти предлог и увести разговор в сторону, тоскливо взглянула на небо, увидела самолет и обрадованно спросила:

— А ты хотел бы стать летчиком? А он нас видит?

— Он даже пару в твоём дневнике видит.

— Не видит, я дневник не дала! — Ольга рванулась к огромной цирковой афише. — А ты хотел бы стать артистом?

— Это ты можешь стать, кем захочешь, — ответил Гуров. — Я уже стал.

— Но ведь ты же не старый. — Ольга схватила его за руку. — Давай в черточки играть... На мороженое.

Они шли по улице, смешно подпрыгивая, останавливаясь, выбирая место, куда поставить ногу, чтобы не наступить на трещину. Напротив киоска с мороженым Ольга умышленно оступилась.

— Я проиграла. — Она подняла лукавую мордашку. — Но ведь ты мужчина. Плати!

— Конечно, это моя профессия, — ответил Лева.

НИКОЛАЙ  
КАРПОВ



☆☆☆

В завоеванном затишье  
Я трудом одним живу  
И роняю восьмистишья,  
Словно дерево — листву.

Их подхватывает ветер  
И несет, как семена.  
Кто-нибудь на белом свете  
Разгадает письмена...

☆☆☆

Ты ждешь награду, наивный человек,  
В самом труде полезном их не видя.  
Глядишь с тоской на первозданный снег,  
Неподалеку прогуляться выйдя.

Считаешь, что судьба недодала,  
Что обошлась с тобой не так, как надо! —  
Вставай пораньше — ждут тебя дела,—  
Они и есть та самая награда...

☆☆☆

И вот опять пошла работа,  
И слышен моря дивный гул,  
Как будто очень добрый кто-то  
Мне силу давнюю вернул.

Словес отсеялась половина,  
Остались точные слова,  
Мне хорошо, я счастлив снова,  
И мама, будто бы, жива...

☆☆☆

Подсохла грязь, прихвачена морозом,  
Ушла на запад медленная тьма.  
Горит рассвет — он золотист и розов —  
И красит тонкой краскою дома.

Мгновений золотых не упуская,  
Пока не ляжет снова ночи тень,  
Трудись спокойно, рук не покладая,  
Как будто это твой последний день!

☆☆☆

Вот снегопад — возвышенный, лирический —  
К земле спустился на своих крылах,  
Но и о нем я мыслю прозаически:  
Мол, будет хлеб при таких снегах...

Предвижу караван, булки пышные  
На вышитых скатерках на столе...  
И этого видения возвышенной  
И нет и не бывало на земле...

☆☆☆

Проснись пораньше да полей цветы.  
Когда над каждым низко наклонишься,—  
Глядишь, и от грядущей суеты  
На целый день с лихвой оборонишься.

И в вихре дел, событий и тревог,  
Исполненных различного значенья,  
Припомни каждый нежный лепесток  
И наберись покоя и терпенья...

☆☆☆

Внизу шумела горная река  
В расщелине, зияющей и тесной.  
Я шел, держась рукой за облака,  
Чтоб не свалиться с крутизны отвесной.

Иных в округе не было перил.  
В груди моей быстрее сердце билось.  
За близость к небу страхом я платил,  
Но страх забылся, небо — не забылось.

☆☆☆

Я одолел высокий перевал  
И сбросил с плеч намокшую поклажу.  
Здесь до меня навряд ли кто бывал,  
Все первозданно, судя по пейзажу.

В седых камнях начало брал ручей,  
Чтоб где-то ниже речкою разлиться.  
Пейзаж был мой и более ничей,  
И жаль, что не с кем было поделиться.

☆☆☆

Я на скале обосновался,  
Нашел укромный уголок.  
Внизу шумел и бесновался,  
Зажатый глыбами поток.

Я, словно отзвук общей боли,  
Нашел похожее в судьбе:  
Он так же рвался из неволи,  
Как и душа моя к тебе...



## ЛЕВ ОШАНИН



### Здравствуйте

— Здравствуйте! — внезапно прозвучало  
От отчизны милой вдалеке.  
— Здравствуйте! — под сводами вокзала  
Девушка немецкая сказала  
На моем, на русском языке.  
Где ей полюбилась речь чужая?  
Нет, она в России не была.  
Из Германии не выезжая,  
В Новгороде-городе жила.  
В Новгороде! Девушка по-детски  
Рассмеялась вдруг на весь перрон.  
Если город Нойштадт по-немецки,  
Новгород по-русски будет он.  
С праздничной встречающей толпою  
Мы идем в веселый этот час.  
Выходя на площадь, слышим — двое  
Говорят по-русски возле нас.  
По словам, что в гуле не пропали,  
Я нерусских узнаю ребят —  
Чешский парень и корейский парень  
О делах грядущих говорят.  
В первый раз они сегодня вместе.  
Ну и что же, что в краю чужом  
Греческий вьетнамцу неизвестен,  
А вьетнамский греку незнаком.  
Дружба их не зря соединила.  
И они, встречаясь вдалеке,  
Говорят слова мечты и мира  
На моем счастливом языке.

### Москва, 1957

Я не был в Будапеште и Варшаве  
Под перезвоном их колоколов.  
И значит, говорить о них не вправе,  
Хоть много слышал самых добрых слов.  
Мы города и годы называем —  
Где было ярче, скажешь ты едва ль.  
Но, может, больше всех забываем  
Тот, первый наш, московский фестиваль.

От братских поцелуев на вокзале  
До карнавала на Москве-реке  
С Москвою нити бережно связали  
Живущих на любом материке.  
Чтобы гореть на платьях и рубашках,  
На тысячах косынок и платков,  
Впервые здесь в сиянье лепестков  
Явилась фестивальная ромашка.  
И где-нибудь в ущелье или в горах,  
На море или в городе далеком  
Ты, улыбнувшись, вспомнишь ненароком  
О наших подмосковных вечерах.  
И мне он снится, праздник тот высокий,  
Который был в моем родном дому.  
И много раз свои слова и строки  
Я, возвращаясь, отдавал ему.

## НИНА ГРАЧЕВА



Нина Грачева — ученица  
московской школы № 212.

☆☆☆

С неба сыплются подснежники,  
Снег кружится и поет,  
На скамью садится вежливо,  
Молча трубку достает...  
Он смеется с наслаждением,  
И взвизывает дымок  
Белым-белым наваждением  
Над безмолвием дорог...  
Снег опять кружится весело,  
И, смотря в мое окно,  
Тихо напевает песенку,  
А весна пришла давно...  
Ведь не зря снежинки звездные,  
Что летят и там и тут,  
На весеннем, свежем воздухе  
Как подснежники цветут!

*Рубин*  
«ЮНОСТИ»

☆☆☆

От радостей и бед заговоренной,  
За предсказанье принимая сны,  
Не человеком — тенью растворенной  
Я доживу до будущей весны.

Не заменить морскую воду пресной,  
Каскады звезд — нанизываньем бус.  
Я потеряла вкус любимой песни,  
Неповторимо-горьковатый вкус.

Но если верю в радостное что-то,  
То это — мир, наполненный людьми,  
Предощущенье легкости — полета:  
Взмахни строкой и небом обойми!

Среди пустыни вырастают рощи  
Непроходимых зарослей любви.  
Иду на Мир, как будто бы — на площадь:  
Свобода Слова у меня в крови.

Простор обнявши — ничего не жалко,  
И по асфальту — будто по лучу...  
Мне говорят: перегибаешь палку.  
А я давно сломать ее хочу!

Не трепа нам, а трепета бы надо.  
Не оправдание, что — век теперь иной.  
И ждут меня, притихнув, эстакада  
И сквер, и переулочек Дровяной...

От жаждущих зевак заговоренной,  
Касаясь стихотворческой струны,  
Не повторенной — в песне растворенной  
Я доживу до будущей весны.

☆☆☆

Слышен чей-то голос звонкий-звонкий,  
Снег, как зачарованный, кружит.  
Девочка по имени Поземка  
В невесомом платьице бежит...

Стриженная, рукавами машет,  
Ой, ты, ледяная стрекоза!  
И, подмигивая ветру, пляшет,  
И сверкают весело глаза...

Спит луна, как будто бы живая,  
И, ее качая колыбель,  
В легкой шубке песню напевает  
Девушка по имени Метель.

Свои руки тонкие сложила,  
Косы распустила до земли...  
А с волос посыпались снежинки  
И уже растаять не смогли.

Злобный ветер тишину нарушил,  
Разбудив полные снега...  
И летит над городом уснувшим  
Женщина по имени Пурга...

Волосы растрепанные пряча,  
На себя набросила платок,  
И несется, и кричит, и плачет,  
Выпуская вихри из-под ног...

А в лесу в избушке самой дальней,  
Где на окнах лед и бахрома,  
Отдыхает, сидя за вязаньем,  
Бабушка по имени Зима.

## ЭДУАРД МИЛИТОНЯН



### Страна

Моя страна, я тебя люблю,  
С той силой тебя люблю,  
С какою жнец в жаре страдает  
Сжимает ручку серпа, —  
Так яблоко, верно, грызет дитя,  
Так пышет август, голодный барс,  
Глубоким огнем зрачков.  
Ты — мне адресованное письмо.  
Я вчитываюсь в тебя,  
С болью причастности узнаю  
Свою сердцевину — в твоей.  
Простерт вдоль истории твой хребет,  
Крутой, как у лошади ломовой,  
Изводят бессонницей травы твои,  
Колющие, спать не дают.  
Страна, у лучшей твоей мечты —  
Летучая, птичья кровь.  
Когда я с тобой говорю, блестит  
На слове — слеза любви.  
Касаюсь натруженных колен,  
Склоняюсь перед тобой,  
Хочу сказать тебе лишь одно:  
Моя страна, я тебя люблю,  
Ты — мать мне, и ты мне — дочь.

### Сельская осень

Осеннее утро раскрылось,  
Подобно вилку капусты.  
Зеленое, синее, белое — всего понемногу.  
Малыш на взгорке  
Воздушный шар запускает.  
Девочка в поле  
Цветы собирает сухие —  
Наши дни улетели с их лепестками.  
Старая женщина  
Веет ячмень у стены —  
Ей слышится голос дождя  
В шорохе каждого зернышка.  
Маленькая старая женщина...  
Если умрет она этой осенью,  
Где же ее похоронят,  
Места нет, всё засыпано листьями —  
Всё кладбище до самых крестов.

Перевел с армянского  
В. ПАЛЬЧИКОВ

## ЕГОР САМЧЕНКО



### Герой КНДР Яков Новиченко

Это было в Корее весной.  
Шел парад, год сорок шестой  
И добавьте к этому шуму —  
Вот — граната летит на трибуну,  
И ее он ловит рукой!  
Ну, поймать-то поймал, спасибо,  
Дальше что? А вокруг поток,  
Через миг, офицер, либо — либо.  
Я не знаю — вы бы смогли бы!  
Лично я бы не смог.  
Вот! граната в меня летит,  
В дом мой светлый, конечно, белый,  
И летит она и шипит,  
Вот — в руке у меня. Что делать?  
Я бы кинул, наверное, в воздух  
В тот же миг, в тот же миг!  
И в осколках, как в звездах,  
Я остался бы жить и погиб.  
А когда он ее поймал,  
Он чуть-чуть, как воздух, ее держал,  
И к себе прижал,  
И упал.  
И осколки летели в теле  
Против шири, против зари,  
И поэтому не долетели —  
В двух шагах от сердца легли.  
И в бреду с Чистяковым он говорил  
И гранату ловил.  
Вы спросите, а он дополнит —  
Чистяков, генерал-полковник.  
Вот вам самые светлые мысли,  
Отрешенней я не бывал —  
В этой маленькой, личной жизни  
Вот он — Интернационал!  
Кисть руки ему оторвало  
И задело кровью меня.  
Самой алой звездой стала  
Эта красная пятерня.

### Воробей

Воробей — это птичья собака.  
Я не знаю — за что, но по вещему знаку  
Он присел пред моим окном.  
Я сейчас чирикну о нем!  
Дня четыре ко мне прилетал,  
На заре на меня кричал.  
И ему я грозил кулаком  
И лежал пред окном.

Я бессильно лежал на спине.  
«Прогони!» — я сказал жене,  
И она прошла на балкон.  
«Ты кричал на него, а он, —  
Говорит мне жена всерьез, —  
Посмотри, что он нам принес!»  
И несет на ладони мне  
В наступающей тишине  
Три зерна и тряпицу лапши —  
Для души!  
Воробей — это птичья собака,  
Прилетает по вещему знаку,  
У него без промаха взгляд —  
Нет, не друг мой, а маленький брат.  
В 4.49 он лает мне в окошко,  
Несу скорее крошку —  
Мы завтракаем с ним,  
И я непобедим!

## ЛЕОНИД КЕЛЬМАН



☆☆☆

Курится пар над зеркалом пруда,  
Глядится одинокая звезда,  
И лес стоит,  
Водою опрокинут,  
И облачко тончайшей акварели  
Пробито острой засохшей ели,  
И юный месяц круто выгнул спину.  
И только лай собак в деревне ближней  
Едва колеблет воздух неподвижный,  
Вселенскую озвучив тишину,  
Да промелькнув внезапным силуэтом  
В вечернем воздухе,  
Дневной жарой прогретом,  
Бесшумно птица отойдет ко сну.

☆☆☆

Приходит ниоткуда,  
Уходит в никуда  
Сердечная оступая,  
Душевная беда.  
Но остается нечто,  
Что не определить, —  
Душевно и сердечно  
Связующая нить,  
И тянется, и тянет,  
Забиться не дает  
Страдающая память  
Все ночи напролет.

ЛЕОНИД  
ВЫШЕСЛАВСКИЙ

# КОГДА Я БЫЛ ЯЩЕРИЦЕЙ

Рисунки Р. Клочкова.



Одесские оползни известны не менее, чем одесские катакомбы. Глинистые берега и пласты ракушечника сползают в море. Сползают, как трава растет: незаметно, медленно, но верно.

И наступает минута, когда в каком-нибудь доме начинают, как суставы у ревматика, потрескивать стены. Это знак: надо покидать дом.

Берег сползает к морю с постройками, оградами, садами.

Большие куски земли не обрушиваются, а, отслаиваясь, опускаются плавно, и высокие тополя сходят по ним к морю, будто по ступенькам, не теряя своей осанки. И лишь у самой воды, подрубленные волнами, как топорами, валятся навзничь.

Так опустился и в конце концов рухнул дом на Большом Фонтане, памятный мне с детских лет.

В том одноэтажном доме под черепицей мы жили временно: отца пригласили из Николаева восстанавливать электростанцию, и он снял комнату у местного учителя — своего гимназического товарища. Мне было тогда лет пять, но я отлично запомнил дядю Савву и его жену тетю Мусю.

Неподалеку от дома высилась каменная стена с круглыми башнями по углам. Она окружала старый парк Успенского монастыря. В монастыре тогда еще были монахи.

Тетя Муся ходила на монастырское кладбище навещать могилу своего брата и часто брала меня с собой. Могилу осенял ступенчатый обелиск. Я однажды вскарабкался на него.

— Слезай, — сказала тетя Муся, — брату и так тяжело лежать в земле...

Как-то с нами пошла на кладбище и моя мама. Мы долго сидели у могилы, не заметили, как наступил вечер. В высокой траве зажглись светляки. Тетя Муся собрала светляков в ладонь, как собирают ягоды, и положила их на свои черные волосы. Я, едва дыша, смотрел на нее. Она казалась царевной из той сказки, которую мама всегда читала мне перед сном. А жизнь между тем на Большом Фонтане была далеко не сказочной.

Что ни ночь — пальба. Что ни день — тревожные слухи. Ожидалось страшное. И оно стряслось. В город ворвались деникинцы. В ту пору не было ничего страшнее. Начался террор. Улицы опустели. В монастырской бухте каждое утро кого-то расстреливали.

Отец мой исчез. Он опасался, что его, инженера, схватят за работу у «красных». В это время мама заболела брюшным тифом. Ее отправили в госпиталь. А я, пятилетний, остался с дядей Саввой и тетей Мусей.

Вскоре оказалось, что и учителю следовало остерегаться. К дяде Савве относились подозрительно: еще бы — интеллигент, «либерал», в доме много книг, на стенах портреты ученых...

Я спал в одной комнате с хозяевами, когда за ними пришли.

Проснулся и, ничего не понимая, смотрел на вооруженных дядек.

— Одевайтесь! Берите и своего щенка, — сказал один, мотнув головой в мою сторону.

Нас выгнали в темноту и повели по обрывистому склону, мимо осыпей, в монастырскую бухту. Откуда

мне было знать, что нас ведут на расстрел? Но я чуял, чуял смертельную опасность.

Тетя Муся крепко держала меня за руку.

Мы шли, подгоняемые хриплыми окриками. Узкая тропа вилась вдоль оползающих каменных глыб.

Тетя Муся (святая душа!), уловив минуту, шепнула:

— Прячься!

И втиснула меня в щель между камнями.

Да я и сам знал, что надо делать.

Как ящерица, юркнул в щель и заполз под камни.

Заполз так глубоко, что, пролежав несколько часов в сырости, холоде и темноте, с трудом выкарабкался оттуда.

В глаза ударил свет. Утро окатило меня солнечным теплом. И я заплакал.

По берегу у самой воды ходили люди в черном. Они таскали что-то тяжелое, похожее на бревна, и складывали под ближайшую маслину. Я смотрел, и до моего сознания никак не доходило, что это были совсем не бревна.

Один монах, переносивший убитых, заметил меня, вылезшего из-под земли, — грязного, в мокрой рубашке, в рваных коротеньких штанишках, — и повел по рыжим осыпям, покрытым колючками, к себе за монастырскую стену. Хмурый, но ласковый. Черно-бородый. Было ему, наверное, не более тридцати, а мне он казался дремучим стариком. С ним было тепло и спокойно. Звали его Пафнутий.

В своей келье — узенькой комнате с лампадкой в углу — он кормил меня ухой из бычков и макухой, твердой, как булыжник. Угощал чаем с сахарином.

— Ты, Леша, вышел из преисподней, гляди, чтоб снова не загнали тебя под землю ироды, — говорил он и выводил меня погулять в парк только поздно вечером.

Мы крепко подружились. Я привязался к нему, и моя детская душа постепенно выпрямлялась, как выпрямляется подорожник, придавленный колесом... Мама, отец, дядя Савва, тетя Муся — все они виделись мне где-то далеко-далеко, за какой-то гранью... Случалось, я плакал, а Пафнутий утешал меня.

Сколько я у него пробыл? Может, неделю, может, полторы.

За это время деникинцев вышибли из Одессы. Объявился отец. Выздоровела мама. Возвратились они в пустой дом.

Ребенок их, как сказали соседи, погиб вместе с учителем и его женой. Но отец прослышал, что у монахов живет какой-то мальчик...

Много пластов земли сползло с тех пор в море. И годы, словно каменные глыбы, оползли с ними. Оползли, да не подмяли тех памятных дней, когда мне, спасенному святостью женской души, пришлось на какое-то время стать ящерицей.

## ВЛАДИМИРСКАЯ ГОРКА

В

каждом городе, кроме музеев и памятников, есть заповедные места, созданные самой природой.

В Киеве такое место — Владимирская горка.

«Ширь во-всю! — Не вымчать и перу!» — воскликнул Маяковский, озирая с нее заднепровские леса, откуда вот-вот выедет на вороном коне Илья Муромец или Добрыня Никитич, поборов Соловья Разбойника, засевшего на семи дубах...

Владимир взирает на Русь с высоты своей знаменитой горки.

По вечерам в бронзовых складках его княжеской мантии сгущается тьма, а в складках днепровских склонов — тьма давно минувшего, густо поросшая татарским кленом, который светится розовыми семенами.

А далеко внизу разостлан Подол. На нем, как яблоки, мерцают церковные купола. Да, собственно, яблоки-то испокон веков и нес Киев в своем Подоле для всей Руси: фруктовые сады шли к нам через его урочища из Византии вместе с христианством...

На Владимирскую горку можно легко взойти с Крещатика или, даже не взбираясь, со стороны разрушенного Михайловского монастыря. Но со стороны Подольского спуска, соединяющего верхний город с Подолом, на нее ведут узкие крутые до-



рожки, вымощенные старым кирпичом. На отдельных кирпичиках еще можно различить надпись: «Бр. Мозговых» — знак давно не существующей фабрики.

Я люблю ходить по этим дорожкам. С каждым шагом днепровские дали расширяются, как постепенно раскрывающийся зонт. Ходить там приятно в любое время года, в том числе и зимой.

Позади гудит Подольский спуск. Там — трамваи, автобусы, машины, а дорожка уходит вверх, в тишину и безлюдье. Кустарник и большие деревья, густо цветущие инеем, все делают для того, чтобы стереть последние приметы города, и им это удается, хотя находятся они в одном из центральных городских районов.

Так было и в тот день, когда впереди меня по залепленной снегом дорожке шла женщина, везя за собой санки. Шла она шагов на тридцать впереди меня и находилась значительно выше. Она опережала меня видением прекрасного, и так как мы двигались приблизительно в одном темпе, я не мог увидеть раньше нее то, что ей уже открылось. Расстояние между нами было, как разница в возрасте.

На санках лежал ребенок, завернутый в одеяло. Матери, наверное, нетрудно было его везти: подъем не так уж крут, а снег плотный, слежавшийся. Но как раз в ту минуту, когда мое внимание привлёк открывшийся красочный край Подола, на меня с высоты полетел снаряд...

Веревка, державшая санки, должно быть, лопнула, и они со свистом устремились вниз.

Не раздумывая (где уж тут раздумывать!), я, чтобы задержать санки, просто упал на них. А они уже успели набрать такую скорость, что проволоки меня несколько метров, и я с трудом остановился, зацепившись ногами за ствол дерева.

Ребенок заплакал.

А женщина буквально скатилась по дорожке и бросилась мне в ноги.

— Как благодарить вас? Как?! Требуйте все, что хотите. Вы спасли моего ребенка! Его и меня!

Ее речь походила на молитву.

В этом горячем потоке благодарности было, конечно, преувеличение, но, говоря по совести, не задержав я санки, дело могло принять действительно трагический оборот. Санки либо разбились бы о какое-нибудь дерево, либо (что вернее всего), вылетев на Подольский спуск, угодили под колеса машины. Размер опасности я хорошо осознавал, но в ответ на страстные излияния лишь смущенно улыбался.

Женщина взяла на руки ребенка, я — санки, и мы, познакомившись, вышли к памятнику святого Владимира.

Ребенок оказался Верочкой. Она была похожа глазами на свою маму, с которой потом мы изредка обменивались телефонными звонками, несколько раз встречались на улицах. Она рассказывала, что дочь растет, набирается сил, а последний раз радостно сообщила, что Верочка уже ходит в школу.

Постепенно происшествие на склоне Владимирской горки отошло в прошлое, забылось. Да и что, собственно, произошло такое, о чем следовало помнить? «Горе давнишнее душу не бесит», — сказал поэт. А здесь даже и горя-то не было. Если и следовало о чем-либо помнить, так лишь о том, что в жизни ничто бесследно не исчезает, и мы порою должны держать ответ не только за плохое, но и за хорошее. Впрочем, об этом мы обычно не думаем...

Быстрее всего о случившемся забыла, по-видимому, женщина, так горячо благодарившая меня на

горке, а я изредка вспоминал о ней, взбираясь по любимым тропинкам.

Прошло несколько лет. И вот — снова зима. Снова деревья на днепровских склонах густо цветут инеем. Наступает час синевы. Город за моим окном совершенно синий от снежных сумерек. Даже звоночки трамваев кажутся синими. Синим кажется и звонок, раздавшийся у входной двери. Открываю. На пороге девочка.

— Вы такой-то? (Называет меня.)

— Да, а ты кто?

— Вера.

Больше ей ничего не надо было объяснять. Кинолента недавних лет мгновенно раскрутилась в обратную сторону. Я увидел Веру на санках, мчащихся по снежной крутизне.

Мы зашли в комнату, уселись на диван.

— Ну, рассказывай, как мама? Все еще тащит тебя в горку? Не порвалась веревочка?

Девочка не восприняла моей шутки, понурилась и тихо сказала:

— Мама недавно умерла.

Некоторое время мы сидели молча. Часы на стене тикали непривычно громко. Девочка продолжала:

— Мама просила меня зайти к вам. Я ведь знаю, что вы когда-то спасли мне жизнь.

— С кем же ты теперь живешь?

— С тетей. Она, правда, очень старенькая. Больше у меня никого нет. Перед смертью мама писала родственникам в разные города, никто не ответил. Ну, а папа, вы, наверно, знаете, умер еще до моего рождения...

Я смотрел на Верочку, на ее косички с бантиками и думал о том, что санки снова мчатся на меня.

ВАЛЕРИЙ  
ХИЛТУНЕН



## ОСТРОВА НА ГОРИЗОНТЕ

*Валерий Хилтунен работает  
в «Комсомольской правде» —  
заведует отделом учащейся  
молодежи и пионеров.  
Ему тридцать пять лет.  
В его семье — четверо детей.  
Жена — тоже журналистка.*

Рисунок  
Е. Лехта.



пор бесконечен — стороны козыряют цитатами из классиков, перемежая философские сентенции своими собственными соображениями по поводу судьбы этого древнего института — семьи. Отмирает ли семья, или, наоборот, вступает в полосу своего расцвета? Должна ли постепенно отказываться от тех функций, которые еще совсем недавно казались неперенными, и сколь длинна будет эта дорога: перестав быть хозяйственной ячейкой общества, возложив на плечи общества и все воспитательные хлопоты, что оставишь себе, семья?

Социологи вводят множество новых понятий, пытаясь разобраться в процессах, которые происходят в нынешних семьях. Схема их рассуждений примерно такова: патриархальных семей становится все меньше, «эгалитарных» (разноправие мужа и жены, взаимное уважение и т. п.) все больше, но основную массу пока составляют «переходные» случаи: уже не патриархальщина с ее домостроевскими, веками выверенными принципами, но еще, к сожалению, и не «эгалитэ». Вот и маемся, никак не решим для себя, к какому же берегу грести, — не так уж мало людей, которые по временам ушедшим тоскуют, а впереди никаких особенно радужных перспектив не видят.

В этой ситуации, мне кажется, как никогда раньше, обострился интерес к картинкам из жизни «новых людей» — тех, кто уже приблизился к



другому берегу, начисто сбросив груз привычных стереотипов (не буду говорить «предрассудков», чтобы не обижать тех, кому приметы старого уклада дороги: в конце концов история пока еще не рассудила, кто тут прав, а кто находится в плену иллюзий). Одно замечание: новое рождается в муках, иногда первоначальные формы завтрашней жизни представляют собой зрелище сумбурное, где круто замешены и гениальные концепции, и просто чудачество. За экстравагантностью формы может скрываться как великое открытие, так и желание подразнить публику.

Давайте же попытаемся взглянуть в суть. Ни на какие обобщения не претендую. Просто попытаюсь рассказать о том, к каким наблюдениям пришел, пытаюсь обнаружить людей, живущих сегодня счастливо (полагаю, что семья это как раз то место, где они водятся).

Есть два принципиально разных вида психотерапии. Один научит вас, как с наименьшими потерями добраться до дому: «Вам неприятны люди, которые едут рядом с вами в вагоне метро, в автобусе. Они сквернословят, хамят друг другу. Но ничего: набрав в легкие побольше воздуха и произнося про себя формулу из учебника аутотренинга, вы сумеете доехать до нужной остановки, а там уже в двух шагах — ваш дом, где вас ждут приятные вам люди...» (Оно, конечно, может оказаться и так, что и в родимых стенах встретишь мерзкую рожу, но тут тоже в вашем распоряжении аутотренинг: побольше воздуха, закрой глаза и жди, когда придут иные времена. А если не придут? Так и сиди с закрытыми глазами?) Принципиально другой подход — это когда человека «распахивают» для окружающих, снимают его зажатость, повышают самооценку. И вдруг оказывается — помните ту немудреную песенку пятидесятых—шестидесятых годов, когда в зависимости от настроения человеку чудился из подворотни то дивный запах резеды, то капустой квашеной несло?

По отношению к семье мы сегодня видим примерно такую же картину: борются две различные, вряд ли совместимые точки зрения. То ли семья — убежище, дом отдыха, так сказать, после трудов праведных, то ли что-то иное, чему пока и аналогов нет.

С легкой руки «Комсомольской правды» пошло гулять сочетание, которое человеку непосвященному мало что скажет, но в принципе наиболее точно выражает те родовые путugi, в результате коих, кажется, и получим мы новое явление в общественной жизни. Прошу не судить строго, но лучшего не имею. Итак, «семейный клуб».

Как только завожу речь о межсемейной кооперации, некоторые прячут в усы усмешку: слышали-слышали, на Западе это называется, кажется, шведским браком? Что поделаешь, проклятие стереотипа, наверное, еще долго будет висеть над энтузиастами, которые подняли руку на святая святых — на автономии семейного мира. «Мой дом — моя крепость» — лозунг этот остается незыблемым для многих, причем заметил я интересную закономерность: громче всего его выкрикивают люди с печальными глазами, а то и вовсе затюканные. Один из наших журналистов как-то поделился с читателями случайным родившимся образом: таракан, попавший в будильник, чувствует себя неуютно, старается выбраться из этого чудовищного хитросплетения колесиков, винтиков, каждый из которых может по-

вернуться в самый неожиданный момент и ущемить твои законные права. Это как нельзя более кстати относится к тем, кто вынужденно посещает свое рабочее место, кто с огромным удовольствием закрылся бы в собственной квартире (ну, или на даче — чуть больше жизненное пространство!) и послал бы подальше весь мир, находящийся по ту сторону дверей. «Укрепление семьи» для такого человека — это что-то из области гражданской обороны: чтобы посторонние не совались, чтобы не сквозило и чтобы (следуя этой логике) дети не досаждали. Наверное, лучший стиль внутрисемейных отношений в этом случае — домострой, где беспрекословное подчинение, где размеренный, веками освященный распорядок. Но вот ведь беда: жена-то тоже претендует на роль главенствующую, а эта ситуация в домостроевских инструкциях как-то не предусмотрена. Да и ребенок, который имеет возможность наблюдать за жизнью своих ровесников, телевизор смотрит (а уж что тут поделаешь — без телевизора сегодня невозможно представить даже самую мощную «домашнюю крепость») — не очень-то заставишь нынешнего ребенка, а уж тем более подростка, выполнять роль подчиненную, хоть ты разбейся вдребезги...

Тяжела нынче жизнь у тех, кто семья полагает убежищем. По крайней мере среди таковых я людей счастливых не встречал.

Я не питаю иллюзий по поводу того, что многодетность сама по себе будто бы решает проблемы современной семьи. Поскольку и моя семья получила от райсобеса зеленую книжицу, дающую право становиться в первые ряды любой очереди, то говорю с некоторым пониманием вопроса, «изнутри».

Оставляю за скобками сельскую семью патриархального типа — при всем уважении. Речь буду вести о городских многодетных семьях.

В некоторых семьях мне тоже было уютно. Доброта и покой. Но смущало отсутствие книг. Смущало то, что все разговоры с заезжим журналистом рано или поздно скатывались к сетованиям на тяжелое материальное положение. Велись doskonaльные подсчеты того, чего недодал райсобес, упрекались руководители предприятий, которые недопонимают всей важности увеличения рождаемости, а потому не спешат взваливать на свои плечи заботу об оплате квартиры и других коммунальных удобств. Любимый мотив: почему владельцы собак, которые тратят на своих четвероногих питомцев значительно больше воды, чем я на каждого из детей, за воду платят меньше, чем я, поскольку расчет ведется по количеству проживающих?

Мне действительно кажется, что по отношению к многодетным могло бы делаться больше. С удовольствием поехал в Витебск, где стараниями местных властей был возведен шикарный особняк для самой многочисленной семьи Пригожих. Мэр Витебска сказал, а я согласился с этим его тезисом: да, действительно, следовало бы записать в законе, что местные Советы народных депутатов, исходя из условий, могут оказывать многодетным дополнительную помощь, не предусмотренную союзным законодательством: им ведь виднее, кому стоит помогать, а кому нет, поскольку есть ведь и такие женщины, что благополучно пропивают все, что полагается им на детей.

И все-таки, все-таки всегда вспоминаю, с какой яростью Лена Алексеевна Никитина накинулась на женщину, которая начала публично призывать к тому, чтобы многодетных уравнивали в правах с инвалидами: «С инвалидами? Да вы хоть подумайте, что говорите, при этом, ссылаясь почему-то на нас? Ка-



Ветеран.

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
НАРОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ СССР  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР  
А. П. ТКАЧЕВА и С. П. ТКАЧЕВА.





Снова жизнь.



Молодая семья.





Пора осенняя.

кие мы инвалиды, зачем нам помощь? Дети — это награда, счастье, а не обуза, и если у вас не так, то и не надо было заводить, как это ни жестоко звучит...» Наверное, Лена Алексеевна не совсем права: ну и что, что счастье, — мало ли бывает радостных занятий, в которых заинтересовано общество. Музыканты, писатели тоже, по идее, должны быть довольны уже тем, что пишут, сочиняют, — это ведь такая радость! Но государство строит для них дома творчества, учреждает премии, льгот у художника, в общем, не меньше, чем у многодетной семьи.

И все же, и все же... Тут, наверное, надо так раскудить: если какая-то семья выбилась за черту, ниже которой всякие разговоры о чем-то большем, чем обути, накормить, бессмысленны, — тут надо всем миром бросаться на помощь. А вот дальше как быть?

А дальше — может быть, так поступать. Когда многодетная семья становится на ноги, то есть набирает необходимый прожиточный минимум, позволяющий не закидываться на добывании куска хлеба насущного, может, стоит нагрузить на такую семью не очень типичную заботу о просвещении молодых? Я специально искал по всей стране: где-нибудь работает ли на базе хотя бы одной многодетной семьи лекторий, консультация? Нашел два примера. Все тех же Никитиных, которые ежемесячно вот уже много лет подряд устраивают в маленькой школе, расположенной неподалеку от их дома, своеобразные «приемы», куда приезжают десятки, сотни людей, интересующихся их методами воспитания, закаливания. И еще одну многодетную семью обнаружил в Москве, которая берет на воспитание «проблематичных» детей из неполных семей — изнеженных, слабеньких, неповоротливых. Любые деньги готовы платить неумелые мамы, чтобы вывести малыша из бесконечной череды ОРЗ, чтобы почувствовал он себя увереннее в коллективе. Все это получается — я видел, как буквально через полгода дети становились совершенно иными. Но вот беда: они начинали называть мамой ту женщину, которая разрешила устроить в своей семье этот — как выразиться, не знаю — детский сад, что ли? А та, первая женщина, которая родила и пусть плохонько, но воспитывала, — она-то кто? Тоже мама? Проблема, к сожалению, оказалась неразрешимой...

Но почему же эстафету у Никитиных приняли именно «семейные клубы», то есть кооперативы, пытающиеся объединить усилия самых разных людей, — разве не проще было бы воспитать в стране как можно больше семей типа никитинской? Не получается. И дело даже не в том, что у большинства городского населения уже сформирован четкий психологический стереотип. «Третьего не буду рожать ни при каких обстоятельствах, ни при какой зарплате мужа, ни при каком количестве комнат в квартире» — это наиболее типичный ответ, который дают женщины социологам в больших городах. Правда, количество молодых семей, которые — не без влияния Никитиных — уже преодолели свой страх перед многодетностью, медленно, но растет; я, например, общаюсь с немалым кругом журналистов, архитекторов, а главное, электронщиков, в чьих семьях по трое, а то и по четверо детей.

И все-таки это не Никитины. Наверное, сказалось то, что их семья родилась в результате уникального стечения обстоятельств, причем и Борис Павлович и Лена Алексеевна были к тому времени уже достаточно зрелыми людьми. По крайней мере им не

пришлось тратить годы на освоение азбучных истин семейного творчества.

Кстати, если это сочетание зашифровать, то получается «АИСТ». Так называется один из самых симпатичных семейных клубов страны. Он работает в Северодвинске.

Семья Никитиных — это своеобразный осколок неудавшегося в пятидесятых годах педагогического эксперимента — его участники хотели возродить в стране заведение, которое сочетало бы в себе то лучшее, чем обладали и Лицей, и «Бодрая жизнь» Шацкого, и коммуна Макаренко. Чтобы на этакое замахнуться, нужно быть, согласимся, единомышленниками и на многие вещи смотреть примерно одинаково. Так у них и получилось. В том, что эксперимент не удался, вины энтузиастов нет, его просто запретили, сочтя прожектерством. Ну, а Никитины остались. Что могли, то и сделали — в условиях, очень далеких от тех, которые в Лицее были, но и то, что получилось, воодушевляет. Их книги издаются в самых разных странах — и не только по педагогическому ведомству: в предисловиях зарубежные философы пишут, например, и такое: «перед вами книга, которая рассказывает о том, как можно жить по-человечески в изменившемся мире...»

...Одна семья, даже многодетная, воспроизвести опыт Никитиных, продолжить его не в состоянии, а те, кто пытается, частенько производят на свет скорее карикатуру. Но группа семей может! И не только воспроизвести, но и значительно расширить рамки эксперимента (слово это, многих пугающее, меня лично устраивает: в наше экспериментальное время одно удовольствие ощущать себя подопытной зверушкой, правда, если соблюдено одно неременное условие: эксперимент этот ты ставишь на себе, на семье своей, сам и не пытаешься диктовать свою волю никому, даже малышам!). Никитины менее всего похожи на диктаторов, да и исходная педагогическая идея их более чем либеральна: надо, считают они, создать вокруг малыша такую среду, чтобы он «методом тыка», перебирая тысячи вариантов деятельности, приступил к развитию той или иной своей способности вовремя — а то беда, отомрет способность за ненадобностью. А раз так, то дом должен быть буквально наштапован спортивными снарядами, инструментами, развивающими играми, а если есть возможность, то и электроникой (такие семьи сегодня есть — о них позже).

Промышленность, торговля пока не очень балуют своим вниманием те семьи, которые хотели бы превратить свои квартиры в «очаги новой педагогики». Приходится, не дожидаясь милостей ни от кого, своими силами выходить из положения. Слава тебе, неповоротливая промышленность! Именно дефицит «домашних стадионов», мастерских и игротек на всеобщем рынке создал уникальную ситуацию: люди начали объединяться в общем порыве, устраивать на кооперативных началах маленькие «артели» по взаимному обеспечению всем этим оборудованием. Правда, «черный рынок» тоже не дремал — это он обклеил стены больших городов объявлениями: за 150 рублей в течение трех часов из собственного материала дадим в любых квартирах домашние стадионы, — но все это появилось чуть позже, когда количество заказчиков начало измеряться уже тысячами, а несколько лет, пока про «домашние стадионы» знали лишь те люди, которые внимательно следили по газетам за никитинской эпопеей, «левакам» было невыгодно связываться со столь негарантированным

рынком сбыта. Этих нескольких лет хватило, чтобы клубы-артели возникли в ряде городов. Ну а если молодой человек почувствовал вкус к «новой педагогике», его уже не остановишь. Так и получилось, что постепенно ячейки разрастались, вовлекали в свои орбиты все большее количество людей — так родилось целое движение «семейных клубов» (далее термин этот я буду писать уже без кавычек, поскольку он, кажется, вошел в обиход).

Перечислять все виды деятельности, освоенные семейными клубами, не стану: дело бесполезное по причине бесконечности своей. Методом проб и ошибок — разновозрастный туризм, межсемейные лагеря, театр во дворе, мастерская, куда можно прийти с малышом и делать все, что захочешь, «обмен визитами», когда москвичи едут в Ленинград и живут там в семьях, которые еще несколько дней были совершенно незнакомы вам, а через месяц-другой принимают у себя ленинградцев. Ну и еще много добрых дел — вы, кстати, и сами можете кое-что придумать, и почти наверняка вашу добрую идею семейный клуб подхватит, воплотит.

Удивляться перестаете. В ленинградском «Ростке», когда нужно было подготовить какой-то морской праздник, рабочий судоремонтного завода по собственной инициативе отправился в Публичную библиотеку и перерыл всю литературу, относящуюся к истории таких праздников аж с XVII века: «Хочется, чтобы интересно было, с детьми же...»

Итак, будет ли в грядущем воспитание детей целиком возложено на плечи государства. Или же возрастет педагогическая задача семьи? Отметим, что сторонники обеих точек зрения то и дело ссылаются на классиков марксизма. Если отбросить нюансы, то в самом общем виде полярные эти концепции сформулированы примерно так.

Разве вы не видите, что семья сегодня переживает кризис, она не может дать полноценного воспитания ребятам — только профессионально подготовленный педагог детского сада, школы в состоянии сделать это. Ссылаются на угрожающее количество разводов, отказов от детей в родильных домах, на пьянство, взаимное отчуждение детей и взрослых, а в свидетели обвинения призывают Макаренко, Шацкого, классиков, выбирая из их трудов цитаты, свидетельствующие о том, что отдельная семья не обладает необходимым педагогическим потенциалом.

Оппоненты рассуждают так. Опыт лучших семей говорит: практически все, что пытаются дать своим воспитанникам детский сад, школа, все эти ваши дворцы пионеров, можно преподнести и дома. Если быть честным, то ведь Никитины могли обойтись и без школы — более того, она тормозила, мешала ребятам развивать те феноменальные способности, которые они получили в раннем детстве!

Дальше начинается спор о том, насколько распространены опыт Никитиных, уникален ли он, реальна ли в принципе такая ситуация, когда и отец, и мать настолько образованны и умелы, что рядом с ними малыши получают больше, чем от общения с любым преподавателем. Возникает еще один заколдованный круг: чтобы всерьез заниматься с детьми, мать должна была бы не работать, но неработающая мать, как правило, быстренько превращается в клушу, приспособленную лишь к тому, чтобы готовить, стирать, носы подтирать, а редчайшие исключения тут ничего не опровергают и не доказывают; да если бы и доказывали, то какое отношение это имеет к нынешним дням, когда даже азы компьютеризации хорошо бы преподавать в самом раннем возрасте, не говоря уже о нескольких иностранных язы-

ках и еще о массе всякого разного, чего не высеешь из материнского пальца...

Лена Алексеевна Никитина всю жизнь работала, частично даже отпусков декретных не брала толком — материальные условия поджимали, да и интуитивное ощущение, что если замкнешься стенами дома, то меньше дашь своим детям. И это, заметим, был дом, в котором как ни старайся — не замкнешься: по семьдесят посетителей приходило порой за день, кто только из философов, социологов, математиков не сидел за никитинским столом, за самоваром (увы, увы, самими консервативными оказались педагоги и медики, они все эти годы старательно чурались Никитиных, а когда представлялась возможность, старались и уцепиться — в специальных изданиях, в широкой прессе, в лекциях: все понятно, Борис Павлович Никитин говорил вещи «перпендикулярные», вопрос ставил ребром, и выходило, что многие рекомендации медиков и педагогов, мягко говоря, бесполезны).

Это было в большом, на Украине расположенном городе. Огромный Дворец культуры. В президиуме — все городское начальство, кроме одной женщины, фактической здешней хозяйки, увенчанной многими высшими орденами, — непререкаемый авторитет, долгие годы в горисполкоме, на торжественных собраниях предпочитает сидеть не на сцене, а в зале, с народом. Решительный взгляд комиссара. Я чувствовал себя не очень уютно — как водится, произнес вводную речь о том, что, мол, многое из того, что вы сейчас услышите, будет непривычным, а кого-то и заденет больно, но не свистите, не топайте ногами: у Бориса Павловича есть некоторое право на нестандартность взглядов, обеспеченное тем, что он вырастил семерых детей, да каких — дай бог каждому.

И сел. Борис Павлович, как всегда, держал аудиторию несколько часов, начисто опровергая унылые сетования, что проблемы воспитания не пользуются, мол, особой благосклонностью посетителей лекториев. Еще как пользуются!

После окончания его страстного монолога, после ответов на десятки (сотни?) записок мы угнездились в комнатке президиума. Отцы города молчали — чувствовалась некая неловкость. За дверью послышались уверенные шаги, вошла Хозяйка. Она подошла к Борису Павловичу, крепко, по-мужски пожала ему руку и сказала, обратившись к присутствующим: «Наверное, мы все согласимся с тем, что сегодня услышали об опыте действительно советского, по-настоящему коммунистического воспитания». Сигнал прозвучал — дальше уже раздавались только приятные для уха здравницы, и заведующий собором, выступавший последним и не желавший, видимо, повторяться, посвятил свой спич самому старшему поколению семьи Никитиных — бабушкам и дедушкам, призвав учиться у них активной старости.

Новаторы, они разные бывают. И приходят — кто вовремя, когда общество ждет не дожидается их, а кто и раньше; таких обычно побивают камнями (потом, правда, эти же камни идут в основание памятника, но это не обязательно). «Взрыв», качественный скачок, когда письма по поводу семейных клубов пошли в редакции косяком, произошел, на мой взгляд, где-то в самом конце семидесятых. Но разные кооперативные эксперименты происходили и раньше. Не буду тревожить память двадцатых — там чего только не было. Многие тогдашние начинания были теоретически обоснованы на высшем



уровне: знаю солидного ученого, который аккуратно выписал в тетрадку все манифесты, появившиеся в газетах России в ту переломную эпоху,— и, знаете, до сих пор выступает на конференциях по самым разным поводам, выдавая большинство идей из этой своей тетрадки... Но, увы, база была неподходящей. Один из первых домов-коммун в Ленинграде довольно быстро получил наименование «слезы социализма», поскольку в многэтажном здании частенько ломался лифт, а упрямые жители все тащили и тащили из общей кухни-столовой кастрюлю с персональным борщом, и хорошо, если комната была на втором этаже, а то ведь могло быть и выше. Не стану также обсуждать судьбу «дома нового быта», в здании которого благополучно проживают ныне студенты и аспиранты МГУ,— многие, как выясняется, и не представляют, что за чудо-заведение предполагалось открыть здесь, на улице Шверника, и почему прекрасная идея лопнула. С некоторыми из инициаторов того, двадцатилетней давности, начинания я знаком — бескорыстные, честные люди, родившиеся чуть-чуть раньше срока. Самую точную резолюцию по поводу «дома нового быта» вынес мой знакомый, которому волей случая выпал туда ордер на жительство: «Для того ли, скажи, я кончал МГУ и распух от шести словарных запасов, чтобы еще и роль общественной посудомойки выполнять для людей, которые, быть может, имеют в сто раз больше свободного времени, чем у меня?» По идее устроителей, на каждом этаже должен быть свой повар, который будет готовить пищу на всех, зная вкусы этого небольшого круга людей,— ну и чтобы вконец не разориться, предполагалось, что посуду мыть будут соседи по очереди: выходило примерно раз в месяц...

Если бы этот самый ДНБ родился сегодня, проблема с посудой могла бы и не встать вовсе. Дело в том, что логическим завершением идеи «семейного клуба» являются письма вот какого рода: «В Ленинградский горисполком от клуба «Росток»... Мы, тридцать семей, проживающих в разных концах города, готовы сдать свои квартиры с тем, чтобы получить равноценные — или с потерей качества, но обязательно в одном доме, подъезде. Прилагаем разработанный нами план социального развития микрорайона — берем на себя обязательства в самые короткие сроки решить в предложенном дворе проблемы педагогического ликбеза населения, организации трезвого досуга, воспитательной работы с детьми и подростками». Поскольку такого рода документы я читал уже неоднократно, наверное, за ними кроется некое явление. Мне лично оно нравится. А тридцать семей, доложу я вам, это сила. Вот вам и еще один социально-педагогический экспериментальный полигон — отрабатывай на нем, общество, и модели народовластия, и новых форм досуга,— полигон, который и впрямь претендовал бы на то, чтобы стать развивающим и трезвым.

Некоторые эксперименты были недолговременными, хотя воображение поражали. Помню, с каким удивлением наблюдал я за деятельностью, развернувшейся в середине семидесятых в одном из московских микрорайонов. В указанное время в десятках квартир звенели будильники, и изо всех подъездов выскакивали взрослые и дети. Руководитель этой группы, электронщик, которого звали Александром Петровичем, бежал впереди — в соседнем леске они делали зарядку, тут же оглашались планы на текущий день. А планов было много — постоянно шли занятия самых разнообразных кружков в квартирах, причем система была налажена таким обра-

зом, что у каждого взрослого было пять подростково-помощников, а у каждого из подростков — пятеро малышей. Учились играть на гитарах, совершали экологические экспедиции, дом под Москвой обустроили на всю компанию своими руками. Летом выехали «всем двором» на побережье Черного моря, причем, думаю, что этот «дикий» лагерь мог по части организации дать сто очков вперед любому пансионату, дому отдыха. Дело в том, что электронный ум Александра Петровича рассчитал все до мелочей. Каждый из участников, включая самых маленьких ребят, назначался «начальником», отвечающим за строго очерченный круг обязанностей. Помню, при подготовке к лагерю какой-то дошколенок подходил к каждому, говорил, что он начальник паяльной лампы, вы, допустим, начальник библиотеки, давайте подумаем, есть ли у нас общие интересы... Записывали в своде правил очередную инструкцию: «Пользоваться паяльной лампой в библиотеке категорически запрещается». И так по любому поводу — свод правил получился очень толстым, и, говорят, даже самые шустрые из ребят ничего там, на берегу моря, не нарушали: ощущали себя законодателями. Был там у них и «начальник по душевному комфорту», в чьи обязанности входило утешать обиженных, только в его жилетку разрешалось выплакивать свои обиды. Каждый день участники группы, а среди них были и совсем далекие от философии домохозяйки, «сдавали» Александру Петровичу указанное количество страниц, скажем, из «Анти-Дюринга». От всей системы веяло продуманностью, организованностью и... нежизненностью. В конце концов все у них там развалилось, о чем очень сожалел и Александр Петрович, да и я сам — был помоложе, подобных начинаний видел немного, каждому из них придавал сверхзначение.

Думаю, что одной из причин гибели группы было и то, что люди, почувствовав интерес к педагогике, к детям, друг к другу, должны были рано или поздно начать тяготиться предложенной им, замешенной на электронных алгоритмах системой построения коллектива: этакая крепкая пирамидка, где каждому подчиняется пятеро менее опытных. Свободы, равенства и братства не получалось.

Свободы, равенства и братства очень хотелось людям, собравшимся в то памятное лето (это было уже в начале восьмидесятых) на острове. Не исключено, что остров этот со временем станет точкой отсчета для какого-то явления, судить не берусь. Мне лично и детям моим там было очень хорошо. Временами возникала иллюзия, что мы перенеслись на машине времени в эпоху, где воплотились в жизнь некоторые из мечтаний утопистов,— впрочем, они ведь мечтали примерно о том же, о чем и все мы: о доброжелательности, взаимопонимании, свободной игре творческих сил.

Жили мы там, меняясь (кто отпуска подгадывал, кто еще как), все лето. Кастеляншами работали диктор телевидения и ведущий конструктор группы. Семья художников вылепила огромных, в человеческий рост, пластилиновых кукол — ребятишка показывала спектакли для рыбаков. Зоопарк был, цирк — в общем, чего только не было. Дети по утрам уходили из дому, и день их был наполнен до отказа — мы, родители, не заботились о том, где будут обедать наши дети и придут ли на ночлег. «Стойбище» раскинулось довольно обширно, и мы знали, что накормят наших малышей всюду, а мы кормили чужих ребятишек, не видя в том ничего странного.

Надо сказать, что официально мы числились отдыхающими базы проката. Тут, на острове, раньше была турбаза, но потом сгорел пищеблок и принимать цивилизованных туристов не стало возможности.

Решено было местными властями, что если найдутся такие чудачки, что захотят просто арендовать домики с матрадами, то и пусть себе тащат провизию на своих горбах — из ближайшего городка, откуда ходил катерок.

Так получилось, что одними из первых про «базу проката» пронюхали ребята из ленинградского семейного клуба «Росток», в тот год только-только становившегося на ноги. Это сейчас для координации многогранной работы они выбирают из своих рядов зауча — кого-нибудь с самыми железными нервами, чтобы он не менял интеллигентной тональности в ответ даже на сотый звонок, который раздастся в квартире: «Алло, да-да-да, лесной праздник состоится в субботу, а в пятницу работает группа «Колесико» по развитию творческой фантазии у малышей 3—5 лет, а пятая студия живописи выезжает на дачу к Беловым...»

Ленинградцы, спасибо им, обзвонили-обтелеграфировали друзей из многих семейных клубов: приезжайте, поговорим, поспорим. Долго теребили мою картотеку, выбирая оттуда адреса самых интересных, как им казалось, педагогов, психологов, социологов.

Мы искали рецепты от «невроза ровной дороги» — загадочного заболевания, которое все шире распространяется среди подростков. Симптомы самые разные — от сонной одури, из которой если и вырывается на мгновение, то лишь с помощью каких-нибудь грохочущих ансамблей, до попыток, предпринимаемых неглупыми в общем-то молодыми людьми, докатившимися к семнадцати годам до четко сформулированной мысли о полной бесполезности своего пребывания под солнцем.

Причины примерно ясны: человек, с малолетства лишенный возможности рисковать, совершать самостоятельные ошибки, заботиться о ком-то, вдруг в какой-то момент утрачивает все признаки субъекта, превращается в объект, а проще говоря, в марионетку, послушную, удобную для управления, но вряд ли способную на самостоятельную (счастливую, полноценную!) жизнь. Не всякая душа может выдержать такое.

...Говорят, что утро вечера мудреней — в том смысле, что, выпавшись, на «свежую» голову начинаешь говорить более разумные вещи, чем нес под конец рабочего дня. На острове пословица эта приобрела другой смысл: начав свой спор вечером, к утру мы, как правило, приходили-таки к какому-то решению.

Спор, как и водилось на острове, был долгим — днем раньше с той же яростью обсуждался синдром «идеологической идеосинкразии», выражающейся в рвотной реакции немалой части подростков на правильные, но обещавшие от неумелого употребления лозунги. А еще раньше обсуждали «дромоманию», вызывающую у ребят болезненную жажду непрерывной смены впечатлений, партнеров по общению (какая уж тут крепкая семья, основанная на долготелней любви к одному и тому же человеку!). Костер горел на острове еженощно — проблем, как видно, поднакопилось более чем достаточно, а уровень их разрешения в педагогической литературе явно не устраивал. Искли новые подходы. Обстановка в общем-то несколько напоминала медицинский colloquium: ставился диагноз, выписывался рецепт, который, быть может, сгодится на случай очередной новомодной болезни, лечить которую не умели ни мамы наши, ни тем более бабушки, страдавшие от холода и голода, но уж никак не от этого проклятого «невроза ровной дороги».

Рецепт, выписанный в ту ночь, оригинальностью не

отличался: побольше риска, трудностей, опасностей, побольше грамотно устроенных «эмоциональных взрывов» для наших ребят, побольше заботы, ответственности. Не откладывая дела в долгий ящик, устроили операцию «Рифы». Нечто подобное я потом много раз встречал в разных вариантах в разных концах страны — хотя большинство людей с обычно устроенными мозгами махали на меня руками, когда я брался описывать, как ребята, разделенные по парам — малыш и подросток, — на байдарках забрасывались на торчащие из-под воды рифы, и в дорогу им давалось лишь то, что они сами просили, а если кто забывал спички, то сидел без костра, и мама, смотревшая в бинокль, волновалась еще больше, потому что на соседних скалах дымок поднимался к небу... Спустя несколько лет я специально расспрашивал у ребятшек, теперь уже подростков, — что было самым ярким и полезным в их недолгой жизни. Практически все, не задумываясь, отвечали: остров, а на нем — операция «Риф». Я с трудом могу предположить, что в обозримом будущем педагоги школ — или там, скажем, руководители кружков в домах пионеров — решатся на подобные «эксперименты», которые, по сути, являются чем-то очень нормальным, естественным. Черт его знает, как будут жить люди в эпоху всеобщего изобилия и какие дополнительные прививки станут они делать своим детям, чтобы не погрязли те в вещизме. Или все это само собой рассосется, стоит лишь перевернуть очередную страницу истории?

Загадочный и оптимистический образ Бартини. Сын итальянского сановника и миллионера, имевший в своем распоряжении виллу, яхту, зоопарк и т. д. и т. п., превращается в убежденного коммуниста, переезжает в СССР и становится одним из отцов советского авиастроения. «Островитяне» едва не скупой изучают страницы его детской биографии: что такое говорил ему отец, какими словами сопровождал свои многочисленные подарки, что вырастил — не желая того, видимо, — человека, тонко чувствующего несправедливость и боль?

Одна из московских семей, буквально помешанная на том, чтобы создать своим детям «все условия» — тут не то что домашний стадион, тут бассейн умудрились в квартире оборудовать, и дельтаплан выстроили, и «инсектарий», и обсерваторию на чердаке, и папа вовсе не ругается, когда сын по неосторожности ломает микроскоп. «Как освоишь, не поломать?» — папа в этом тезисе убежден. Смутное ощущение тревоги: происходит что-то не то, тут ни при чем пример Бартини. Но как докажешь? Слов подходящих нет, а брошюрки общества «Знание» для папы не указ, он свободно шпарит по-английски и освоил и Харриса, и Нейла, и Френе, которых студенты наших пединститутов будут проходить еще ой как не скоро...

Иронический человек вытаскивал из своего архива афишку 1908 года — оказывается, уже тогда в Петербурге работали «родительские клубы», и занимались они ранним развитием, только вместо известных сегодня фамилий — Никитины, Скрипалев, Привалов — на афишке другие: Монтессори, Баден-Пауэлл. Вот вам, сказал иронический человек, явное доказательство того, что и в буржуазном обществе может быть та же деятельность, что и у вас, и вовсе не будущее вы создаете, а так, балуетесь. Ха, ответили ему люди, поди прочь или наоборот — айда с нами, мы тебе покажем, как семейный клуб-театр тащится по болотам в заброшенную деревню, чтобы и там вы

ступить, как в специальной школе для «трудных» девочек бывшие королевы подворотен ревут в три ручья, когда им разрешаем понянькаться с нашими карапузами...

Карапузы — совсем маленькие ребятишки, еще не умеющие ходить, — тоже с нами. Очень удобное изобретение — большая плетеная корзина, которую можно тащить за обе ручки. В корзине посыпается шестимесечная кроха, над ней — звезды. Судьба этой девочки ей-ей же чем-то да будет отличаться от судьбы ее сверстниц, которых осторожные мамы выпускают в большой свет еще не скоро.

...Говорят, что даже самые опытные психотерапевты побаиваются разновозрастных групп. Чтобы сбросить с себя напряжение, нужно раскрепоститься, перестать ожидать от окружающих подвоха, не стесняясь, дурачиться, а как тут маме раскрепоститься, если рядом восьмилетняя дочь?

Я видел. Огромный лесной праздник под Ленинградом. Традиционный — с каждым годом все улучшается: вот уже и деревья начинают приветственно махать ветвями, сопровождая по тропе познания трехлетних ребят, и сады для подростков все остроумнее. Я сижу в засаде, рядом со мной страдает пожилой мужчина, который, как оказывается, не хотел ехать в этот мокрый весенний лес, но жена настояла, — и уж совершенно он не предполагал, что придется лежать в яме, держать в зубах нож, а потом по сигналу выскакивать и кричать истошно, причем не исключено, что именно его Алешка и увидит эту безобразную картину, и прощай, родительский авторитет, прощай...

Вечером, в электричке, данный папа пытался даже подпевать.

...Еще картинка. После трехдневного действия в городе Пушино, где смешались день и ночь и где события накладывались одно на другое, заставляя новичков метаться между залом, где круглый стол по раннему плаванию, игротеккой, слайд-театром, — отъезжая, в автобусе, мужчина тупо уставился в раскрытый портфель, где лежала за быта бутылка коньяка, купленная специально для выезда на природу. Природа была. Выезд был. Про бутылку забыл... Бывает.

...Проблем там, на острове, хватало. Пытались оборудовать верфь, на которой можно было бы починить валавшие по берегу лодки; хотелось насытить жизнь еще и реальными трудовыми заботами. Но у местных плотников не оказалось пакли. Предметом повышенной опасности была специальная тропа к «месту общего пользования», поскольку уборщица базы прокала с утра напивалась допьяна и, пренебрегая своими обязанностями, храпела в кустах. Приходилось устанавливать дежурство на этой скользкой тропе, чтобы поздним вечером кто-нибудь из малышей не свернул себе шею. Попытки переговоров с уборщицей провалились с треском; единственное, на что мы оказались способными, — это оторвать на время от спившейся женщины ее маленькую дочь, которая влилась в лагерь (поселение) на равных с нашими детьми правах и даже победила в специальной олимпиаде по развивающим играм.

И все-таки главные споры шли у нас по внутренним поводам. Наметился водораздел: одни хотели не откладывая дать бой последним остаткам мещанства и индивидуализма — в самом большом доме оборудовали коллективный детский сад-ясли, где с ребятами по очереди дежурили те папы и мамы, которым выпадал сей тяжкий жребий. Однако были решительные противники такого обобществления, утверждавшие, что семья должна и в дни отдыха жить крепкой и спаянной ячейкой. Да, пусть будет жизнь нараспашку во всем, что касается театра, раскопок,

походов, но жить будем в отдельном домике, да и обеды предпочтем семейные, а не из общего котла.

Уникальность ситуации заключалась в том, что все эти решительные споры происходили между благожелательно настроенными друг к другу людьми, хотя, строго говоря, идейными противниками... Днем было не до споров, а потому самые интересные дискуссии начинались у ночного костра, где по кругу шел чай, — алкоголь был бы здесь, на острове, совершенно неуместен, и не только потому, что храп уборщицы был слышен из многих мест. Просто и без алкоголя было хорошо, да и прятаться от детей не хотелось, поскольку тогда нарушался бы главный принцип, на котором-то все, собственно, и держится: рядом с детством, вместе с ним ищи и собственное счастье.

Надо сказать, что на семейные клубы смотрят скептически не только те солидные люди, что полагают это дело утопическим баловством (судят, как правило, не вдаваясь в подробности, а так, по интуиции: баловство и все тут). Некоторый скепсис выражают и активисты МЖК. Им, исповедующим идею, что только в совместном труде, строительстве и можно взрастить настоящий коллектив, немного смехливые попытки «семейников» наладить сотрудничество между людьми в столь эфемерных областях, как досуг, воспитание. Правда, в ответ они слышат не лишённые оснований предупреждения о том, что первоначальный энтузиазм, который довольно быстро рождается у первостроителей, так же быстро может и выветриться, когда люди получают то, что хотели, а именно — отдельную квартиру, где можно жить-поживать достаточно изолированно. Разве не бывает так, что молодые семьи, живущие в МЖК, с превеликой радостью отдают малышей в какой-нибудь экспериментальный, работающий и по воскресеньям, детский сад, построенный своими же руками в самом центре двора, а сами идут искать свое счастье куда-нибудь подальше от детского писка?

Формы совместного с детьми досуга, разновозрастного общения сами собой не рождаются, их моделировать надо. В тонкой этой алхимии, думаю, когда-нибудь состоится-таки смешение жанров, появится нечто, чему пока еще и названия не знаю, в чем лучшие черты МЖК будут соседствовать с чертами семейных клубов, и еще какая-нибудь полезная примесь появится.

Но все это будет потом. Впрочем, ускорение... Присоединяйтесь — помогайте! Дело, в общем, в самом первом шаге, в психологическом барьере, который известное (немалое!) количество наших с вами современников уже преодолело.



СЕРГЕЙ МАРКОВ

## «МЕСТО ВСТРЕЧИ ВОЛГИ

1

«**В**олга-иволга, всегда золотая, золотисто-зеленая!». Я вспомнил эти строки знаменитого астраханца Велемира Хлебникова, окунувшись в Волгу, и тут же позабыл обо всех дорожных невзгодах.

Дельта, где находится Астраханский заповедник, — треугольник, основание которого по кромке Каспийского моря тянется с запада на восток на двести с лишним километров. Две стороны его образуют крупные протоки Бахтемир и Кигач. Есть и биссектриса — третья большая протока, выходящая к открытым мелководьям авандельты, раскатам, как называют их здесь.

Большее половины добываемой в России рыбы давал когда-то Волго-Каспийский район, и две трети ее вылавливалось на Северном Каспии и в низовьях дельты. На весь мир славилась здешние осетры, черная икра. Всего было вдоволь.

**Вот там-то, брат, там золотое дно:  
Белугами полнехонько-полно!  
Осетр, тюлень, северюга... словно в сборе!**

**Уж прибыльно! В весенний ранний лов  
Кишмя кишат они у берегов,  
Сплошной стеной стоят под учугами!..—**

писал Иван Сергеевич Аксаков, проживший в Астрахани около года после окончания училища правоведения.

А через несколько десятков лет начали изводить астраханскую природу — нещадно, безжалостно.

По всей России шли слухи об астраханских рыбных кладбищах — купцы Беззубиков и Сапожников, одни из богатейших в империи, миллионщики, закапывали тысячи тонн рыбы в землю, чтобы поднять на нее цены. Были разгромлены места концентрации ямной рыбы — стерляди, и к началу столетия она потеряла промысловое значение, практически исчезла. На внешнем рынке торговали эгретками — удлинёнными ажурными перьями больших белых цапель, их брачными нарядами, самым модным в то время украшением дамских шляп в Европе и Америке. Известный зоолог В. Н. Бостанжогло писал: «...ни одна птица не служит предметом таких вожделений, как белая цапля...» Уничтожались целые колонии водных птиц, шкурки которых шли на изготовление



Рисунки Е. Ульяновой.

## И КАСПИЯ-МОРЯ»

«меха». В девятьсот третьем году одной французской фирмой было скуплено больше ста тысяч шкурок крачек. Сотнями тысяч вывозились птичьи яйца — на мыловаренных заводах Европы из них делали душистое мыло. В Китае из сайгачьих рогов делали лекарство. Сайгаки в дельте исчезли, хотя было их когда-то очень много. Почти совсем исчезли лебеди, фазаны, колпицы, каравайки, крачки... Профессор Б. М. Житков, под руководством которого в начале века в дельте работала научная экспедиция, заявил о срочной необходимости организации заповедника.

Началась империалистическая война. Гражданская. Зимой 1919 года в Москву к В. И. Ленину приехал представитель Астраханского губисполкома агроном Н. Н. Подъяпольский — и Ленин, несмотря на тиф, разруху, голод, тяжелейшую обстановку в стране, предложил немедленно организовать заповедник в дельте Волги. Известно отношение Ленина к природе, ее охране. Такую, например, записку он написал однажды в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции: «Начальник охраны вод Донпродкома был отстранен от должности за хищнический лов рыбы в низовьях Дона. Этого господина только отстранили

от должности. Нужно узнать, где он, и проверить посерьезней, достаточно ли он наказан». Буквально через три месяца Астраханский заповедник — первый советский заповедник — начал свое существование.

2

**В**ертолет, на котором я хотел облететь дельту, утром не прибыл, позвонили в город, но там ничего толком не ответили. Орнитологи переоделись и пошли работать в лабораторию, а я с главным лесничим Геннадием Емелиным и таксидермистом Лешей Нестеровым сел в моторку, и мы спустились на раскаты, потом пошли вдоль култуков, мелких, заросших камышом и чаканом, заливчиков. Солнце припекало, я снял майку и с удовольствием подставлял ему спину. У Волги особенный запах. Я еще в детстве замечал, как отличается ее запах (мы жили в деревне под Калинином и часто с отцом ездили рыбачить на Валдай, на другие озера и речушки, а у себя на большой Волге ловили щук, окуней и плотву чуть ли не каждый день, на утренней и на вечерней зорьках) от запаха Москвы-реки

или Десны, или Оки,— у Волги запахах, в котором, кроме обычных речных, множество запахов, особенно после дождя: сосновой смолы, свежего огурца, арбуза, клевера, сметаны... Может быть, мне просто казалось в детстве, в детстве многое кажется, но с годами, слава богу, проходит, иначе люди всю жизнь бы только и делали, что прислушивались к многозвучью природы, обилию запахов, наслаждались бы многоцветьем... Взрослый отличается от ребенка тем, что знает: все цвета радуги заключены в одном цвете. И его не проведешь.

Но у Волги все-таки запах особенный.

Мы остановились в небольшом култуке, чтобы понаблюдать за утками.

— Вон каравачки пошли,— кивнул Леша.

Он всех птиц так называет,— прибавляя ласкательные суффиксы: бакланчики, дрофочки... Он часами может за ними наблюдать, как могут некоторые стоять, скажем, в Дрезденской галерее перед «Сикстинской» или перед «Спящей Венерой», и смотреть, смотреть, смотреть... Отец Леша, Александр Андрианович, когда сын ушел служить в армию, думал: мол, посмотрит на мир, с людьми пообщается, и не вернется уж, что он здесь, в глуши, забыл? Но Леша, отслужив и окончив техникум, вернулся. Зов крови, видимо. И прадед, и дед, и отец, в шутку называющий себя Камышовым Котом, родились и всю жизнь прожили в дельте Волги, охотились, рыбачили, охраняли дичь и рыбу... «Что больше всего радует,— говорил Александр Андрианович,— красоте Лешка понимает! В нашем деле это главное. Видел, какие розы, какие георгины у нас на участке? Все Лешка... А чучела какие делает! Я ведь и не учил его — сам сизмальства прибегал и глядел, глядел... Так что по-человечьи все. Уйду вот я — Лешка останется. А мне спокойно будет...»

...Первый выстрел услышал только Леша. Второй и дуплет за ним — и мы с Геннадием. Стреляли где-то западней, на границе заповедника с охранной зоной. Леша завел «Вихрь», и мы помчались в ту сторону. Геннадий вытащил из чехла и зарядил карабин; разглядел темно-рыжую лопатообразную свою бороду. И Геннадий, и Леша были сосредоточены, но спокойны, раскаты до самого горизонта залиты были солнцем, над ивами медленно летели, будто плали, трое лебедей... Мне показалось, что меня разыгрывают. Хотя, какой смысл? Бензин жечь ради этого, много бензина, идем ведь мы на полной скорости!..

— Вон они,— сказал Геннадий.

Браконьеры развернули лодку и попробовали, опередив нас, выйти из култука, но поняли, что не успеют; тогда они снова резко развернулись и скрылись за камышами.

— Срезай,— сказал Геннадий.— В протоку. У кордона перехватим.

Алексей свернул, лодка накренилась и едва не зачерпнула воды.

— Уйдут,— сказал я.— Нас трое, их двое, притом один маленький какой-то, щуплый. И лодка у них вроде короче. Уйдут.

— Не должны,— сказал Геннадий и точь-в-точь, как в каком-нибудь боевике, погладил приклад карабина.— Не должны.

И вспомнилось, как позапрошлой зимой гонялись мы за браконьерами со старшим охотоведом Уссурийского района Иваном Григорьевичем Лещенко. Мороз был градусов тридцать пять да еще ветер. Весь день ездили по кордонам, а когда стемнело, поставили «козлик» в низких дубовых зарослях на сопке и стали караулить «светильщиков» — браконьеров, которые слепят, гонят по дороге и бьют зверей на ходу с машины. Печка работала плохо, ноги дере-

нели, и приходилось их растирать. Тьма кромешная. Лещенко курил одну беломорину за другой и рассказывал всякие уссурийские истории: как медведь снял двум охотникам скальпы, как погналась тигрица за мотоциклистом, как бросился тигр на охотника, наступившего ему случайно на хвост, торчавший из зарослей... Но все это были случаи редкие, о них говорило все Приморье. А вот двуногие хищники, браконьеры, они опасней, и стычки с ними чаще случаются, чем с тиграми или с медведями. Лещенко рассказал мне несколько таких историй, что я диву дался: кто при зарплате восемьдесят — девяносто рублей идет работать егерем? «А никто почти и не идет,— сетовал Иван Григорьевич.— Денег мало — это, во-первых. А во-вторых, вот что... Не хотелось, ага, говорить, но не молчать же, не скрывать! Вот, к примеру, мало ли, все случится может... ну, вот, скажем, хлопнут меня, ага... Или там ранят... Ага. А судить их будут, значит, как обычно». «Что значит, как обычно?» «А то и значит,— разгорячился вдруг Лещенко,— что или я чего не понимаю, или есть, к примеру, я вот, ага, представитель власти... Прав я?» «Правы, конечно». «Так и ответственность должна быть, как за покушение на представителей власти! Давно, давно пора нас в этом смысле к милиции или по крайней мере к дружинникам приравнять, чтоб знали, ага, чтоб... У меня такое мнение! А то ведь сколько, если в общем масштабе взять, нашего брата...»

И той же ночью я убедился, что Лещенко абсолютно прав. Нет, его не убили, не ранили и вообще ни в кого не стреляли. Но разговаривали «светильщики», которых мы догнали, смотрели на охотоведа так, будто у них все права, а у него если и есть, то какие-то фиктивные, на бумажке. Их было трое, один постарше, двое помоложе. «А тебе-то что? — хрипло рявкнул старший в ответ на какие-то слова Лещенко. — Ну и что?..» Лицо старшего, мертвенно белое в свете фар, изрытое, перекошенное, явно внушало опасения. Перед тем как выпрыгнуть из машины, Иван Григорьевич сунул мне свой наган двадцатого года выпуска, из которого мы накануне стреляли — и попасть из него с двух шагов почти невозможно. «Это в самом крайнем, Алексеич», — сказал Лещенко. Я хотел спросить, что означает «самый крайний», но не успел. И не выдержал-таки. Из-за включенных фар браконьерам меня не было видно, они думали, что Лещенко один. Когда в ответ на его требование сдать оружие, старший послал охотоведа далеко и повернулся к своей машине, я вскочил. Лещенко, воспользовавшись замешательством, которое произвел наган в моей руке, обезоружил старшего, а младшие сами поспешно сдали обрез, тут же начав канючить. «Я вообще-то один редко работаю, — пояснил мне потом Лещенко, — ага. Тем более ночью. Но бывает... А что поделаешь? Не хватает егерей».

...Астраханских браконьеров мы настигли довольно быстро. Можно было бы, конечно, напридумывать, но зачем?

Метров с пятидесяти я увидел, что в лодке мужчина и мальчик. И когда мы еще приближались, мужчина выбросил в камыши один за другим несколько предметов.

— Пальни в воздух, Ген,— сказал я.

— Зачем шуметь? — удивился Геннадий.— Заповедник же...

— А моторы?

— К моторам птица привыкла уже... Слева их обходи, Леш, слева...

Потом мы с Алексеем вернулись и нашли в камышах и на воде трех крякв, а Геннадий тем временем составлял протокол. Браконьеры, отец и сын,



очень были похожи друг на друга — оба белокрысы, угрюмые. У мальчика трясся подбородок; вытярая нос то одним, то другим рукавом, сопливый браконьер готов был разреваться, но держался и молчал. Он был в маленьких кирзовых сапогах, в пиджачке, и я, глядя на него, вспомнил, как мы с отцом охотились на Волге, как прыгал я в воду вместо собаки и приносил подранков...

Вечером мы с Геннадием сидели в домике, где я живу, пили чай с арбузом и разговаривали. Тяжелый какой-то осадок остался на душе от нашего дневного задержания. Мальчуган в конце концов разревелся, и мы узнали постепенно, что у старшей его сестры послезавтра свадьба и приехал в отпуск его двоюродный брат, который служит на Тихоокеанском флоте, и мамка у них очень болеет... Вечером мы старались говорить о другом: о зарплате егерей, которая здесь еще меньше, чем в Приморье, потому что нет никаких надбавок, о праве на ношение нарезного оружия, о прошлогоднем пожаре, вспыхнувшем от роторной косилки, которая прокашивала противопожарные пятисотметровые полосы, и при ветре около двадцати метров в секунду выгорела громадная территория, потому что зеленый тростник летом горит, как порох, а техники для борьбы с пожарами нет никакой.

И все-таки мы вернулись к нашим браконьерам.

— Да ничего ему не будет! — раздраженно махнул рукой Геннадий. — Ну без дичи свадьбу сыграют. Ну оштрафуют его... А может, вообще ничего не будет. Сколько раз уже — передаем документы в охотинспекцию, в рыбоохрану и годами тянется резина, волокита бумажная. Не нужно это никому, а у нас у самих никаких прав нет, одни обязанности. Ладно, если такие, как сегодня, браконьеры: они и охотились-то не в заповеднике, а в охранной зоне, и не ударила особо...

— Да?

— Полчаса на моторке — это что! Неделями гонялись на вездеходе — за вездеходом же. А в том году случай был. Забрались сюда двое парней на мотоцикле. За кабаном. Егерь наш, человек опытный, пожилой, перехватил их, они сперва вырвались, угнали. Полдня он их выслеживал, снова перехватил, выходит, вытаскивает пистолет... А парни пьяные были абсолютно, сбивают его, и, падая, егерь стреляет случайно. Что случайно, это точно, потому что не первый раз с ним подобное, он знает, чем может кончиться. Рана у одного из парней — совсем пустяковая, почти царапина. Но десять лет почти вlepили нашему егерю за эту царапину. Представляешь, двое сопляков пьяные в заповеднике без охотничьих билетов, без прав на мотоцикл, который, как потом выяснилось, они угнали... и десять лет! Спасибо нашему директору, Александру Григорьевичу, чуть ли не до самых верхов дошел, но спас человека от тюрьмы. И не просто человека, не просто егеря — ветерана войны и труда... А нервов сколько это стоило! Не понимаю, что за отношение такое к егерям, вообще к людям, охраняющим природу?..

### 3

**К**амыши, которые правильней называть тростником, протоки, заросшие култуки, ивы, кое-где небольшие песчаные плесы и раскаты, раскаты — до самого Каспия. Птиц немного — в августе они прячутся и прячут своих подрастающих детенышей. Но кое-кого с вертолета мы все-таки увидели. Колонии уток, заканчивающих линьку, сбива-

ющих маховые перья, караваек, пеликанов, лебедей... Лебедей здесь очень много — около двухсот тысяч пар, а во время создания заповедника их почти не было — ни кликунов, ни шипунов, ни малых. Прошлая зима была суровой, и около тридцати пяти тысяч лебедей замерзло, в основном на северо-восточном Каспии. Ничего нельзя было поделывать. Много лебедей осталось холостыми, вдовыми.

Вечером мы сидели у костра в ожидании ухи. Русланов рассказывал о воронах и грачах. Они, в последнее время жутко расплодившиеся, приносят огромный вред. Раскалывают яйца других птиц, уничтожают рис, пробивают и тем уничтожают арбузы, пробивают теплицы. Они способны гнездиться где угодно, даже на линиях высоковольтных передач. Могут лапами выхватывать из воды рыбу, вырывать у детей хлеб из рук, садиться на детские коляски... В общем, обнаглели до предела. И можно ждать от них, хитрых, двуличных (а объем мозга у врановых больше, чем у других птиц), жестоких, — всего. Сам человек создал им условия. Десятки тысяч лебедей замерзли этой зимой, но ни одной вороны или грача. Зачем замерзать, когда вокруг сплошные свалки, мусор, которым и поживиться можно, и согреться, столько тепла человек выбрасывает на ветер, будто небо пытается отопить.

### 4

**И**звестно, что и «гнусные» насекомые необходимы жизни на земле. О пользе змеиного яда и говорить не стоит. Из плесени делают антибиотики. На дрожжи изучают влияние космических лучей на живые организмы. Месторождения нефти и газа определяют при помощи углеводородных микробов. Биометаллургия основана на способности микробов переводить отдельные нерастворимые соединения металлов в растворимые, после чего происходит обычная обменная реакция с выделением чистого металла, — в недалеком будущем, возможно, люди станут вспоминать о доменных и мартеновских процессах как о чем-то допотопном. Змея при помощи «термозлемента» точно угадывает незащищенное место своей жертвы, мгновенно отыскивает «ахиллову пята». Ящерица-круглоголовка в поисках укрытия включает «вибратор» и мгновенно погружается в песок на спасительную глубину.

«Каждая форма, — уверял основатель Астраханского заповедника Владимир Алексеевич Хлебников (кстати, отец поэта), — хранит в себе тайны для будущих исследователей и, будучи истреблена, уносит эти тайны навсегда с собой».

Председатель первой международной конференции по охране природы, которая состоялась в 1913 году в Берне, Л. Форер говорил: «Истребление ценных видов растений и животных приняло в наше время действительно ужасные размеры, и пора наконец всем благоразумным людям сойтись в твердом решении положить конец этому истребительному неистовству и сохранить, насколько возможно, то, что можно еще спасти. Гибель редкого животного или растительного вида возбуждает в душе человека чувство невоснаградимой утраты; эта гибель всегда окончательна, так как исчезнувший вид уже не возвращается. И фауна, и флора представляют собой связанные системы: каждый вид обладает признаками и органами, сходными с таковыми же у других видов того же семейства или близких семейств; один дополняет и объясняет другой. Исчезновение какого-

либо звена в общей цепи живых организмов составляет всегда препятствие для исследователя, подобно тому, как крушение моста разверзает пропасть у ног путника».

Это все писалось и говорилось в начале века. О какой же пропасти говорить нам, когда сотни видов птиц и млекопитающих исчезло навсегда и еще сотни и сотни — под угрозой исчезновения?

## 5

**У** нас в стране каждый год колыцуют около полумиллиона птиц. В Москву, в Центр кольцевания на Котельнической набережной, возвращаются в конвертах кольца или специальные таблички с острова Врангеля и из Индии, из Канады, из Японии, из Норвегии и с Канарских островов... Белый гусь, например, был спасен совместными усилиями ученых СССР и США. Договорились ученые наших стран о спасении казарки. Была советско-японская конвенция о птицах...

В Астраханском заповеднике колыцуют в год около пятнадцати тысяч птиц.

Я помогал орнитологам расставлять ловушки из сети, колыцовать уток — крякв, нырков, чирков, — и мы говорили о том, как многому человек мог бы научиться у перелетных птиц.

Скажем, нарушение углеводного обмена — одно из тяжелейших заболеваний. Птицы абсолютно свободно управляют своим обменом, переводя его из одного крайнего, смертельного для человека состояния в другое, до, во время и после перелетов. Значит, в принципе это возможно? После перелетов птицы легко сбрасывают жир, которым, словно самолет — топливом, запасались, — наверное, это можно сделать и с патологическими полными людьми. Человек всю жизнь работает в ночную смену и всю жизнь ночью хочет спать, потому что суточный ритм обмена веществ у него остается дневным. У птиц суточный ритм гораздо более четкий, чем у человека, но дневные птицы при перелетах меняют его, переходят на ночную работу, хотя в принципе у них те же регуляторы, что и у человека. Некоторые люди многое бы отдали за то, чтобы научиться напряженно работать несколько суток подряд, как птицы во время перелета через океан...

А дорогу как птицы находят!

...Окольцевав семнадцать уток и одного баклана, чуть не поранившего своим острейшим клювом мои непривычные руки, записав в специальный журнал номера, серии колец, дату и все остальное, что нужно, мы отправились искать следующее скопление уток.

Дул легкий ветерок, и по воде стелилась золотисто-зеленая рябь. На листе сальвинии я заметил уютно примостившегося полосатого птенца чомги и в который раз пожалел, что не взял с собой фотоаппарат.

Под куласом поблескивали чешуей стайки довольно крупных красноперок. По зарослям чилима, как по ковру, расхаживали желтые цапли. Куртины ежеголовника казались черными от густо облепивших мельчайших насекомых — хиронимид.

— Пеликаны, — показал рукой Русанов. — В поле-те на древних ящерах похожи, правда?

В заповеднике можно увидеть и услышать двести семьдесят видов птиц.

— А это кто? — спрашивал я Лешу Нестерова, сидящего в кулесе напротив меня с закрытыми глазами.

— Лысушки. Нежные птички. И казарочка за ними.

— А это?

— Чаечка серебристая, кто ж еще так хохочет?

— А это приближается?

— Не слышу... А, сапурки.

— Какие сапурки, типичные белые цапли.

— Так это ж одно и то же.

Вытянув длинные лапы, пролетают над нами семь больших белых цапель. Они смотрят на нас без волнения и даже без особого любопытства. Взирает на цапель и на все пространство вокруг сидящий на толстой ивовой ветке орлан-белохвост. Темно-бурый, с массивным клювом, размером он с немецкую овчарку, а размах крыльев у него — два с половиной, а то и три метра. Орланы-белохвосты встречаются в Скандинавии, в Западной Европе, в Средней Азии, в Китае и Японии, но их осталось очень мало, они внесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений СССР.

Несколько лет назад сотрудники Каспийской орнитологической станции с помощью работников заповедника, охотничьих хозяйств и лесничеств определили примерное количество орланов-белохвостов в дельте Волги — около полутора сотен гнездящихся пар. Огромные свои гнезда, похожие на крестьянские избы где-нибудь на Севере или в Сибири, шириной два и высотой полтора метра, орланы-белохвосты строят на развилках деревьев из толстых сучьев, стволов, почти бревен. Одно и то же гнездовье, как правило (если, конечно, не разрушать), они занимают долго, до ста и больше лет.

— Я когда пацаном был, — сказал Леша, — взял себе недельного орланчика, а отцу не сказал ничего. Ну, а в мае или в начале июня он улетел. И потом я нашел его в камышах мертвым. Родители-то не воспитывали его, ничему не учили... А у отца с кабанчиком было дело. Не рассказывал про Машку?

— Нет. А что за Машка?

— Пусть сам расскажет. Ты в музее-то в нашем был?

— Не соберусь все никак. Там туристы косяками...

— Попроси Андрианыча, чтобы с тобой пошел. Отец много тебе интересного расскажет. Не пожалейшь.

Быстрина выносила на раскаты, и приятно было сопротивляться, пыть кролем, баттерфляем, потом переворачиваться на спину, переводить дыхание и, оказавшись уже где-то между камышовыми уколками, в зарослях кувшинок, снова устремляться изо всех сил вперед и вверх...

Орлан-белохвост грузно снялся с ветки, с басовитым «кли-кли-кли» сделал круг и легко вдруг взмыл в самое поднебесье. Мы с Лешей оделись и поплыли вдоль култуков к востоку, к Трехизбинскому участку. Я греб, Леша делал записи в дневнике, поглядывая по сторонам.

— А там вон чайки! Леш? Какие-то не такие...

— Черноголовые чаечки. Пугливые они. Потревожишь — яйца свои расклевывают. А если стащит кто-нибудь яйцо или птенца, черноголовка сперва гонится за жуликом, морским голубком, к примеру, а если он успеет хоть раз клюнуть малютку или уронит яйцо, то сама присоединяется к трапезе.

— Какая милая и добрая мамаша, да?

— Полезные они, эти чайки, — чуть ли не обиженно говорит Леша. — Очень полезные. Одна птица в день поедает больше двухсот граммов корма — вредителей, с которыми никакая химия не справляется. В одночасье с полей исчезают жук кузька, хлебная жужелица, клоп-черепашка... Но все меньше их становится, черноголовых чаек.

— Мы тут в дельте за все расплачиваемся, — говорил директор заповедника Александр Григорьевич Конечный. — За то, например, что где-то на Каме, на Березниковском калийном заводе произошел аварийный сброс рассола... Очистные сооружения строятся, но очень и очень медленно, и их, конечно, мало. И вот какая странная еще штука: «Каспводнадзор», призванный следить за чистотой воды, не заинтересован в отражении истинного положения дел, потому как премии у них от этого зависят: не заметил ты никакого загрязнения вод — почет тебе и материальное поощрение, а если уж обнаружил — пеняй на себя, живи, как говорится, на одну зарплату. Что это такое? Это как понимать в наше время?

— Намного вода стала грязней после зарегулирования стока Волги, — сетовали директор и ученые заповедника — ихтиологи, гидробиологи. — Зимой Волгоградская и Саратовская ГЭС работают в полную силу и сбрасывают огромное количество горячей отработанной воды. Так называемые зимние попуски, паводки губят все живое: вырывают с корнем кусты, деревья, тростник, а без тростника дельта просто прекратит свое существование, превратится в мертвые болота и солончаки; обманывают рыбу, и она выходит из зимовальных ям, идет на нерест, гибнет подо льдом, потому как весны-то еще настоящей нет и в помине... И весенний паводок нарушается из-за гидростанций — сокращается чуть ли не наполовину, из икринок не успевает вырасти жизнеспособная молодь рыб. Потери чудовищны! На восемьдесят пять процентов сократился нерестовый фонд осетровых, во много раз уменьшился вылов воблы, сазана, судака... Мнение специалистов: необходимо срочно пересмотреть действующий режим использования водных ресурсов Волжско-Камским каскадом ГЭС в соответствии с рекомендациями Государственной экспертной комиссии Госплана. Было бы разумно с декабря по март сократить расходы воды, используя другие источники. Вообще слишком много у Волги берут воды, непозволительно много. На одно только орошение сельскохозяйственных угодий воды идет почти пять миллиардов кубометров. А возвращается вода (не вся, естественно, ничтожная ее часть) загрязненной, отравленной минеральными удобрениями, гербицидами...

— Взять наше озеро Баскунчак, дающее стране около сорока процентов всей соли, — продолжает Александр Григорьевич Конечный. — Берут и берут — в пищу, в химическую промышленность, берут вдвое, а то и втрое больше, чем можно. И привело это к истощению запасов озера. Соли хватит еще максимум лет на десять. Вот. Институт «Гидропроект» Минэнерго СССР разработал «Генеральную схему комплексного использования и охраны водных ресурсов СССР». В ней предусмотрена переброска в 1990 году в реку Урал двух кубокилометров, в Дон — пяти-шести, а потом и до двадцати кубокилометров волжской воды, а также в Терек, Сулак... Что это? Кому это нужно? Если учесть, что будет построен канал Волга — Чограй с изъятием из стоков Волги около пяти кубокилометров воды и многих других водотрактных, то станет ясно, что даже если перебросить северные реки для подъема уровня Каспия (а уровень его и сам в последние годы прямо на глазах поднимается, и вообще переброска северных рек смертельно опасна для такого чуткого организма, как дельта Волги), то Волга лишится воды, а мы, не побоясь сказать, можем лишиться и самой Волги... Ведь доказала история, что такие массивные

удары по природе кончаются плачевно. Вспомним Красноярское водохранилище, Аральское море, озеро Балхаш, залив Кара-Богаз-Гол... Теперь уже приходится думать о том, как загладить вину, вернуть природе хотя бы толику уничтоженного нами. Не случайно в «Основных направлениях», утвержденных XXVII съездом партии, прямо сказано: «Повысить эффективность мер по охране природы... Воспитывать у советских людей чувство высокой ответственности за сохранение и приумножение природных богатств, бережливое их использование».

За обедом мы ели арбуз, огромный, сахарный, без примеси селитры, неполивной, который теперь и в Астраханской области днем с огнем не сыщешь, и мне вспомнилось сравнение. Если вообразить земной шар арбузом, то тончайшая земляная пленка на его поверхности, которую запросто можно соскоблить, потому что она гораздо тоньше человеческого волоса, будет слоем почвы на планете. А от почвы, от того, как мы к ней относимся, зависит наша жизнь.

«Мы решительно ничего не сделали, — говорил великий русский ученый В. В. Докучаев, — чтобы приносить наши пашни к засухам, чтобы утилизировать в сельскохозяйственном смысле наши речные, снеговые и дождевые воды; мы до сих пор еще всю ответственность за наши урожаи преспокойно возлагаем на погоду».

Говорил это Докучаев много лет тому назад. Но и сегодня, думается, его слова не совсем уж потеряли свою значимость.

Человеку известно около сорока видов мелиорации. Но у нас почему-то под мелиорацией стали понимать лишь орошение и осушение. На водные мелиорации за два года было истрачено четырнадцать с половиной миллиардов рублей, а на все остальные — террасирование крутых склонов, охрану земель от водной и ветровой эрозии, лесопосадки и так далее — в двадцать шесть раз меньше. Лесозащитные полосы созданы на площади всего 136 тысяч гектаров. Это удручающе мало. При таких темпах почвы наши не будут защищены и к концу следующего столетия. Мы будто бы забыли или просто не хотим вспоминать — не на словах, а на деле, — как заботились о «сеяных лесах» Петр I, Ломоносов, казаки Дона и Кубани!

Большинство ученых сходится на том, что воды в нашем сельском хозяйстве потребляются слишком много; что комплексная мелиорация гораздо полезней, дешевле, выгодней во всех отношениях, чем сооружение колоссальных, невиданных в мире водозащитных и гидротехнических сооружений. И все-таки есть люди, и довольно влиятельные, которые по тем или иным причинам ратуют, борются за всевозможные перекрытия, переброски, повороты, и которые самовольно принимают преступные решения, как это случилось в Южном Казахстане с чудесным озером Биликулем. Сперва оно было отравлено аварийным выбросом отходов минеральных удобрений, а потом директор совхоза соорудил на реке, впадающей в озеро, плотину, в результате чего зимой озеро вымерзло, вся рыба погибла, исчезла зелень, закрылась в поселке школа-восьмилетка, потому что учиться в ней стало некому — жители поселка уехали.

Мы сейчас много говорим о гласности. Но есть ли вопрос более достойный для всенародного — в истинном смысле слова — обсуждения, чем вопрос о переброске части стока северных рек на юг. Нескольким лет назад об этом писалось в прессе, а потом, не знаю уж, по чьей вине или волевоу решению, дис-

куссия как бы исчерпала самое себя, словно в воду ушла. А вопрос ведь остается открытым, он кроветочит, как открытая рана, он будоражит, спать не дает людям, которые не согласны с перебрской, среди них и всемирно известные академики, и писатели, и учителя, и моряки, и рабочие, и студенты... Года три назад я опубликовал материал о перебрской рек и получил тысячи писем, полных тревоги и боли за свою землю! Отвечал я формально, потому что и мне в вышестоящих инстанциях отвечали формально или вообще ничего не отвечали, ясно давая понять, что не мое это дело, есть люди более компетентные. Нет, дело это касается всех и каждого, потому что на чаше весов — Родина, ее природа!

## 7

**П**о совету Леша я попросил его отца, таксидермиста Александра Андриановича Нестерова, показать мне музей. Андриану, как все его называют, уже много лет, он помнит то время, когда заповедника еще не было, и как с отцом они строили первые домики, кордоны, встречали вместе с основателем заповедника Владимиром Алексеевичем Хлебниковым первых ученых, приехавших сюда работать, — ботаника и орнитолога, и как сделал он первое свое чучело — дрофу, которую сам же и добыл...

Не просто чучела. Нужно быть художником, думать я, слушая Андриану, нужно быть частицей природы, чтобы подглядеть, а потом изобразить любую из мизансценок, ну, вот хотя бы эту, где одна ворона дразнит, отвлекает баклана, а другая тем временем ворует у него из гнезда яйца.

— Часами сидишь, сидишь в камышах, — широко улыбаясь Андриану, — комарье жрет, самому, понимаете, жрать охота и спать охота, но сидишь, сидишь, сидишь... Надо ведь как? Надо, чтоб все по-человечьи было, что бы ты ни делал. Правильно я понимаю?

— Правильно. А это, Александр Андрианович, тот самый кабан, о котором мне Леша рассказывал?

— О Машутке? Да, было дело. Ты садись, в ногах правды нет. А я постою. Я привычный. Давно это было. Подобрал я во время весеннего паводка на улке кабанчика. Малюсенького такого. Но дикарь. Принес, стал кормить, а он аж ложку грызет, и ничего не ест, ни молока, ничего. Тогда сообразил я, что в природе они чилимами питаются. Сходил, набрал побольше этих орехов водяных, растолок, молочком разбавил... Короче говоря, стала Маша — я кабанчика Машкой сразу назвал, в первый же день — помаленьку привыкать. Росла. Дети играли с ней, кормили, пеленали даже, как куклу.

Выросла. Стали ее побаиваться — дети все-таки кругом, женщины... Долго я сопротивлялся, но заставили. Сел я в кула с ей: садись, мол, Машутка. Заез ее километров за семь от поселка, туда, где чилимов кабаны ели. И Машутке чилимов показал. Простился. Приплываю домой — ждет меня моя Машутка, — по-стариковски блеклые глаза Андриану вдруг краснеют, он прикрывает их ладонью и долго молчит. — Нечего было делать. Сколько увозил — возвращалась. Тогда отдал я Машутку лесникам. У самого рука не поднималась. А шкуру ее мне вернули. На, говорят, Андриану... — Он снова замолкает, присаживается, но тут же встает. На фронте Александру Андриановичу ампутировали отмороженные пальцы ног, об этом долго никто не знал в заповеднике, потому что без усталости по многу километров мог бродить Андриану по камышам, по болотам. И сейчас он часами на ногах, и говорит, что

совсем не устает. — Не по-человечьи я поступил с Машуткой. Привыкают — а пустишь в лес, как дети все равно малые... Больше уж я никого себе не брал.

— Вообще, — говорит Андриану раздумчиво, — бывают такие моменты... Вот с кабаном или с котом камышовым, который тоже на меня однажды из камышей и... чудом я каким-то... Или когда за птицами наблюдаешь много часов подряд, в язык их вслушиваешься... Говорить я не мастак, на собраниях редко выступаю, в камышах все больше... Но есть у меня такая мысль, что человек сам порой как бы... Сам он — природа. Разделять нельзя. Мы просто не знаем еще многого. Но по-человечьи надо... Взять вот хоть дельту нашу. Она сколько раз человека, всю Россию выручала в беде? Так и мы к ней должны по-человечьи. А то поймал тут браконьера одного, а он, умник, как пошел сыпать названиями всякими хитрыми, химией разной, физикой и прочей дрянью, которой Волгу травят. Мол, я десяток судаков возьму, а завод десяток тыщ потравит. Я не поверил сперва, но поинтересовался — так все... Это ж не по-человечьи, правильно я понимаю?

## 8

**«Е**сть тонкие властительные связи меж запахом и контуром цветка...» Сажу в кулаسه посреди благоуханного моря лотоса. Ночью грохотал и потрескивал сухой гром, металась над дельтой, которую Велемир Хлебников назвал «местом встречи Волги и Каспия-моря», бесноватые белые молнии, гудел ветер. А теперь тихо. Разглядываю цветок лотоса. Засушить, как обычную розу, заложить лепестки в книгу на память невозможно, потому что цвет сорванной «каспийской розы», нежный, воздушно-розовый, с золотистым, перламутровым, матово-серебристым в тени оттенками, почти сразу умирает. Она и в природе-то всего три дня цветет. А запах, от которого легко и сладко кружится голова, и на сердце как-то очень покойно... Правильно я сделал, что не взял с собой фотоаппарат даже с самой что ни есть кодаковской пленкой или слайдами. Не изобрел еще человек такой аппарат, чтобы с его помощью можно было запечатлеть цветущий лотос.

**Быть может, вся природа — мозаика цветов?**

**Быть может, вся природа — различность голосов?**

**Быть может, вся природа — лишь числа и черты?**

**Быть может, вся природа — желание красоты?**

Сажу и смотрю, как садятся на огромные зеленые блины — листья лотоса — бабочки, переливницы, репейницы, голубянки и какие-то еще темно-зеленые в красно-фиолетовую крапинку, названия которых не знаю. Между листьями снуют жуки-плавунцы. Шуршат где-то возле самого уха крыльями, прозрачными у основания и густо-синими, с зеленым оттенком по краям, стрекозы, красотки и дозорщики. Тут и там выпрыгивают, чуть ли не на хвост становятся и смачно плюхаются в воду метровые сазаны. Парит в небе орлан-белохвост, а может быть, степной орел, и больно смотреть на него, то исчезающего, то появляющегося меж облаками.

## Здравствуйте! Это я



# ЧАС ПРИЕМА ПО ВЕЧНЫМ ВОПРОСАМ



ксане было шестнадцать, когда она села на велосипед и покатила к морю. До моря было километров этак с тысячу. Но она поехала и доехала.

Однако Малая редколлегия сказала, что если и есть в состоявшемся походе что-то из ряда вон выходящее, то это вовсе не километры и не Оксана. И даже не велосипед. А — Оксанина мама, которая взяла и отпустила дочь. Да еще на целый месяц. Да еще на велосипеде. Да еще на прокатном. Да еще с совершенно незнакомыми людьми. (Да еще противоположного пола!) Малая редколлегия немедленно заявила, что именно такую маму ищет днем с огнем и по всему свету для совета и для ответа.

Отвечать нужно было девочке Люде, у которой «каждый вечер глаза красные от слез, потому что вечером в дверях квартиры поворачивается ключ и произносится: «Никуда не пойдешь! Всякое бывает! Все! Я сказал: никуда не пойдешь! Точка!»

А мама Оксаны, когда дочь объявила, что хочет поехать по какому-то объявлению куда-то к морю с какими-то ребятами, мама сказала: «Правильно решила! Поезжай!» И вот так обосновала Малой редколлегии свое «из ряда вон выходящее» разрешение: «Чем больше запретов, тем медленнее человек становится человеком. Запретами можно вообще отучить совершать поступки. Мы ведь не в состоянии отменить то злое, с чем наши дети сталкиваются в жизни. Так пусть это столкновение произойдет при нас...

Наконец, она вернулась: загорелая, худющая, взрослая, и стала заваливать нас своими рассказами.

Слушала я ее и думала: имеем ли мы право отнимать у своих детей то, что можно получить только в их возрасте? Ведь это их жизнь, не наша. Не надо ее обеднять. Тот папа, который «сторожит» свою дочь Люду, заботится не о дочке, а о собственном покое. Результатом запретов будет только одно — отчуждение. Потом уже моста через отчуждение, как ни старайся, не перекинешь... Мне кажется, это самая главная обязанность родителей — слушать своих детей. Точнее, слышать».

Еще о многом говорила «невероятная» мама в этот удивительный час — «Час приема по вечным вопросам». Малая редколлегия слушала, спорила, спрашивала. А все это происходило на одной из 64 страничек нового журнала «Рабочая смена».

В мае мы получили Первый номер, раскрыли, перелистали, прочли и решили, что это неплохо, а местами даже хорошо. Даже для начала. Здесь любили выдумку и любили читателя. Помнили о том, что для того чтобы каждый опубликованный материал отличался от рыбьего жира, он должен быть не только полезным, но и интересным. Здесь любили невероятности. По журналу летал радостный дирижабль. Композитор плохо видел через очки, если на стекле не был наклеен фирменный знак. Восемь пятых размер соблюдая, Таня хлопала дверью сарая, аккомпанируя ни на кого не похожему ансамблю «Кукуруза». Замечательным соседом по парте оказался отличный профессионально-технической учебы Владимир Шлядин. Соседствовал он с компьютерным миром Юрия Чернавского и семнадцатилетним чемпионом мира по баскетболу Арвидасом Сабонисом. И среди всех этих невероятностей был сам факт существования в журнале, кроме обычной редколлегии, еще и Малой редколлегии. Но она существовала с той же очевидностью и необходимостью, как Малый театр соседствует с Большим. Членами-корреспондентами Малой редколлегии были подростки, мальчишки и девочки, учащиеся ПТУ, старшеклассники, молодые рабочие, то есть те, для кого и делается журнал «Рабочая смена». А делается он для того, чтобы помочь шагающему в жизнь человеку найти себя и свою профессию.

«Хорошо!» — сказали мы и отложили Первый номер. Первый блин не был комом, хотя имел на это право. Но подождем второй... Он не заставил себя ждать. И тогда мы позвонили в Минск:

— Алло, «Рабочая смена»? Поздравляем с днем рождения! Со счастливым началом! Как дела?

— Спасибо, «Юность». Подписан третий номер, — ответил нам главный редактор Александр Класковский.

— Много у журнала читателей?

— 250 тысяч. Но со следующего года подписка станет свободной. Легче будет подписаться, чем на «Юность».

— Прекрасные новости. Но у нас тоже с этого года на «Юность» подписка без всяких ограничений.

— Отлично! — сказал Александр. — Иду подписываться.

— Желаем Вашему журналу талантливых читателей!

— И мы желаем Вам таких же, «Юность».

Мы положили трубку... и почтальон принес третий номер. И этот номер тоже был так обаятельно свеж и молод, словно журнал распахнул дверь в читательскую аудиторию и крикнул задорно: «Здравствуйте! Это я».

Счастливого тебе продолжения, журнал!

ВСЕВОЛОД РЕВИЧ

# ЗВЕЗДОЛЕТ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧКА?

(Около научной фантастики)

*М*ожет ли существовать литература без замысла, без мыслей, без идей? Не может, скажете вы, и ошибетесь, потому что она существует и процветает.

То удивительное литературное образование, о котором пойдет речь, именует себя научной фантастикой, хотя в нем нет ни науки, ни фантастики. Если мы признаем фантастику частью художественной литературы, то ее предметом может быть только исследование типов поведения человека в различных условиях, а научно-техническая гипотеза служит для создания этих условий. Именно такая, человеческая, глубокая по мысли, по философским обобщениям советская и мировая научная фантастика создала неслыханную популярность этому жанру.

Рисунки И. Оффенгендена



Но забудем на время о художественности, которой, несомненно, должно обладать произведение литературы. Пусть в предлагаемом сочинении будет хоть что-нибудь. Хоть новая, интересная, осмысленная гипотеза. В конце концов остроумные мысли тоже могут доставлять удовлетворение своим первородным, эвристическим началом. Этот компромисс понадобился для того, чтобы перейти к той обещанной разновидности литературы, вернее, печатной продукции, о которой я начал разговор.

Если бы этот разговор касался сравнительно небольшого процента обыкновенных неудач, то не стоило бы тратить столько пыла; в каком жанре их нет? Но похоже, что «нуль-литература» составляет изрядную часть всей выходящей у нас фантастики. То есть можно поручиться, что речь идет не о случайных просчетах, а о явлении.

Если в рассказе человек садится в электричку, то это, разумеется, бытовая мелочь. А вот если взлетает в звездолет — это уже совсем иное дело... Есть множество авторов, издателей и даже читателей, которые убеждены — может быть, искренне — в том, что замена электрички звездолетом автоматически превращает произведение в фантастику.

Вот типичный для нашего случая сюжет № 1: экипаж звездолета отправляется на иную планету и обнаруживает там космических соседей, стоящих, как правило, на более низких ступенях развития. Это понятно: более высокие ступени прилетели бы сами, что и составляет сюжет № 2 — посещение Земли инопланетянами. Сюжеты № 1 и № 2 встречаются чаще всего, остальные модификации — скажем, появление у людей видений под влиянием различных предметов или существ — реже. Популярна также машина времени (по научно-фантастическому — хронолет), позволяющая, допустим, заявиться в гости к поэту Фирдоуси, дабы сообщить ему, каким гениальным он станет впоследствии. Частенько забредают в наши дни и хронолетчики из будущего. До недавнего времени на горных окраинах страны фантасты регулярно обнаруживали снежного человека...

Нет нужды оговариваться, что по любой из названных структур можно припомнить много прекрасных, умных, высокоидейных книг, вошедших в золотой фонд мировой фантастики. Полет земного корабля к космическим соседям — это, например, «Аэлита», а посещение Земли инопланетянами — это «Война миров»... Словом, тот, кто захочет найти контрпримеры, пусть раскроет другие статьи по фантастике. Мы же ограничимся утверждением, что хорошие книги в фантастике, в том числе, разумеется, в отечественной, есть, и выходят они в тех же издательствах, но это обстоятельство и «нуль-литературу» все же не реабилитирует.

Итак, начинаем с полетов на иные планеты. Что здесь плохого? Зачем запрещать путешествовать по галактикам? Да летайте звездолетами на здоровье! Скорость, надежность, комфорт! Но при одном условии — сначала ответьте себе и читателю на вопрос: зачем вам понадобилось посылать своих героев в такую даль?

Рассказы сюжета № 1, как правило, начинаются со сходных фраз. Примерно таких:

«Три месяца патрульный космолет «Торнадо» находился в свободном поиске, обследуя неизвестный еще участок Млечного Пути. Работа была самой обычной...» (Ю. Тупицын. «Шутники»).



«Это произошло на траверзе Эпсилон Эридана — захолустной звездочки, известной ныне разве что составителям каталогов... У «Валенты» начали барахлить кинжалные дюзы, и капитан велел лечь в дрейф...» (В. Михановский. «Стрела и колос»).

«Прокоря по кольцевому коридору, Андрей машинально бросил взгляд в иллюминатор. Снаружи не было ничего интересного, а тем более нового. Все тот же космический ландшафт... и надоевшие звезды...» (В. Потапов. «Первый контакт»).

Ну, хорошо, появилась в поле зрения планета — что дальше? «Дальше» планета оказывается обитаемой. (На необитаемые, понятно, сажать корабли бессмысленно.)

«Гигантское тело планеты выросло на экранах совершенно неожиданно. Пальцы судорожно вцепились в рукоятки тормозных двигателей, но уже было поздно», — так начинает Вик. Савченко рассказ «Происшествий нет». Не верьте названию, это кокетничанье, они на самом деле есть. Да еще какие! Земной космонавт, разбив (!) свой корабль о неизвестно откуда взявшуюся планету (!), находит на ней существо, которое заявляет ему, что бежало на этой планете (!) от преследователей; вскоре появляются и сами преследователи... Затем космонавт отремонтировал ракету и спокойно принялся патрулировать дальше. Кто преследовал, кого преследовали, на чьей стороне справедливость? Нет ответа.

«В эпоху освоения 134-го космического сектора к Юрасу дважды наведывались космолеты, и оба посещения оказались вполне прозрачными...» Слышите знакомые интонации? Космос, инопланетяне... до чего ж все это скучно, обыденно... В рассказе Д. Де-Спиллера «Шестикрылые осы» земной космонавт, увидев необычные узоры на поверхности вышеупомянутого Юраса, так изумился, что «забыл от растерянности вовремя выключить серводвигатели» и... тоже врезался в планету. До чего же примитивным будет управление этих самых космолетов у наших потомков: чуть зазевался — и тут же грохнулся о планетную твердь (ухитряясь, однако, непременно остаться в живых).

К сборнику рассказов Д. Де-Спиллера Ю. Медведев написал уникальное в своем роде предваряющее слово. Отметив парадоксальность идей и изящество развития сюжетной мысли, Ю. Медведев так оценивает рекомендуемый им сборник: «У Де-Спиллера герои в разных рассказах разные, но они настолько лишены каких-либо индивидуальных черт, настолько не персонафицированы, что читатель вряд ли отличит их друг от друга, тем паче что все они напоминают слишком уж рациональным поведением роботов одной серии...» Хорошо сказано, ни убавить, ни прибавить! А перед тем и того резче: «...сюжетная монотонность (как же она сочетается с «изяществом развития сюжетной мысли»? — В. Р.), наукообразность изложения, не всегда уверенное владение литературным инструментарием...» Но если с этими утверждениями согласно и издательство (в противном случае предисловие было бы переказано другому автору), то возникает существенный вопрос: в чем же была необходимость публикации столь слабой книжки?

Продолжим, однако, наше космическое обозрение. Вот рассказ В. Потапова «Он назвал ее Удивлением». Слово «удивление» тут уместно как нельзя более. Впрочем, судите сами. Космонавт долго-долго летал в одиночестве, наконец, прилетел на чужую планету, увидел там куклу, затем бронзовую статую прелестной девушки, зашел в первый попавшийся дом, съел кем-то приготовленный обед (это на чужой-то планете!), затем забрался в чужую постель, тут же в

комнату вошла она, и между ними произошло что-то не совсем понятное. Таким вот образом герою удалось справиться с одиночеством, которое гналось за ним от звезды до звезды, «как серый волк»...

Еще один герой-космонавт отправляется, так сказать, в служебную командировку — наставлять слабо развитые существа на путь истинный. В повести Г. Емельянова «Истины на камне» озадачивает прежде всего язык произведения. Ведь повесть написана от лица человека далекого будущего, но, согласитесь, трудно предположить, что и через века наши потомки будут щеголять лингвистическими шедеврами вроде: кондыляло, укандыляли (в смысле — плелось, уплелись), сварганили, дрын, спячивался (в смысле — пятился), «взвалил сиротку на загорбок», «озарились» (в смысле — осознали), «голова проскочила скользом по бедру» и т. д.

Дело, конечно, не только в самих словах. Манеры посланца высокоразвитой Земли полностью соответствуют процитированной лексике. Вести своих подопечных к благам цивилизации герой принимает с энтузиазмом. Они же не сразу приняли его с дипломатической обходительностью. Тогда: «...Я успел скатить со столбов жердь и, ослепленный яростью, рванул в полутьму круглого коридора, сминая по пути теплые и твердые тела...» «Брат мой давно напрашивался на легкую выволочку. Удар по загривку его в тот самый момент...» Неплох также такой диалог: «А если я попаду тебе в голову? — Я воткну копы тебе в зад, брат мой!»

Нахватаю по лоскутку отовсюду — из колониальных приключенческих романов, из комиксов, из кинофильмов — без отбора, без осмысления, без концепции...

Разновидностью полета в иной мир служит сюжет «Параллельный мир». Разница только в том, что в параллельные миры добираются без фотонных двигателей. Ехал-ехал человек по пустыне, незаметно для себя пересек невидимую границу, и, пожалуйста, он уже в ином пространстве. Так начинается действие романа М. Чернолусского «Фазтон». «Возвращаясь с юга, — цитирую издательскую аннотацию, — маленькая группа земляков с Брянцины... неожиданно ока-



зывается в сопредельном пространстве, в цивилизации фазтов...»

Фазты, или, по Чернолуускому, фазтовцы... Сама по себе легенда о расколовшейся на куски планете Фазтон донельзя заезжена в научной фантастике. Ладно уж, если бы она была здесь пристегнута к делу. Но совершенно неясно, зачем автору понадобилось заявлять, что жители данного мира — потомки фазтовцев, ведь никаких последствий это заявление не имеет, а мирок и его жители стопроцентно похожи на земных обитателей.

Итак, маленькая группа земляков. Что можно сказать об этих людях? Ничего, пожалуй, нельзя сказать...

Заметим, что город, в который попали наши странники, носит название Желтого Дьявола. (Надо полагать, фазтовцы хорошо знакомы с публицистикой М. Горького.) Читатель может не сомневаться — строй в этом городе буржуазный — полицейские, солдаты, коррумпированные чиновники, военные промышленники... Все кругом в аббревиатурах — ПРПП, ДАТ, ДДМ, ПОП, БОВ... Конечно, автор может сказать: что же тут плохого, если он вот так, напрямик, не вуалируя, высказал свое отрицательное отношение к обществу, в котором все покупается и продается? Ничего плохого, но подобное же отношение к такому обществу высказывали некоторые другие авторы и до М. Чернолууского.

Автор, однако, все время подчеркивает, какая совершеннейшая техника царит в Желтом Дьяволе — сплошь кнопки, сплошь экраны. (Неясно только, кто эту технику создал и обслуживает, потому что обитатели города исключительно обалдуи и мошенники.) Какие же там чудеса техники? Позвольте процитировать... Женщина из Брянска удивилась, почему это у фазтовцев не видно часов. «Маус, окончательно развеселившись, допил свое вино.

— А теперь смотрите фокус! — сказал он.

Достал из кармана (!) коробок чуть больше спичечного (!) с круглым матовым стеклышком посредине и четырьмя кнопками.

— Смотрите, — сказал он и нажал на одну из кнопок.

На стекле появились цифры 16—10.

— Четыре часа десять минут, — сказала Людмила Петровна.

— Совершенно верно! — сказал Маус. — А теперь?..»

Как читатель догадывается, «теперь» будет день и месяц...

Вот это полет фантазии! Вот это потрясение для землян! Еще совсем немного, и фазтовцы сделают открытие, что часы любой конструкции все-таки удобнее носить на руке...

Типовой сюжет № 2 — на Землю прилетели инопланетяне. В этой фразе исчерпывающе изложен замысел, идея, сюжет и все прочие необходимые компоненты сочиняемого произведения. Между тем даже у первооткрывателей этой фантастической темы дело обстояло не так примитивно. Вспомним уэллсовских марсиан — в их отвратительном облике писатель закладывал страшную, тупую и нерассуждающую силу, именуемую Агрессией! Вот это художественный образ!

Читаем рассказ М. Грешнова «Дробинка». В один прекрасный день дачница Надежда Юрьевна почувствовала боль в плече. В него попала дробинка. Дробинку благополучно извлекли, и оказалось, что это межпланетный корабль, в котором нас удостоила посещения делегация цивилизации микроскопических существ, которые деятельно принялись создавать в крови несчастной реципиентки целое производство

со станками, шестернями и даже подводными лодками. К счастью для нее, с гомункулами удалось связаться по радио и разъяснить им, что они поступают незачем, после чего посетители удалились.

В следующем рассказе того же автора — «Железный солдат» — на Землю падает яйцо. «Всамделишное яйцо: длинноватое, в белой скорлупе, только громадное, величиной с кадку...»

Теперь вы сами можете оценить размах авторской фантазии — от дробинки до кадки. А бывают предметы даже покрупнее. Вот только большие «тарелки» уже трудно спрятать — приходится включать в повествование милицию, делегации, манифестации, академии... Словом, появляется материал на сотни страниц...

Временами безыскусственность подобных историй трогает до слез. Вот рассказ А. Тебенкова «Шестьдесят первая Лебеда». Работает в обсерватории астроном, который показывает желающим звездное небо. Как-то зашла к нему парочка, в которой он сразу уловил что-то необычное. А те откровенно, без всякого нажима признались, что они не земляне, но всем открыться пока не время. И ушли. Астроном с тех пор тоскует и каждого посетителя спрашивает: «Вы никогда не обращали внимания на ту звездочку?» «Зачем они приходили сюда, я не знаю». Я тоже.

Но бывают пришельцы злобные, покушающиеся уничтожить ничего не подозревающее человечество с помощью, скажем, азотнокислого пластификатора(!). С какой целью? А чтобы установить на Земле космический маяк для своих межпланетных дбцнских кораблей. Хорошо придумано, не правда ли? Семь согласных подряд, сразу чувствуется что-то неземное (Г. Разумов. «За лесом, у моря...»).

Умение отыскать адекватную форму для изображения представителей иных миров вообще представляет собой сильную сторону рассматриваемых произведений. Стоит, скажем, на улице некий Василий, а рядом с ним опускается «тарелка», из которой выходит женщина. Данная особа «необычайной красоты» выражается примерно так: «А чего ты ржешь?», «А вот рюмочку бы...», «А ничего винчик...» Если учесть, что земной партнер дамочки вчера «Саньке по морде в дверях съездил», а только что принял для смелости несколько глотков спасительного «Агдама», начинаешь подозревать, что все это затеяно в целях неприятельного антиалкогольного юморка. Пригрязилась, мол, человеку чертовка, в определенном состоянии это бывает. Но почему же рассказ опубликован в сборнике фантастических произведений и подается как вариант темы Контакта (В. Сыченков. «Ночная гостья Василия Н.»)?

Во всех произведениях 1-го и 2-го рода с непреклонной последовательностью выполняется «закон Гамильтона»: все инопланетянки должны быть первейшими красавицами, с земной, разумеется, точки зрения<sup>1</sup>.

Возьмем, к примеру, роман В. Корчагина «Астийский эдельвейс». Чудо как хороша инопланетянка Миона, полюбившая сибирского геолога Максима и даже уносящая от него на родную планету будущего ребеночка. Однако ей не уступит ни по молодости, ни по красоте ее мать Этана... тоже полюбившая того же Максима. Правда, к его и ее чести дело

<sup>1</sup> Э. Гамильтон, американский фантаст, написал юмористический рассказ «Невероятный мир» два астронома обнаруживают на Марсе материализовавшиеся создания земной фантастики, существ самой причудливой внешности — спрутоподобных, жукообразных и т. д., но это только мужчины; женщины же — все красавицы.

ограничилось только словесными признаниями. Но Этану эта любовь примирила с человечеством, которое она до встречи с Максимом тридцать лет (!) наблюдала с орбиты и пришла к неутешительным выводам. Теперь же она даже сочла, что ее собственная цивилизация развивается по неверному пути, потому что положила в основу холодную логику разума, исключая чувства, а тем более страсти.

В свою очередь, Максим, невзирая на призывы двух любящих женщин, мужественно решает остаться на Земле, чтобы передать людям своей страны те знания, которыми его снабдили на инопланетном корабле, знания, которые, может быть, помогут нам избежать ядерной катастрофы. О всемогущие пришельцы, до чего же досадно, что вы ставите судьбы человечества в зависимость от капризной бабской любви к случайно встреченным геологам!

Очередная миловидная леди из другого мира предстает перед нами в повести В. Щербакова «Тень в круге». Там она переписывается с писателем-фантастом Владимиром, к которому обратилась за помощью, ибо ее космический бот был подбит ракетой над Гренландией. По ходу дела выяснилось, что Владимир и Рэа — брат и сестра, у них был общий отец, инопланетянин, спасшийся во время аварии звездолета, который был — чем? Конечно же, Тунгусским метеоритом. (Выдвинутая А. Казанцевым версия о взорвавшемся над Подкаменной Тунгуской межпланетном корабле звучала в 1946 году, прямо скажем, более свежо.)

Поскольку сам автор опубликовал «Тень в круге» в виде самостоятельного произведения, то и нам это дает право рассматривать его отдельно. Но через несколько месяцев увидел свет роман В. Щербакова «Чаша бурь», в котором данная повесть занимает скромное место пролога. К романам В. Щербакова позже мы позволим себе вернуться.

А пока приступим к варианту № 3 — «Видения». Это еще проще. Освоив предлагаемую методику, создавать фантастические рассказы сможет любой человек. Значит, так. Действие происходит на Земле. Где — неважно. Выбирайте любое понравившееся вам место. Кто действует — тоже неважно. Пол, имя, род занятий, фасон одежды по возможности обстоятельно доводятся до сведения читателя, так что полрассказа уже есть. И вот перед героем или героями возникают сны, видения, галлюцинации, словом, цветные картинки. Каков механизм их возникновения — неважно. О чем они — тоже неважно. Но что-то, конечно, в них изображается. Другие места, прошлое, будущее — что угодно. Вот и все. А для чего это? Как всегда — ни для чего.

Раскрываем книгу М. Грешнова, которая, кстати, так и называется: «Сны над Байкалом».

На озере отдыхает влюбленная пара — Костя и Вера. После известного напряжения мыслительных способностей молодым людям удается вызвать видения, возникающие одновременно перед обоими. Видение первое: мимо них на тарантасе проехал — кто? Разумеется, Антон Павлович Чехов, и непременно в пенсне. Второе видение представляет собой иллюстрацию к известной песне о пловце в омулевой бочке. Разумеется, с массой любопытнейших подробностей: «Бочка отошла от камней. Тут же ее подхватило волной, выкинуло на гребень, армяк затрепетал на ветру, готовый сорваться с жерди...»

На этом байкаловедческая эрудиция автора иссякла. Странно, что он не вспомнил: «Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать...»

Еще рассказ в том же сборнике — «Чайки с берегов Тихого океана». На этот раз мы отправляемся в гости к краснодарскому рисоводу, которому друг с Курилы прислал двух чаек. Никогда не слышал, что-



бы чаек содержали в клетках, но ладно. В конце концов это фантастический рассказ. И вот перед хозяином дома и его сыном начинают возникать видения — море, волны, рыбы, даже пароход, на котором они совместно разобрали название «Охотск...»

Может быть, кто-нибудь подумает: что же здесь плохого, если краснодарскому агроному грезится Тихий океан? И действительно, ничего плохого в этом нет, мы же ведем речь о другом, об идейно-художественном наполнении подобной литературы.

Ю. Никитин в рассказе «Мое вечное море» сделал открытие: оказывается, славяне были отличными мореходами. Современному юноше снятся жуткие сны, в которых он проваливается в кипящие бездны. И ему разрешают «археотерапию», то есть путешествие в прошлое по генетической линии. Отправляется — возникают три несвязанные между собой картины, которые и составляют содержание рассказа. В каждом из отрывков Вадим качается на скользких палубах или врукопашную сражается с врагами. Разумеется, после этого он вылечивается от своей «закомплексованности». Художественный уровень рассказа таков, что только подчеркивает бедность фантазии. Вот как, например, разговаривают между собой воины, идущие набегом, конечно же, на Царьград.

— «Брось... Захватим Царьград, готовых наберешь. Ромей доспехи делают знатные!

— А как не возьмем? — усомнился воин.

— Четыре года тому тоже не взяли, но потрепали их войска так, что сам кесарь все богатства Царьграда выволок нам, последние штаны снял, только бы откупиться».

(Попутно Ю. Никитин в своей книге делает еще одно открытие: он сообщает, что древние греки и даже не греки, а ахейцы XIII века до н. э., штурмовавшие Трою, на самом деле были древнерусского происхождения.)

В рассказе М. Беляева «Коричневые ампулы» видения возникают в два этапа. Сначала героям рассказа, принявшим лекарство от бессонницы, начинают сниться храмы. А после употребления третьей ампулы появляется блондинка (потрясающей, сами понимаете, красоты), которая заставляет их... петь соло-

вьем. Как граждане бдительные и образованные, они тут же предполагают, что враги (средство-то иностранное) столь нетрадиционным способом пытаются завладеть нашими научными секретами. Слегка заинтригованы и мы: что же это за девица? Агентесса из ЦРУ? Очередная пришельца? А когда обнаруживается, что отмеченная леди не оставляет следа на фото-пленке, закрадывается нехорошее подозрение, что перед нами существо потустороннее, и, следовательно, молодым читателям под видом научной фантастики навязывается элементарная мистика. Ни одно из этих предположений нельзя доказать, как, впрочем, и опровергнуть. И сам автор едва ли сможет объяснить, на какой предмет он все это нагромождает.

Есть еще варианты с машиной времени, снежными людьми и говорящими дельфинами. Любознательный читатель легко отыщет такие рассказы в любом сборнике фантастики последних лет или сочинит их сам.

Но что это мы все больше о малом формате! Есть и эпос. Вот, например, роман, который известным писателем рекомендован как удачное произведение о гармоничном обществе будущего. Рекомендация, как вы сами понимаете, ответственная, но что же мы находим в романе? Действие его происходит лет через двести, но никаких сведений о тамошнем социальном устройстве мы не обнаружим, и каким путем достигнута упомянутая гармония, тоже не узнаем. Зато в этом гипотетическом обществе полно легенд, возникающих по любому поводу. Невольно появляется мысль: а не вернулось ли человечество к мифологическому уровню осмысления действительности? В наличии также летающие блюдца, говорящие дельфины, красивые инопланетянки и прочее. Но главное содержание романа В. Щербакова «Семь стихий», его, так сказать, нестандартность вовсе не в этом. Примерно на полкниги автор живописует амурные похождения сорокалетнего журналиста по имени Глеб, начиная с элементарного подглядывания за купающимися девушками. При этом автор не забывает подчеркнуть, что купальщица была нагой; стал бы в самом деле его герой тратить время на разглядывание девушек в купальниках! Впечатляют и прочие его встречи с женщинами, особенно одна, в которой герой идет на свидание к даме сердца, а на ее месте оказывается другая, что было им обнаружено лишь при окончании церемонии. Мимоходом заметим, что другой была инопланетянка. Разумеется, прекрасная.

В романе есть еще проект улавливания солнечной энергии, которой авторы проекта и книги намереваются подогревать океаническую воду. Но и это чудовищное с экологической точки зрения предприятие не позволяет ответить по крайней мере на один из многочисленных вопросов, возникающих при чтении «Семь стихий»: зачем, собственно, автору понадобилось так далеко забираться за хребты веков, ведь измываться над океаном, к несчастью, удастся и сейчас, равно как и подглядывать за девушками, если, конечно, в этом мероприятии и в информации о нем есть суровая необходимость.

Второй роман В. Щербакова, уже упомянутая «Чаша буре», выглядит несколько причиснее. В нем уже нет ни двадцать вторых веков, ни глобальных проектов. Действие перенесено в сегодняшний день. Правда, главный герой, фантаст и археолог Володя — точная копия Глеба из «Семь стихий». Отчества его мы так и не узнаем, хотя Володечке уже сильно за сорок (как и Глебу). Сохранилась и главная черта Володи-Глеба. Вы догадываетесь, о чем я говорю? Как и у Глеба, инопланетянки чередуются с землян-

ками (можно так сказать?). Но было бы нечестно не отметить, что в этом романе сделана скидка на подростковую аудиторию, все изображается более тонко, завуалированно, воистину акварельно. «В коротких промежутках между репликами мы целовались. И все».

Нет, есть в романе и фантастика. Перед нами расширенный и обогащенный сведениями из атланто-этрускологию вариант сюжета № 2. Земля превращена в арену противоборства двух враждующих внеземных цивилизаций — атлантов и этрусков.

Атланты — нехорошие, они крадут с Земли предметы, свидетельствующие о существовании Атлантиды, тем самым лишая людей возможности проникнуть в глубины собственной истории. Этруски доволствуются копиями. Собственно, в этом и состоят их разногласия. Повествование время от времени перебивается резко фантастическими пассажами, вроде:

«Однажды на рассвете постучат в окно. Сначала тихо, потом сильнее. Три раза и еще семь раз. Вам захочется открыть окно, но вы не подходите и не открывайте. Знайте: это прилетела металлическая муха разрядить вашу память, освободить вас от воспоминаний...» (У меня есть вопрос: если прилетела с такой целью, зачем стучать?)

Но, стряхнув с себя наваждение, зададим себе все тот же, уже порядком надоевший вопрос: а зачем все это? Зачем? Зачем атланты, зачем этруски, зачем карлики мкоро-мкоро?

Допустим, что на этот вопрос можно ответить так: чтобы пробудить у читателя интерес к древней истории, к прошлому человечества. Что ж, если фантастика согласна удовлетвориться только такой, исключительно популяризаторской целью, вполне, впрочем, благородной, то пускай; заметим только, что тогда, во-первых, нечего претендовать на титул «художественная литература», а во-вторых, в самой книге следует отделить действительно научные сведения от произвольных выдумок автора. Иначе в голове любознательного читателя возникает каша. И не лучше ли ему сразу обратиться к первоисточникам. Тогда он узнает, например, что ученые-специалисты называют абсурдом идею о близости русского языка к этрусскому, пропагандируемую В. Щербаковым в романе вслед за некоторыми другими «популяризаторами». Но даже если бы историко-лингвистические построения автора были плодотворны, сводить фантастику только к изложению археологических гипотез — значит ограничивать и обеднять ее художественные возможности. Толстые романы, во всяком случае, для этого не требуются...

В отличие от всех других видов обозреваемая нами литература существует вне критики. Критическим анализам, а иногда и разносам подвергаются в прессе исключительно произведения заметные, проблемные, вызывающие желание порассуждать, поспорить. Так как разбираемая нами литература принципиально никаких мыслей не вызывает, то о чем же писать? Никто и не пишет.

Надо ли говорить, что у многих авторов есть и толковые, незаимствованные, содержательные вещи, демонстрирующие по крайней мере одно — что их сочинители могли бы добиться известных успехов. Но, к сожалению, литераторы не устояли перед обманчивой доступностью распахнутых дверей издательства.

Пожалуй, никого не должно удивлять, зачем такие произведения пишутся, но почему они безотказно публикуются — вот действительно вопрос, который, по крайней мере в этой статье, остался без ответа. Чего не знаю, того не знаю.

## ВИТАЛИЙ КОРЖИКОВ ...МОИ ОСТАНУТСЯ СЛЕДЫ



того момента, как высокий, загорелый, он вошел в редакцию и с явным налетом веселой иронии к своим занятиям протянул рукопись: «Вот принес, сам не знаю что», прошли буквально несколько минут, а строчки его стихов уже начали жить шумной неожиданной жизнью. На глазах недоумевающего автора они — с ходу — взволновали, собрали вокруг себя и работников редакции и гостей. И молодой еще Валентин Берестов, и Николай Старшинов показывали стихи друг другу, цитировали и возвращались к только что прочитанному:

— С рюкзаком и с ружьишком, пеший,  
Выхожу я в «культурный» мир.  
Бородою зарос, как леший,  
Сапоги износил до дыр...

Зябко ежится мокрый стланник,  
В эту ночь хорошо в тепле.  
Слабый дождь, как усталый странник,  
Тихо шаркает по земле...

— ...Свежий, силой с утра налитой,  
Плещет ветер вершинами леса  
И встает из-за гор золотой  
Самородок огромного веса...

Автор смущался, удивлялся. А стихи (под статью) были налиты свежей молодой силой.

Их показали Андроникову. Ираклий Луарсабович перелистал рукопись, вдруг улыбнулся. А потом, загораясь, засмеялся, вскинул вверх палец: «Нет! Вы послушайте, какой звук!»:

Зверь ответил ужасным ревом—  
Кто слышал, как ревет медведь? —  
Так, наверное, ста коровам  
Даже вместе не зареветь!

Так не только в редакцию «Юности», но и в литературу вошел молодой тогда геолог и поэт Владимир Павлинов.

Строки его стихов обдавали ветрами большой романтической жизни, забирали, вводили в себя — в дорогие автору дебри тайги, в пески пустыни... Ему вообще были присущи — при внимании к самым малым деталям — крупное зрение, крупные чувства. Природу он чувствовал язычески, но чувством не просто поклонника, а творца, которому приходилось бороться с ее стихиями, — не за тем, чтобы убить, а чтобы возродить ее, ее душу. Крупно предстают в стихах Павлинова его товарищи — геологи, бурови-

ки. Крупно, но очень естественно — мужество и настоящее товарищество.

Когда-то А. Т. Твардовский сказал: «Я в скуку дальних мест не верю». Павлинов был из поколения людей, не только не верящих в скуку дальних мест, но всем своим подвигом оживляющих их, одушевляющих их чудом упорства и труда. По всей своей человеческой стати он был наследником «большевиков пустыни и весны», которым дорог дух преобразования, поиска, жажды большого труда.

Именно поэтому он писал: «Ах редакторы, боги-маги, убегу я на край земли — и плевать мне на все бумаги! Лишь бы руки не подвели». Поэтому пустынные пески в его стихах начинали петь...

И хотя время, целые десятилетия уносятся с реактивной скоростью, но эти рабочие строки о пустыне, опубликованные тридцать лет назад в сборнике «Общезитие», а сейчас вышедшие в большой книге В. Павлинова «Стихи» (издательство «Художественная литература», 1985), эти строки обдают жаром и запалом тех дней, когда он писал: «...и на твоём лице, пустыня, мои останутся следы».

Но поэт, для которого аксиомой была нескудность дальних мест, открыл и романтику мест близких, родных. И сделал это с удивительной, неповторимой добротой. Стоит только открыть страничку с «Переулком Лебяжьим», прочитать или пропеть «Восемь рябин», вникнуть в нежность совсем неожиданной поэмы «Зимние птицы», и снова обнаружишь душу поэта, ее иную грань: «А я бродяжил много лет и понял, что на белом свете созданий трогательней нет, чем птицы, женщины и дети».

Он обдумывал историю Родины и ее литературы. Вчитайтесь в «Два Гоголя», в «Смерть Полежаева». Он вглядывался в себя и свое окружение — и появлялись «Старые песни» и «Имя твоё...». А как точно обозначили его посвященные маме строчки общую боль, общую нашу память: «Какая долгая зима в сорок втором году!» Его сердцу были понятны людские радости, боли, порывы. Поэтому он был поэтом. Но прежде всего — поэтом прекрасной и трудной дороги. И даже тогда, когда в начале стихотворения он мог вздохнуть «А я вчера вернулся с юга — не дай вам бог на этот юг», заканчивал он его восклицанием: «Но снова ветром тянет с юга, и я спешу, спешу на юг».

Буровым мастером шел он с бригадой по Кара-Кумам, разведывал недра на Алтае, шагал по нефтяному Северу, и все, что поэтически приняла душа, заносил под шелест палатки в тетрадь крупным, крепким почерком. Из этих палаточных стран слегались потом емкие книги «Соль», «Следы», «Три любви»...

Когда-то Э. Багрицкий писал, что с ним в походе «Тихонов, Сельвинский, Пастернак». Прекрасные спутники. Для сегодняшних читателей, сегодняшних романтиков список этот пополнился новыми именами, новыми наставниками. Разной силы, разного дыхания. Жаль, что ему была суждена недолгая жизнь. Но уверен, что у читателей, влюбленных в дальнюю дорогу, стихи Владимира Павлинова займут свое место на книжной полке, еще скорее — в выдавшем виде рюкзаке, а главное — в доброй, мужественной душе.

# МИХАИЛ ПЛАСТОВ

## ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОГО ДЕЛА



**П**ублицистическая поэма? Производственный роман? Лирическая исповедь? Трудно даже точно определить жанр этой книги. Сам автор в предисловии определил его как «современные челнинские картины...». Может быть, и «картины» тоже. Но одно несомненно: каждый, кто взглянет в документальные фото (а их в книге более ста), уже не сможет воспринимать автомобиль КамАЗ просто как обычный грузовик, ибо мелькнут, отражаясь в лобастом стекле кабины, «современные челнинские картины», уже ставшие нашей историей. Книга богато иллюстрирована рисунками и фотографиями, среди которых и архивные, представляющие немалый документальный интерес.

Чудо на Каме — рождение нового города и нового гиганта отечественного автомобилестроения — главная тема книги Феодосия Видрашку, мужество и доблесть первопроходцев — ее пафос, реальные люди — рабочие, бригадиры, руководители строительства, партийные работники, все те, кто может с гордостью сказать про себя: «Я камазовец!», — ее герои.

За густонаселенностью чуть ли не каждой страницы, за причудливой мозаикой событий, размышлений, монологов, документов, судеб, проходящих перед читателем, не сразу понимается, но к финалу книги становится очевидным, что у книги Феодосия Видрашку есть на самом деле единственный главный герой — это человек труда.

Феодосий Видрашку написал книгу о рабочем классе. Он не избегал ни острых ситуаций, ни трудных проблем. И хотя среди героев его книги рабочий человек занимает достойное место, но самое существенное то, что она написана с позиций рабочего класса. Написана человеком, знающим то, о чем он пишет, знающим глубоко, изнутри, прикипевшим душой и к этой стройке, и к ее людям. Как он сам говорит в предисловии: «Последние двенадцать лет моей жизни настолько тесно переплелись с событиями на Каме, что я ни дня не мыслю себя без этого светлого города, без его удивительных жителей».

«Вся история нашей страны есть история однихстроек», — говорит один из героев книги. Конечно, это полемический перефраз, конечно, это сказано в запале спора, но в свете этого высказывания необычное по форме произведение Феодосия Видрашку вдруг оказывается традиционным. Причем традиция эта весьма давняя. Ее истоки в знаменитой се-

рии книг, задуманной Алексеем Максимовичем Горьким, — «История фабрик и заводов».

И Феодосий Видрашку верен этой традиции. Он показывает не только и не столько, как люди строили город и завод, но как город и завод строят людей. Недаром один из самых ярких, интересных героев книги, секретарь Набережночелнинского горкома партии Раис Киямович Беляев, говорит: «Мы еще кое-что обещали тогда построить, мы обещали построить жизнь. Она и сейчас продолжает строиться». При создании книги, опирающейся на такой поистине гигантский объем фактического материала, всегда существует опасность фрагментарности. «Набережная Надежды» читается на одном дыхании, и цельность, которой удалось добиться Феодосию Видрашку, определяется темпом и ритмом повествования, единством интонационным и стилистическим тематическим, наконец. Большую роль здесь, по-видимому, играет отсутствие сиюминутности в изображении крупных личностей — Евгения Никаноровича Батенчука, Николая Александровича Соловьева, Раиса Киямовича Беляева. По мере развертывания повествования перед нами проходят судьбы этих ярких людей. Судьбы, в которых день сегодняшний, его свершения неотделимы от прошлого.

Может быть, поэтому, когда из уст этих людей читатель слышит «На стройке нет маленьких и незаметных людей — все хозяева», он воспринимает это не как декларацию, а как итог всего прожитого. Такие люди, откровенные, прямые, честные, бескорыстные, имеют моральное право на такие слова.

С особой теплотой пишет Феодосий Видрашку о двух своих земляках: Виореле Андреевиче Мугурыню и Ницэ Лукьяновиче Марине. Оба они — и руководитель пригородной зоны города Мугурыню, и водитель автобуса Ницэ — приехали на гостеприимную землю Татарии из далекой, солнечной Молдавии. Портретами лучших тружеников КамАЗа семидесяти национальностей облекл свой автобус Ницэ.

И по этим портретам сразу видно, что «КамАЗ строит вся страна!»

Книга во многом бы выиграла, если бы в ней присутствовало сквозное действие, если характеры ее главных героев были бы более психологически мотивированы. Ведь становление человека происходит не только в борьбе с производственными трудностями, но и в борьбе с самим собой.

Возможно, на волне всеобщего энтузиазма от самой стройки, от ее размаха есть в книге некая возмуженная тональность первооткрывателя, иногда чрезмерная. Сейчас Феодосий Видрашку работает над новой книгой о КамАЗе «Проверка на прочность».

Феодосий Видрашку — писатель широкого творческого диапазона. Его перу принадлежат романы и повести, монографические работы в серии «Жизнь замечательных людей». Недавно вышла в издательстве «Советский писатель» его книга «Румынская рапсодия» о жизни видного деятеля международного коммунистического движения Георге Георгиу Деж. Но при этом Феодосий Видрашку постоянно возвращается к теме КамАЗа, увлеченно пишет следующие страницы его летописи.



ИННА  
КАШЕЖЕВА

## «МЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ ШЛИ ОТ БРЕСТА...»



**К**нигу «Легендарный Брест» я получила из рук автора в канун сорокалетия Победы. В этом, ставшем привычным между коллегами жесте вручения нет ничего особенного. Очень буднично в вестибюле Дома литераторов подошел мой старший товарищ, чтобы подарить очередную свою работу. Почему же я так стремительно встала, словно прозвучала боевая труба? Это подействовало магическое, действительно легендарное слово — нет, имя! — Брест.

Все люди нашей страны, даже никогда не бывавшие в этом городе, связаны с ним болевой пуповиной незаживающей памяти о первом бастионе беды и мужества, нечеловеческих испытаний и бессмертия. Для меня Брест — это еще и личное. В Бресте погиб мой дядя Джебаги, добывавший воду из Буга для детей, женщин, раненых и... пулеметов.

Это были минуты,  
сместившие землю и небо,  
Это были минуты,  
смешавшие пламя и воду.

Но эти строки Михаила Андропова для меня еще впереди. А пока я беру непослушной рукою томик стихов (М. Андронов. «Легендарный Брест». М., Современник, 1985).

Михаил Андронов, поэт, прозаик, драматург, автор двадцати книг, встретил войну на дунайской границе в погранотряде. Вскоре с группой чекистов ушел в тыл врага и долгое время действовал за линией фронта.

Война постоянно проходит вновь и вновь через его сердце, через его книги, от победного Мая до июньского Бреста. Это его боль, это главная тема его творчества.

Пусть не все в этих стихах безусловно, пусть порой они проигрывают по части искусства поэзии, но всегда выстраданы, оплачены поступками, опытом, жизнью.

Осторожно, как будто они тоже тронуты пламенем того июня, перелистываю страницы. Суровые, как мужские сведенные скулы в час лихолетья, строки:

Горе имеет свой запах,  
Горем пропахла земля...  
«Мессершмитт» гонялся за мальчишкой,  
Взяв ребенка в свой прицельный глаз...  
Морской пехоте поклонился Буг.  
Последний враг убит был у причала.

— Вот и конец! — сказал наш политрук,  
А это было только лишь начало.

Да, все началось с Бреста. С непокоренного, разрушенного, окровавленного, но сильного не только стойкостью своих защитников, но и не плачущими детьми, не голосящими женщинами, сильного величием человеческого духа, величием нашего строя, нашей убежденности, которую — в который раз! — не победили новые варвары. Об этом книга Михаила Андропова, написанная ожесточенным сердцем солдата и бесстрашной рукою очевидца. Даже названия циклов говорят сами за себя: «Героическая оборона», «Боль брестской земли», «Радость брестской земли», «Память», «Мемориал бессмертия», «Музей обороны...», «На бутской границе сегодня».

Черные танки по Бресту ползут.  
Черные угли, черней, чем мазут.  
Красное знамя над красным полком,  
Красное пламя вдали за леском.

Наверное, именно эта строфа из стихотворения «Черное и красное» помогла художнику книги В. Толстоногову найти ее цветное решение.

Черное и красное... Пожарища и кровь... Свастика и наше знамя... Тьма и рассвет... Андронов и здесь символичен. Ведь он, автор очерков о героях-защитниках, о партизанах и о сегодняшних людях Бреста, сам удивляясь и восторгаясь, восклицает:

Кто мог из них предвидеть жребий свой?  
Кто знал тогда, что пронесутся годы —  
И здесь, в Музее славы боевой,  
их памяти поклонятся народы.

Поэт, когда писал эти строки, думал не только о благодарном поклоне за прошлое, но и о нынешнем дне, который никогда не должен быть днем сражения, чтобы сохранить улыбку новорожденного жителя XXI столетия и тишину над Брестской крепостью. Это прекрасно, когда наша литература не только свидетельствует, но и обязывает. Как клятва. Как присяга.

Их много было, жизнь отдавших  
Над Бугом в яростном бою.  
Своей отвагой смерть поправших...  
Им славу вечную пою!

Книга-документ. Книга-исповедь. Книга-размышление. Книга-воспоминание. Книга-напоминание и... предостережение. Книга-биография подвига.

Прочтите ее, чтобы еще раз ощутить боль и радость, гнев и гордость, чтобы вспомнить незабываемое, чтобы вернуться в грозное вчера ради звездного завтра.

## КТО «ЗА»?



важаемая редакция!

Мне 18 лет, вам пишу впервые. Молчать больше нет сил, необходимо высказаться, открыться.

В средних классах школы я увлекался рисованием, живописью, посещал кружок. Очень любил ходить на этюды — особенно по Старой Москве. Находил живописнейшие, уютные уголки. Еще тогда обратил внимание на то, что всегда стремлюсь именно в старую часть города (живу я в новом микрорайоне, далеко от Центра). Почему? Лишь там находил какое-то удовлетворение потребностью в красоте, в духовности, в общении с искусством. Там — музеи, театры, выставки, памятники архитектуры. И все это — архитектура, быт коренных москвичей, культурная жизнь столицы — слилось в одном представлении: центр города. Поражал контраст между новостройками и старой частью, и если последнее стало для меня символом культуры, то первое...

Я учился в нескольких школах, знакомился со многими людьми, имею представление о многих явлениях в молодежной среде. Пробовал участвовать в так называемой комсомольской жизни. Повидал многое, делал выводы. А вот теперь, несколько месяцев назад, уже добровольно ушел из известного художественного училища, окончательно утратив былые надежды, а с ними — веру в себя, в смысл жизни. Переживал тяжелые душевные кризисы, и теперь хочу поделиться некоторыми своими соображениями.

Повод для моего письма — статья народного художника РСФСР Е. Куманькова, озаглавленная «Ради будущего», опубликованная в газете «Правда», стихи Роберта Рождественского «Старая Москва», напечатанные в «Известиях», и некоторые другие публикации на тему необходимости сохранения исторического и архитектурного облика старинных русских городов.

Но одними лишь публикациями в прессе, пусть сильными, гневными и всецело воспринятыми, дела не исправишь — нужно, наконец, активное участие каждого. Однако в прошлом оказывалось так, что многочисленные критические выступления по тому или иному вопросу так и не имели особого влияния на решение проблемы (озеро Байкал, дискотеки, спекуляция, тот же вопрос о сохранении исторически сложившегося облика Москвы, Ярославля, о переименовании улиц и некоторые другие). Поэтому статья Е. Куманькова, например, во мне и во многих моих ровесниках вызвала лишь новую волну бессильного возмущения. Почему же меня и многих моих сверстников так волнует эта проблема?

Потому, что комплекс давно уже возникших крупных негативных явлений в нашей жизни, о большей части которых говорилось на XXVII съезде КПСС, естественно, затрагивает жизнь каждого человека —

и в особенности молодого — в большей или меньшей степени, в зависимости от добросовестности его жизненной позиции.

Многие несовершенства в обществе, на мой взгляд, объясняются падением общей культуры. Культура — это положительная традиция, которая пронизывает атмосферу общества.

И уже перестаешь удивляться, лишь с горечью отмечаешь каждый новый раз, как все заметнее падает культура поступков, самобытность, индивидуальность каждого отдельного человека, раз и навсегда запущенного на орбиту: метро, отдельная квартира в тысячном по счету доме-близнеце, очередь в универсаме, снова метро: бескрылое стандартное существование, узкий круг интересов, примитивный вкус, ужасающе пугливое и стереотипное мышление — старые черты мещанства, процветающего в новом космическом веке; как мелькают люди искусства, вовлеченные в будничные всеобщий конвейер, отрезанные от ярких красок, ярких впечатлений, от встреч с необычными людьми, необычным районом; как все более бессмысленны и дики становятся лица четырнадцати—двадцатилетних, не видящих вокруг следов иной жизни, иных мыслей и дел, иных красок.

Я говорю искренно, так как считаю, что без действительно искреннего разговора (а многие разговоры называют сейчас искренними, хотя речь идет в большинстве случаев о полуправде), без тесного контакта средств массовой информации с молодежью перестройка в обществе невозможна. Я уже говорил, что общался со многими сверстниками и имею представление о многих явлениях в молодежной среде (хиппи, «металлисты», фашисты, наркомания, пьянство, сексуальная распущенность). Сам вместе со многими переживал нигилистические, антиобщественные, резко оппозиционные настроения. Могу сказать — молодежь в большинстве своем обеспокоена положением дел в обществе, но заранее считает все попытки что-то исправить, как-то повлиять на ход дел бесполезными, несерьезными и смешными. Почему — хочется немного сказать особо.

В значительной мере такое предубеждение против общественной активности — вина пропаганды, воспитательной работы. Ведь те «рассуждения на тему» и информация, которые находят себе место на страницах газет и журналов, на радио и телевидении, чаще всего просто не представляют интереса для большинства, а если и случается так, то обычно самые острые и волнующие аспекты проблемы остаются вне поля зрения. Так обстоит дело, например, с популярной музыкой — как западной, так и советской, с борьбой против пьянства, с теми же «хиппи», которые своим долгим существованием и количеством приверженцев давно уже заслужили официальное признание как факт, от которого нельзя отвернуться и умолчать.

А когда средства массовой информации закрывают глаза, пытаются уйти от обсуждения нелицеприятных для официальной картины состояния общества явлений, в то время как реальный человек все-таки живет реальной жизнью — то есть слушает рок-музыку, странствует по городам без определенных занятий, спекулирует, на каждом шагу своим натакивается на беспорядок, на всякого рода грязь, на всякого рода несоответствия, — что ему остается де-

ать, как абсолютно не доверять и порой даже откровенно смеяться над всевозможными «разговорами на важную тему», «о человеке, входящем в жизнь», и тому подобным лепетом? Вести воспитательную работу, конечно, отнюдь не значит подстраиваться под аудиторию. Но ведь и насильно не заставишь юношу или девушку читать газету или слушать радио, когда он заранее знает, что не найдет там ни единой волнующей темы по его, возможно, довольно далеко зашедшим интересам.

Пренебрежение, отрезанность от официальных источников информации заставляют молодого человека либо вообще махнуть рукой на общественную жизнь и замкнуться в своем мире, а свою энергию направить в некоторых случаях в весьма небезобидное русло, либо делать что-то самим — отсюда и «хиппи», и религия, и т. п.

Получилось так, что я затронул сразу два вопроса. Они, несомненно, связаны и примыкают к задачам, поставленным на XXVII съезде: повышение роли средств массовой информации в участии каждого в процессе перестройки, демократизм, гласность, свобода высказываемого мнения. От того, насколько в действительности искренни эти намерения, будет зависеть и состояние культуры, и состояние общества в целом, — ведь пройдет совсем немного лет, и нынешняя молодежь полностью волеется в жизнь страны, и сейчас нам надо доказать, что мы действительно можем оказывать влияние на ход развития, и за нами — я в этом уверен — дело не станет; пример тому — мое письмо и моя личная инициатива, которая состоит в следующем.

В настоящее время я не работаю и не учусь, хотя, возможно, скоро устроюсь на работу. Слышал, что существует намерение соорудить на Колхозной площади дублер Сухаревой башни. Знаю также, что некоторые старинные здания реставрируются, ремонтируются. В свободное время я хотел бы принять участие в этих работах. Может быть, в плане есть даже создание групп энтузиастов, которые в свободное время помогали бы благоустраивать, реставрировать, озеленять Центр? Если нет — это мое предложение. Предлагаю также открыть через систему сберкасс фонд реставрации и благоустройства Центра Москвы. Не обладая никакими специальными знаниями (кроме некоторых навыков внутренних ремонтных работ, художественным развитием), могу предложить лишь свою рабочую силу и энтузиазм. Надеюсь на Ваш совет: куда обратиться, что предпринять?

С уважением, Вихрев Александр».

Редакция предлагает нашим читателям высказать мнения, предложения по тем проблемам, которые затронул в своем, далеко не бесспорном, письме молодой москвич А. Вихрев.



## БИКЕХАНУМ АЛИБЕКОВА



☆☆☆

Я поведу о лезгинке рассказ:  
Славится пламенным танцем Кавказ.  
В древности не без причины —

Дом ли построят на голой скале,  
Сын ли родится на радость Земле —  
В пляску пускались мужчины.

Им в стародавние те времена  
Нежною птицей пела зурна,  
И в барабан били звонкий —

Гордо мужчина плясал на пиру.  
Женщина, радость упрятав в чадру,  
Грустно стояла в сторонке.

Только однажды — от страсти смела  
Женщина дерзко чадру ту сняла,  
Взорам открыв свой румянец.

Музыкой, словно любовью, полна  
Прямо туда, где звенела зурна,  
Женщина вышла на танец.

Грозный обычай судом угрожал,  
И на танцорку точился кинжал —  
Но красота не убита.

Так, разрывая свой замкнутый круг,  
Юных своих грациозных подруг  
Приняли в танец джигиты.

Танцем с тех пор в нашем горном краю  
Юные славят Отчизну свою  
Вместе, а не по старинке.

Стал этот танец прекрасен вдвойне.  
В мире узнали в любой стороне  
Вихрь дагестанской «Лезгинки».

Ритмы лезгинки нас сводят с ума,  
Я называюсь лезгинкой сама —  
И потому без отказа  
Всех, кто захочет у нас побывать,  
Я от души научу танцевать  
Пламенный танец Кавказа.

Перевела с лезгинского  
Евг. СЛАВОРОСОВА

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБОВСКИЙ,  
АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВСКИЙ

# ЮНОШЕСКИЙ РОМАН

*Письма  
Валентина Петровича Катаева  
с фронта первой мировой войны,  
не вошедшие в книгу*



Пять лет назад Валентин Катаев опубликовал одну из поэтичнейших своих книг — «Юношеский роман» — исповедь вольноопределяющегося, воюющего на фронте первой мировой войны, пишущего с передовой влюбленные письма одесской девочке, гимназистке, дочери своего начальника Заря-Заряницкого.

А ведь этот генерал Заря-Заряницкий, как и его четыре дочери, в одну из которых — Ирэн — был влюблен герой романа, уже знакомы нам по повести Валентина Катаева «Зимний ветер», вышедшей четверть века назад.

Такова была особенность литературной манеры писателя. Он как бы возвращался к самому себе, показывая, что у одной и той же жизненной ситуации, истории могут быть разные толкования.

После публикации «Зимнего ветра» Валентин Петрович получил письмо из Одессы. Он сам рассказал об этом эпизоде в статье «Мысли о творчестве».

«Ошибка «сестер А.» заключается в том, что они, узнав в моих девушках какие-то свои черты, — объяснял писатель, утверждая свое право на вымысел, — потребовали от меня полной исторической достоверности».

Конечно же, нет полной исторической достоверности и в «Юношеском романе», написанном двадцать лет спустя после «Зимнего ветра», но подлинные письма диктовали свою меру правды. А впрочем, подлинные ли это письма, а вдруг — литературный прием?

Напомним начало романа:

«— Возьмите ваши письма. Может быть, они вам пригодятся».

Уже больная туберкулезом, героиня «Юношеского романа» отдает писателю Пчелкину (это имя носит главный герой ряда последних книг Катаева) пачку его писем и стихов.

«В сущности, старые письма были мне не нужны... Был момент, когда, проходя мимо розовой госпитальной стены — такой знакомой с детства, — я даже хотел избавиться от писем, например, просто потерять их или положить на уличную скамейку, сохранившуюся с «того» времени. Однако я этого не сделал».

Сегодня мы можем сказать, что, к счастью, не сделал. Через 65 лет эти письма действительно понадобились писателю. И вот однажды, развязав тесемку, перечитав эти свидетельства истории, он написал книгу (попробуй определи ее жанр), где в удивительной доподлинности передана атмосфера фронта и предреволюционной Одессы, донесены до нас детали быта, сердечные переживания, предчувствие, желание любви.

Но оказалось, не все письма передала Катаеву Ирэн Алексинская (одна из тех самых четырех сестер А.). Три письма, как видно, случайно, остались в Одессе, в том самом доме на Пироговской, 3, так точно описанном писателем и в «Зимнем ветре», и в «Юношеском романе», в доме, где жили семьи Катаева и Алексинских. Сохранились бумаги и в семье Шамраевских, еще одном доме, где бывали и Алексинские, и Катаев. Одной из сестер Шамра-

Валентин Катаев.

Снимок сделан перед первой мировой войной.



Ирэна Алексинская, прототип героини  
«Юношеского романа».  
Снимок 1917 года.

евских, Людмиле, писатель также присылал письма из действующей армии.

И сегодня обнаруженные письма уже становятся реальным комментарием к книге, дополнением к ней, показывают, как естественно ввел писатель свои юношеские письма с фронта (так что это не литературный прием, а реальные письма) в зрелую, полную изящества и иронии прозу восьмидесятых годов.

Вот строки из романа. Точнее, начало письма, опубликованного в «Юношеском романе»:

«6 января 1916 года. Действующая армия... Этой поездки я никогда не забуду. Незнакомая дорога на Бакмач, снежные степи, затерянные в снегах полустанки. Военный вагон третьего класса, запах пота, сапог, махорки. Незнакомые люди и бесконечная нежная грусть, страх чего-то неизвестного...»

Затем в романе письма от 20 января и 6 февраля. А перед нами подлинное письмо, написанное в промежутке между ними — срывающимся, быстрым почерком, карандашом.

«22 января 1916 года. Действующая армия.

Когда я получил Ваше маленькое славное письмо, ей-богу, был рад, как ребенок. Получил я его вечером. В окопе очень темно, и поэтому прочитал я его кое-как. Насилу дождался утра. Утром пошел бродить подальше от землянок, чтобы остаться с Вашим письмом наедине. Подождите, лучше стихами.

Зимой по утренней заре  
Я шел с твоим письмом в кармане.  
На снежном, матовом бугре  
Еловый лес синел в тумане.

Всходило солнце. За бугром  
Порозовело небо, стало  
Глубоким, чистым, и кругом  
Все очарованно молчало.  
Я вынимал письмо с тоской,  
Глядел на милый ломкий почерк,  
И видел взгляд прозрачный твой,  
И детских плеч воздушный очерк.  
Я шел в каком-то полусне,  
В густых сугробах вязли ноги...  
И было странно видеть мне  
Обозы, кухни по дороге,  
Патрули, пушки, лошадей,  
Пни, телеграфный шнур на елях,  
Землянки, возле них людей  
В мохнатых шапках и шинелях,  
Мне было странно, что война,  
Что каждый день — возможность смерти,  
Когда на свете ты одна,  
Да ломкий почерк на конверте...  
В лесу, среди простых крестов,  
Пехота мерно шла рядами;  
На острых кончиках штыков  
Мигало солнце огоньками,  
Над лесом плыл прозрачный дым,  
В лесу стоял смолистый запах.  
И снег был нежно-голубым  
У стройных елей в колючих лапах.

...Сейчас мы на передовых позициях, а я со своим взводом за версту от немцев. Летают пули, над головой рвутся гранаты. Пустяки, привык. Буду хлопотать об отпуске на пасху в Одессу...»

Валентин Петрович приезжал в родной город и тогда — весной 1916 года, и позже, после ранения. Сохранилось его письмо из госпиталя, вновь-таки письмо-стихотворение. Но здесь времени свободного было больше. Ощущается, что над каждой строфой, над каждой частью поэтического послания шла кропотливая работа:

# 1

Ирэна! Я видел вас во сне  
И нынче полон только вами.  
Как хорошо, как славно мне  
Писать о вас, Ирэна, стихами!  
Пусть будет чист и ясен стих,  
Как море в шталь под берегами,  
Когда вечерний ветер стих  
И пахнет ладаном, как в храме.  
Ах, я давно обманут снами!  
Ваш образ близкий и родной  
Светло стоит перед глазами —  
Родной и близкий... но не мой!

# 2

Сияет утро. По стене  
Мерцают зайчики кружками.  
Охалка лилий на окне  
Лежит, пронизана лучами.  
Передо мной стоит сестра.  
— Вы нынче бредили стихами.  
Что вам приснилось? Доктора  
От рифм излечат порошками.—  
Мне грустно. Помните: на скамьях  
Сад осыпался золотой.  
Я проходил в аллеях с вами,  
Родной и близкой, но... чужой.

# 3

Как на испуганном коне,  
Летела ночь за облаками,  
Деревья в жуткой тишине

Качали мокрыми ветвями.  
Я ближе к вам придвинул стул,  
Склонился бережно над вами,  
Чтоб влажный ветер не продул  
Вас ядовитыми струями.  
Сухими, жадными губами  
Касался бледных рук с тоской.  
И вы сказали мне глазами:  
-Родной и близкий... но чужой.

4

Идут бесстрастно дни за днями.  
Ваш образ близкий и родной  
Всегда стоит перед глазами —  
Родной и близкий, но не мой!

В те далекие уже годы будущие одесские прозаики Валентин Катаев, Юрий Олеся, Илья Ильф вместе с Эдуардом Багрицким писали стихи, выступали на поэтических вечерах, участвовали в альманахах. Они жили поэзией — и стихотворные послания были для них естественной формой самовыражения. Поэтому в письмах В. Катаева так много стихов. Иногда это могли быть описания фронтового пейзажа, иногда объяснение в любви, нередко — шутка.

Из действующей армии — «к ногам Люли Шамраевской» — присылает Валентин Катаев весеннюю поэму (кто тогда только не попал под влияние Игоря Северянина!) под ироническим названием «Моя кино-дрррама». Это стихотворение было тогда же опубликовано в одесском журнале «Театр и кино». Речь в нем идет о кумире тогдашних гимназисток — киноартисте Полонском...

Так начинали жить стихом.

Сохранилась записная книжка (в кожаном переплете, с золотым тиснением) Ирэн Алексинской. В нее она записывала стихи любимых ею поэтов, в частности Анны Ахматовой, стихи, которые дарили ей юные поклонники — в том числе Валентин Катаев. Есть в этой книжечке поэтические пробы самой Ирэн. Как видно, воздух тогда в этом кружке молодежи был настолько наэлектризован, настолько пропитан поэзией, что не писать стихи было невозможно.

Стихи Алексинской безыскусные, но искренние. Конечно же, спустя три четверти века их воспринимаешь не как факт литературы, а как документ, комментирующий литературу.

Над этими двумя строфами — посвящение: «Поэту — от девочки с сиреневым именем» (Вот как, оказывается, она ощущала свое имя Ирина, вот откуда ее — Ирэн. Так к ней обращался в стихах, в разговорах Валентин Катаев. Под именем Ирэн Заря-Заряничкой описал в «Зимнем ветре», под именем, не менее экзотичным и придуманным — Миньоны Заря-Заряничкой в «Юношеском романе».)

Из сиреновой душистой неги  
Я сплету причудливый букет  
И тебе его в окошко брошу —  
— Получай, возлюбленный поэт!  
Отряхнись скорей от сонной лени  
И, вдыхая запах,— вспоминай:  
Это та — чье имя из сирени  
Сплел тебе, для счастья, звонкий май.

Влюбленность, счастье... Отрывочные встречи в 1916—1917—1918 годах. Спустя много лет Валентин Петрович напишет в «Юношеском романе»:

«Помню еще короткий и грустный роман с Миньонной, ее горячие руки, кошачьи глаза в осажденном, лишенном света городе, при звуках ночной винтовочной стрельбы, и быстрое охлаждение Миньоны,

когда она вдруг меня разлюбила, и я всю ночь просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном вверх, и «ныло от тоски все существо мое, тоска была подобна черной глыбе, и если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы».

Эти стихи — не в отрывке, а полностью — записала в свой альбом для стихов Ирэн Алексинская.

Не поняла тогда. Разлюбила. Но письма сохранила. Часть отдала В. П. Катаеву в 1922 году, несколько писем-стихотворений пролежали в семейном архиве до наших дней. В 1927 году в 27 лет Ирина Алексинская умерла от туберкулеза. И вряд ли мы бы писали о ней, если бы не переписка, не письма юного вольноопределяющегося, которые в восьмидесятых годах стали основой «Юношеского романа» Валентина Петровича Катаева.

Только что завершено издание десяти томного собрания сочинений писателя. Вызывает удивление, что в нем начисто отсутствуют какие-либо комментарии, примечания.

Как видно, по памяти восстановлено было В. Катаевым стихотворение из первого письма, опубликованного нами, отправленного с фронта 22 января 1916 года. Этим можно объяснить многие разночтения. Второе стихотворение, обнаруженное нами, вообще в десятый том не попало. Как нет в нем «Моей кино-дрррамы», опубликованной в журнале «Театр и кино» в № 26 за 1916 г.

Думается, что собрание сочинений Валентина Петровича Катаева должно быть продолжено. Ведь совсем недавно подобным же образом Госкомиздатом СССР было принято решение о продолжении собрания сочинений Константина Михайловича Сиимонова. В дополнительные тома катаевского собрания много шире могут войти стихи, дополнительно — письма писателя, да и последние прозаические его произведения, как «Уже написан Вертер», «Сухой лиман». И, конечно же, в этих томах должен быть комментарий ко всем вышедшим произведениям.

Завершить этот рассказ о недавно найденных письмах В. Катаева, об альбоме для стихов И. Алексинской, пачке ее стихотворений и фотографий хочется публикацией полного текста поэтического письма 1917 года, строфу из которого Валентин Катаев процитировал, завершая «Юношеский роман»:

Вверху молчали лунные сады,  
Прибой у скал считал песок, как четки,  
Всю эту ночь у дремлющей воды  
Я просидел на киле старой лодки.  
И ныло от тоски все существо мое,  
Тоска была тяжелей черной глыбы.  
И если бы Вы поняли ее,  
То разлюбить, я знаю, не смогли бы.

г. Одесса.





АЛЕКСАНДР АРОНОВ,  
СЕРГЕЙ МУРАТОВ

## РАЗМЫШЛЕНИЯ У НЕПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

*Ж*а больших экранах в Останкинском павильоне то и дело сменялись кафе «Валдай», Калининский проспект, непарадный подъезд Дворца культуры им. И. Курчатова и... Новосибирск. И все требовали слова одновременно.

Эта передача «12-го этажа» была посвящена молодежному досугу, и ребята, расположившиеся на лестнице того самого непарадного подъезда, чувствовали себя отлично и были в большей степени сами собой, чем если бы их пригласили в студию даже как самых дорогих и уважаемых гостей. Тем более что гостей хватало. Заместитель министра, начальник отдела Госкомтруда, комсомольские работники, воспитатели-подвижники, журналисты... Но вот именно лестница прежде всего обусловила успех передачи. И даже цикла. В трех ближайших выпусках она из места действия вообще превратилась в действующее лицо наряду с другими участниками дискуссий.

На нее ссылались в единственном числе примерно так: «Пусть простит меня лестница...» «Как бы мы ни гневались на лестницу...»

Фото В. Дозорцева.

Лестница обусловила ту разность потенциалов, без которой невозможно магнитное поле ни в физике, ни в драматургии. Это был телемост, но как бы вертикальный, между поколениями. Социологи «12-го этажа» подсчитали (тут же, по ходу одной из передач): средний возраст присутствующих в студии — 41 год, на лестнице — 16,5 лет. Два встретившихся в пространстве космических корабля, зависших друг против друга с надеждой на возможность контакта. «Лестница, вы слышите нас? Нам интересно узнать, какие вы» — «А вы какие?» — «Мы хотим вас понять» — «Мы тоже» — «Мы вас любим, это состояние нашей души».

Молодые, агрессивные, безапелляционные, они орали и скандировали, выходили из себя, когда о них, казалось бы, забывали («Это передача для молодежи? Тогда почему вы только сами с собой разговариваете?»). Лестница притягивала к себе не хуже, чем вращающийся волчок в телевикторине — когда он гудит и вибрирует, а все напряженно ждут, какой он выкинет номер.

Они и сами себя ощущали героями, а то и — вдруг получится! — даже судьями. Общественное мнение в студии раскололось. Одни им подыгрывали («Голос истины идет прежде всего из подвезда!»), другие искали контакта («Мы никак не перейдем от родительского менторства на простую дружбу с вами»), третьи предъявляли серьезный счет («Все их проблемы — переедание. Они должны в два раза меньше есть и в два раза больше работать»), четвертые недоумевали («Лестница, лестница... Почему вам так трудно слушать? Будто все это делает не для вас, а для каких-то дядей и тетей семидесяти лет?»).

А лестница в ответ: «Это трата времени и неинтересно».

«У вас самое тяжелое производство на свете, — взывал публицист Александр Радов. — Вы выделяете самих себя. Так ведь?»

«Нет, не так... Мы — еще дети».

Нет, им не нравится, когда что-то решается за их спинами. Но лишь попытаешься вовлечь их в серьезное обсуждение — «Это сложно... Мы еще дети». Им не нравится устройство мира, предложенное взрослыми, но переустройства они ждут все от тех же взрослых. Все, что мы высказываем в их адрес, справедливо и несправедливо одновременно.

...Кричали, дулись, требовали внимания, отказывались слушать обращенные к ним слова («Пусть они напишут статьи и прочтут в газете...»), хватали наперебой микрофон.

А все-таки это уже было не «бездетной педагогикой». Присутствие компании, нескладной и не слишком ясно выражающей даже чувства, не то что мысли, накладывало неповторимый отблеск на извечные споры воспитателей. Нельзя, невозможно было достичь геометрически безупречного совершенства, если ты на словах перед камерой всех победила, а лестница в твою чудесную картину не вписывается. Пускай обитатели лестницы и вели себя вздорно и неучтиво. Но дети не могут быть глупее, чем им положено. Иначе какой урок мы бы извлекли из «Голого короля»?

Лестница:

— У нас в школе 8 часов отводится изучению дождевого червя и 8 часов изучению творчества Достоевского.

— Наши учебники — беспроблемны. У учеников никаких вопросов не возникает.

Студия:

— Чем болеет школа, тем болеет и общество, толь-

ко еще более тяжело. Общество выздоравливает, будет выздоравливать и школа.

Четырехлетний ребенок, уверяют статистики, умудряется в среднем задавать по 437 вопросов в день. Куда же уходит впоследствии эта умственная отава неведения? Куда деваются гении-почемучки, проснувшиеся от двух до пяти? Мы сами же усыпили их. Средняя школа — суровая школа средности. Ученик, постоянно задающий вопросы, ненавидим усредненным учителем хуже любого двоечника. Чтобы сохранить свое природное любопытство, он должен быть мужествен и стоек. Но много ли тех, кто способен выдержать многотонный десятилетний пресс?

И вдруг откуда-то с лестницы: «Что вы сделали лично для метода учителя Щетинина?» Замминистра в ответ: сделано все необходимое и будет делаться впредь. Но вместо «большого спасибо» обитатели лестницы снова идут в атаку: «А как вы сами относитесь к этому методу? Только конкретно и честно?» Кажется, тут уже не отвертись. Но нет. Собеседник пускается в лингвистические дебри, поясняет, что слово «метод» неприменимо к опыту Щетинина. Что скорее его следует назвать «системой приемов». Он говорит: «Метода, как такового, как чего-то оригинального, — нет. Есть энтузиазм, есть совокупность приемов». Замечательный ответ. И по существу, и толковый. Большое спасибо? Опять нет. «А вы бы отдали своего ребенка в школу Щетинина?» Не устоял замминистра, сложил оружие, капитулировал. Признался, что нет, не отдаст бы. То есть лично ему комплекс приемов плюс энтузиазм Щетинина не по душе. Вырвали-таки ребята признание. Итак, вопрос об экспериментаторе-педагоге решает человек, которому лично этот вопрос хочется решить отрицательно. А тут вдобавок еще одна лестница — из города Томска: «Ответьте нам твердо — да или нет? Будут ли препятствовать методу Щетинина или нет?»

Конечно, такая манера поведения понравится не каждому зрителю. А тем более не каждому ответственному лицу. «Нужно ли ставить в неловкое положение заместителя министра перед мальчиками и девочками, сидящими на лестнице? — пишет в газету телезрительница из Омска. — Взрослые разговоры должны вестись между взрослыми людьми. Зачем же так заигрывать с мальчиками и девочками? Что они успели в жизни?»

Но посудите сами, можно ли свести к заигрыванию «с мальчиками и девочками» такой эпизод «12-го этажа»? Действуют: руководитель новосибирского самодельного объединения «Терпсихора» и замминистра культуры республики. Завязка: решением министерства существование «Терпсихоры» предполагается считать нецелесообразным. Воспользовавшись возможностью публично обратиться к заместителю министра, руководитель «Терпсихоры» задает ему из Новосибирска вопрос:

— Я хочу спросить, кто из ваших работников готовил это распоряжение? По инструкции полагается указывать исполнителя. Кто готовил ваше письмо?

— Я думаю, — следует ответ, — что прежде всего мы с вами встретимся лично. Очень скоро я буду в Новосибирске.

Видите, как? Встретимся, дескать, в спокойной обстановке. Для пользы дела. Без гвалта. Не при всех. На более удобной для разговора площадке. В присутствии моих консультантов, а не ваших ботаников. И не будем драматизировать ситуацию.

Но организаторы передачи прекрасно знают, кто подготовил это распоряжение. Сейчас об этом узна-

ют и зрители — предлагается послушать такой телефонный разговор...

— Будьте любезны Ларису Григорьевну Виноградскую.

— По какому вопросу?

— Если можно, ваша роль в истории «Терпсихоры»?

— Никаких интервью по телефону, никаких бесед по этому вопросу я вести не буду. Если хотите, приходите сами и предъявите ваше удостоверение.

И торжествующие гудки отбоя...

Так вот, на «12-м этаже» мы впервые воочию встретились не только с всегдашними непарадных подъездов, которых раньше не удостоивали вниманием, но и с владельцами кабинетов, которые не удостоивали вниманием нас. И вот теперь — при ослепительном свете гласности — мы знакомимся с их повадками и набором классических аргументов. И с изумлением обнаруживаем, что доводов этих не так уж много и что их совсем нетрудно предугадать.

Ну вот, скажем, знакомое: «Не надо драматизировать ситуацию».

Не переходите на личности. Не сгущайте краски. И в самом деле, зачем? Что такое, к примеру, этот метод Щетинина? В педагогике метод — вещь, наверное, еще более спорная, чем в литературоведении. Идеальный метод учителя Сухомлинского вряд ли идеально подошел бы учителю Макаренко. Иными словами, распространение метода Щетинина как нечто универсальное — и вы тут же его погубите. (Не потому ли и решили, опередив события, погубить его еще до распространения!)

Об опасности подобной унификации говорит один из участников телефорума — директор московской школы В. Караковский. Об опасности абсолютизации какой-то одной идеи, одного опыта. «Нам не надо бояться многовариантности. Надо идти на это потому, что тогда мы будем идти от жизни, а не от схоластики».

Инструктивное мышление не приемлет многовариантности. Оно оперирует усредненными величинами. Для него нет ни конкретной личности, ни единичного опыта.

«Как нам тяжело работать, — глухо говорит перед камерой репортера учительница из сельской школы, откуда был изгнан Щетинин. — Я не могу выйти на общешкольное собрание потому, что то, что сейчас... обломки». Учительница старается держаться спокойно, скрывая от камеры наворачивающиеся слезы — опускает лицо. Ее выдает переломившийся несколько раз голос: «Нам кажется, что все вокруг нас оглохли и ослепли. Сравните нашу школу пять лет назад, десять... Нам говорят: вы сравниваете так, как вам удобно. А мне кажется, что это они нас сравнивают так, как им удобно. Кто может измерить силу духа, которая возникла у ребят, кто может измерить их ответственность, их характер? Кто вообще может измерить их человеческие качества?»

Держалась она достойно, и свои слезы ей удалось скрыть. Но плакали женщины, сидящие в студии Останкино.

С точки зрения циркулярного мышления, однако, эти видимые телемиру слезы — лишь частный случай: смотреть надо шире...

— У меня вопрос, — обращается один из участников передачи к заместителю министра культуры республики. — Какое молодежное любительское объединение получило конкретную действительную помощь вашего министерства?

Ответ мы слушали внимательно и... не поняли. При повторе передачи опять прослушали и... опять не поняли. Хотя записали дословно — с магнитофона. Вот он, этот ответ: «Мы сейчас вошли с предложе-

нием о возможности при условии хозрасчетной самокупаемой деятельности и оплаты труда совместителей, которые, на наш взгляд, должны привлекаться для выполнения функций руководителей объединений, клубов и других организаций...»

Когда-то Кафка заметил: человек безвозвратно потерял в себе самом. Чиновник безвозвратно потерял в своем кабинете. Эти стены отделяют не только людей от него, но и его от людей. Он — жертва общения с окружающим миром при помощи циркуляров. Когда люди — уже не люди, а посетители. Он, может, и хотел бы заговорить иначе, да не умеет. Что делать, если у него само вырывается (цитируем): «Каждого товарища, который проявляет творчество, надо брать на заметку».

Так что же выходит? Мы упрекаем лестницу в косноязычии, в неумении формулировать свои мысли и даже в том, что ей нечего формулировать. Призываем учиться. Но какой же урок она извлечет из общения с теми, кто на верхних ступенях лестницы (со стороны основного входа), с теми, чей долг эти самые уроки преподносить?

Коварная вещь — культура общения, присутствие ее незаметно, зато отсутствие замечаешь сразу. Очень трудно овладеть культурой общения, когда ваше мнение никого не интересует. Но ничуть не легче, если сами вы не интересуетесь ничьим мнением, кроме своего. Посылки вроде бы разные и даже полярные. А результат одинаковый.

Где же выход?

Существует притча о человеке, который бежал и бежал, а каждый из встреченных на пути интересовался: «Куда ты бежишь?» Наконец тот не выдержал: «Почему все спрашивают, куда я бегу? Почему никто не спросит — откуда я бегу?»

Итак, откуда или от чего бежит молодежное вещание Центрального телевидения в своей новой программе? Да от своих же недавних завоеваний. От легкой картинке, которая забывается с той же легкостью, что и поглощается. От приятной заманчивости микросюжета. От бодряческой интонации. От заигрывания с юным зрителем, которого не дай бог переутомить движением мысли, а то и двух, не упакованных в музыкальный дивертисмент.

Уже в первой передаче «12-го этажа» были и телемосты, и головокружительный технический реквизит, и новая мизансцена. Не было только жизни. Участники, разобщенные студийным пространством, не мешали друг другу, выдавая запланированные реплики. «Куда исчез «КВН»? — неожиданно донесся вопрос из Тюмени. И тут же в студии зазвучала полузабытая песенка и появился фрагмент передачи, демонстрируя, что ничего неожиданного для телевидения не существует.

Не было жизни и, как знака ее присутствия, не было лестницы. Первая передача оказалась, по сути, нулевой. Сегодня о ней никто и не вспоминает. Зато во второй — или подлинно первой — группы собеседников превратились в отчаянных спорщиков. Студия стала ристалищем.

— Останкино, вы нас слышите? Вас вызывает «Валдай»!

— «Валдай», мы вас слышим и видим.

В поединке схватились не только подвижники и ревизоры, столкнулись не только различные точки зрения, но и два принципа телевидения.

— Я боюсь, — восклицал А. Радов, — чтобы эта передача не покатила по развлекательным рельсам. Да, организаторы встречи, похоже, еще не верили, что обсуждение острой проблемы способно увлечь нас само по себе. «Валдай» все требовал сло-

ва, а на экране два пианиста импровизировали дуэтом через тысячи километров, разделенные Уральским хребтом, волшебством режиссера, вперева друг друга огромные туловища роялей.

Этот номер был виртуозен и... неуместен. Как неуместно любое музыкальное вторжение в напряженный спор. Живая ткань человеческого общения отторгала от себя чужеродные элементы шоу или ревью. В итоге слова «Валдаю» так и не дали, зато дали его Калининскому проспекту, который ворвался ликующим предложением: «Давайте споем!» Столичная улица превратилась в нечто среднее между хоровой капеллой и танцплощадкой, подтверждая опасения А. Радова.

Но все это были издержки.

От передачи к передаче «12-й этаж» обустраивается путем благих обретений и не менее благих потерь. Исчезли музыкальные перебивки. Растворился в тумане умелый и профессиональный ведущий-диспетчер, незаменимый в других тележанрах. А что же пришло взамен?

Аналитическая группа, проводящая по ходу микросоциологические опросы. Информационная служба, оповещавшая о количестве звонков и числе выступивших на данный момент. (Эти справки были полезны даже не абсолютной величиной — в них бился пульс теледейств, как бы подхватывая и подхлестывая наше зрительское восприятие.) Появилась «память компьютера», сохраняющая на всякий случай любые возникающие тут же идеи вплоть до предложения «разработать государственную программу по борьбе с бюрократизмом».

И, наконец, перерывы, тайм-ауты, перемены, во время которых за чашкой чая, когда поостывшие полемисты вполголоса выясняют отношения, происходит порою самое интересное. Оппонент Щетинина, едва не взявши собеседника за пуговицу, доверительно втолковывает ему: «Вы должны доказать, что ваш эксперимент является доказанным»...

Лестница:

— После последней передачи прошло больше месяца, а у нас в школе как все было, так и осталось.

Студия:

— Как вы считаете, можно ли стать лучше с помощью телеобщения?

Видите, какие возникают сомнения.

Но разве школа, где учатся застывшие на лестнице, изменится сразу же? Администраторы — кинутся в объятия прогрессивных учителей?

Или прав участник дискуссии, профессор Томского педагогического института:

— Вы что считаете — сейчас закончится передача, приходите завтра утром — учителя будут вести уроки по-другому, другие учебные пособия? Ничего подобного. Революций в воспитании не бывает.

А что бывает?

Ребята — те, что на лестнице, — где-то учатся. В родной школе их сразу узнали. Конечно, комсомольская организация там могла бы и огорчиться, что живут они все неинтересно, что темный подъезд чем-то привлекательнее солнечных школьных рекреаций. И стали бы комсомольцы быстро-быстро перестраиваться...

Нет, ожидать благодарности за искренние признания ребятам с лестницы было рановато. Тележурналисты действительно отправились к ним в школу — на очередное собрание. Но, увы, не для того, чтобы запечатлеть яркие ростки жизни по-новому. Цель была обыденнее и горше — юных участников пере-

чи надо было защищать. В школе их вполне могли объявить клеветниками, бросающими тень на родные стены, и раз навсегда отучить громко и честно разговаривать.

Такое, как известно, уже случалось.

Конечно, необходимость впервые в жизни высказаться на темы, еще вчера казавшиеся неприкосновенными, необходимость публично выкрикнуть наблевшее торопливо и горячо — примета дня. Такая передача выгодно отличается от «досумбурного» телевидения — опостылевшей заорганизованности и предрешенности, заставляющей вспомнить о резолюциях, принимаемых еще до начала собрания. Но выгодно отличается до тех пор, пока и сам сумбур не поднадоест. Ибо само по себе изобилие темперамента и энтузиазма не всегда способно помочь участникам обсуждения аргументировать свои точки зрения, а тем более выработать совместную общественную позицию. Мало чего-то хотеть. Надо уметь выразить свои желания, надо уметь выслушать и других. Надо учиться общаться. А мы, оказывается, этого не умеем. «Я чувствую, что вы не правы, но у меня нет доводов, я не умею возразить», — досадует парень с лестницы.

Главный редактор молодежной редакции Эдуард Сагалаев, оказавшись вдруг на месте ведущего, со всей возможной терпимостью и подкупающей доброжелательностью настаивал: «Ребята, учитесь слушать».

Человек, осознавший свое неумение, совсем не равен тому, кто этого не осознал, он на полпути к умению.

И еще обнаружилось: овладеть высоким искусством общения невозможно иначе, как в ходе самого общения.

Так, может быть, «12-й этаж» — как раз и есть такая школа для начинающих или, скорее, ее подготовительный класс? Открытый для всех, независимо от социальной, должностной или возрастной ступеньки, занимаемой вами на этой метафорической лестнице.

Диалог — не только способ контакта, но и способ мышления. Возможность, а порой и потребность сменить точку зрения на предмет. Взглянуть на то же явление глазами твоего собеседника. Отчего бы взрослому не взглянуть на мир глазами подростка с лестницы? А подростку — глазами взрослого?

Максимализму юности представляется, что нет на свете вопросов, на которые нельзя ответить либо «да», либо «нет», — иллюзия, от которой избавляешься только вместе с юностью.

Но, может быть «12-й этаж» — это и школа взросления, социального и гражданского?

Телевизионный референдум, выносящий на обсуждение вопросы государственной важности, — ускоритель общественного самосознания. Такой разговор на экране объединяет страну в телеклуб, телефорум, в единую сопереживающую и осмысляющую аудиторию.

Вот мы ждем перемен, которые принесут передачи «12-го этажа», а замечаем ли перемены, которые происходят с нами? Разве не осознаем мы от передачи к передаче, что дело не только в непримиримости (хотя и в ней тоже) к чужому бездействию, но и в личном твоем бездействии или действии?

Может быть, это главное?

# ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Рисунки Ю. Балашова



— Вот и окончились школьные каникулы — прекрасная, радостная пора как для школьников, так и для учителей. Начался очередной учебный год с его извечными заботами — контрольными, перекладками, пионерскими сборами и сборами макулатуры.

Школьная жизнь обогащает ребят знаниями, а любителей юмора — оригинальными литературными произведениями. Я имею в виду неудачные фразы, извлеченные из школьных сочинений, которые для краткости называю «извлекушками». По сути дела, извлекушки сейчас вылились в самостоятельный или, как говорят в народе, суверенный жанр. Многие читатели пополняют «Зеленый портфель» его образцами. Познакомьтесь, например, с новыми экспонатами моей коллекции, которые прислали учительница из Киевской области С. Барина и москвич А. Ратнов. Думается, они послужат предостережением против панибратского обращения с классикой. Если же кое-кто не угомонится и по-прежнему будет перегружать свои сочинения словесными красотами, пожалуйста, присылайте — я могу сделать рубрику «Извлекушки» постоянной.

Галка ГАЛКИНА



☆☆☆  
Ленский пригласил Онегина на дуэль.

☆☆☆  
В приемной городничего были утки, гуси и другой хлам.

☆☆☆  
Анна Каренина бросилась под поезд, и он еще долго влачил ее жалкое существование.

☆☆☆  
Старуха Изергиль была гордая и неприступная, как таксист.

☆☆☆  
Арбенин бродил с зажженной свечой, будто у них дома перегорел свет.

☆☆☆  
Акакий Акакиевич вцепился в шинель, потому что своя рубашка ближе к телу.

☆☆☆  
Обломов был прикован к постели.

☆☆☆  
Над головой васнецовской Аленушки летают ласточки. Они не боятся Аленушку, она не выстрелит в них из ружья.

☆☆☆  
Рабочий понял, что хозяин и его помощники одного сапога пара.

☆☆☆  
От крапивы у Робинзона Крузо началась изжога.

☆☆☆  
Петр Первый любил брить боярам бороды.



☆☆☆  
Во второй половине дня Печорин любил пить кофе со сливками общества.

☆☆☆  
Городничий и все чиновники заискивали перед Хлестаковым, чтобы избежать уголовной ответственности.

☆☆☆  
Чацкий очень крепко любит Софью. Так крепко может любить только самостоятельный человек.

☆☆☆  
Все царское барахло ненавидело Пушкина. Каждый из этого барахла старался Пушкину вредить.

☆☆☆  
Словно мифический Антей от земли, Обломов набирался сил от дивана.

☆☆☆  
Гордый Сокол прожил славную жизнь — без зигзагов, без запятых.

☆☆☆  
Живописца поразила поза ее лица.

☆☆☆  
О гибели поэта стало известно на всю окрестность.

☆☆☆  
Особенно мне нравится профессия по ремонту телепередач.

☆☆☆  
Майор Ковалев не видел ничего дальше собственного носа.

☆☆☆  
Все животные от коровы до свержка радуются восходу солнца.

☆☆☆  
Если бы Герасим не был так сильно закрепощен, то он утопил бы не Муму, а свою барыню.



## ВИКТОР ВЕРИЖНИКОВ КАК ПОВЫСИТЬ УСПЕВАЕМОСТЬ

Рисунок И. Оффенгендена

**Д**ве учительницы идут из школы и тихо беседуют.

— В восьмом «б» одни «физики», — с мечтательной улыбкой говорит Анна Владимировна.

— В восьмом «б» одни «физики»... — тяжело вздыхает Нина Гавриловна.

— За последний опрос по физике было двадцать восемь пятерок, — радостно сообщает Анна Владимировна...

— А за последний опрос по литературе... — Нина Гавриловна опять вздыхает.

— Только между нами! — Анна Владимировна вдруг останавливается: — Вообще-то я догадываюсь, в чем секрет такой успеваемости. Экзаменует-то учеников машина...

— У меня в кабинете нет машины...

— Машина — не обязательно. Просто можно...

На следующий день Нина Гавриловна вошла в класс и объявила:

— Сегодня опрос будет необычный. Я вам задаю вопросы и предлагаю на каждый три ответа. Вы выбираете один и ставите его номер. Понятно?

— Ура! — закричали все. — То есть, понятно!

И Нина Гавриловна стала диктовать:

— «Как звали Фонвизина? — Джангир Ибрагимович; Денис Иванович; Хуан Педро.

Когда он родился? — В 1922 г.; в 1928 г.; в 1745 г. Назовите его главное произведение — «Виннету — вождя апачей»; «Недоросль»; «Большой бетон».

Какая главная тема этого произведения? — Неудовлетворительная работа прачечных; проблемы охраны окружающей среды; тяжелое положение крестьян при крепостном праве...

...После уроков Нина Гавриловна опять шла с Анной Владимировной и растроганно шептала:

— Тридцать девять пятерок и одна четверка. Навероятно! Нет, они и лирики тоже!

ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВА

## ОБЫЧНЫЙ УРОК

**Р**ебята! Завтра в школе проводится семинар передовых завучей района. В вашем классе запланирован открытый урок истории. Не мне вам объяснять, что по этим урокам судят о работе школы в целом и так далее, и тому подобное. Все это вы давно знаете, школу свою любите, но... — Историк Дмитрий Иосифович выдержал паузу. — Но давайте договоримся вот о чем: никакой похажи, никакого очковтирательства. — В самом деле — сколько можно пускать пыль в глаза, демонстрировать отретипированные уроки?

Так вот поэтому мы с вами покажем завтра самый обычный урок! Как всегда он начнется с проверки домашнего задания. Я спрошу: кто желает ответить на вопрос «Образование рабочей партии во Франции»? И вы, все до одного поднимите руки, как обычно. Но, — Дмитрий Иосифович изобразил виноватую улыбку, — как вы сами понимаете, всех желающих я спрошить не смогу. Вызову только одного, ну... скажем, Сухолозова Александра. Дальше — после того как он четко изложит первый пункт шестнадцатого параграфа, я поинтересуюсь, нет ли у кого добавлений. И вновь из всех желающих, я повторяю — всех! — предоставляю слово только двум: Гогидзе и Ефремовой. Они добавят, что сочтут нужным, — как бы между прочим, историк оставил на столе перед названными товарищами листочки с текстом, который они сочтут нужным добавить. — Потом я спрошу, что вы можете рассказать о Жане Жоресе. И Любимова Валентина захочет поведать нам о нем. Причем не только то, что написано в учебнике, но и привлечет дополнительный материал. — Из-за спины Дмитрия Иосифовича в ту же секунду переключалась на стол Валентины небольшая книжница с закладкой. — Затем, поблагодарив Валентину за содержательный ответ, я попрошу доложить о том, как развивалась классовая борьба во Франции в начале двадцатого века. Заранее прошу прощения за то, что не смогу удовлетворить всех желающих отвечать, а вызову только Аликю Евгения, который обстоятельно изложит третий пункт шестнадцатого параграфа. Но едва он закончит свой рассказ, как тотчас же Егорову Татьяна попросит слово. Разве ей откажешь! Тем более что ей захочется привести отрывок из речи писателя Анатоля Франса, что помещена на восемьдесят восьмой странице вашего учебника. — Дмитрий Иосифович перевел дух и продолжил: — Последний вопрос «О поползновениях оппортунизма» — большой, и поэтому Попонкину Виталию придется только начать его, а заканчивать будет кто-нибудь другой. Ты все понял, Виталий?.. Значит, после слов «энергичные солдаты семнадцатого полка» я прерву тебя. Ну, а о том, что совершили эти энергичные солдаты, поведает нам любой... Да хоть Володя Пономарев. Во-о-от... В конце урока спрошу о том, какие важные события происходят в мире сейчас. Газеты вы читаете регулярно... Вот именно поэтому все поднимите руки. Остается только посожалеть, что всем времени не хватит. А потому рассказать о взволновавших их событиях успеют только Саблина, Краснов и Федорова. — Перед названной тройцей тотчас появились газеты с обведенными сообщениями о взволновавших их событиях. — Короче говоря, как вы сами только что убедились, это будет самый обычный урок...

г. Волжский, Волгоградская обл.

г. Ленинград.





Лето кончается.

## НЕ ТОЛЬКО КИНОПЛАКАТЫ...

Ирине Лобановой было уже двенадцать, когда она взяла в руки карандаш и начала с портрета подруги. Сегодня она добилась признания в сложном жанре киноплатката — жанре, требующем владения не только портретом, но и пейзажем, натюрмортом. Ее киноплаткаты — это целая галерея портретов прекрасных мастеров искусства: В. Тихонова, О. Янковского, В. Золотухина, А. Фрейндлих и И. Владимирова. У этих портретов счастливая судьба, они размножены тысячными тиражами. Но рядом с ними достойно бы выглядели «неразмноженные» живописные ее портреты.

Ирина убеждена, что чем больше жизненного опыта накапливает художник, чем больше препятствий, житейских тягот, а то и драм приходится ему пережить, тем больше он начинает ценить светлое в окружающем мире. И она щедро делится с нами своим радостным мироощущением.

Валерий ВИНУКОВ



Натюрморт.



Юность. 1986 г. № 9, 1—112  
Индекс 71120  
Цена 70 коп.

